ТИМ ЛОТТ

Блю из Уайт-сити

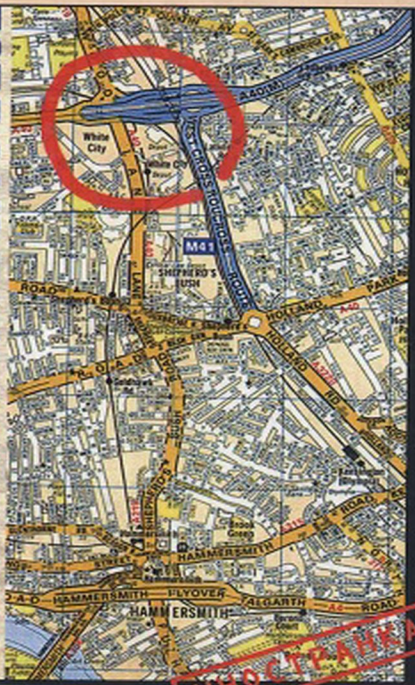
ЗА ИЛЛЮМИНАТОРОМ

Литература нового века

©

9 785941 451943

TIM LOTT WHITE CITY BLUE



ИНОСТРАНКА

[Я всегда хотел нравиться. Полагаю, все хотят. Просто не все готовы в этом сознаться. Нравиться людям – для меня даже не желание, а жизненная необходимость. Я не выношу, когда кто-то меня не любит.]

Блю из Уайт-сити
Тим Лотт

Аннотация
Тим Лотт. Блю из Уайт-сити
Глава первая. Пузыри, чайники и Вронки Тери
Глава вторая. Друзья Фрэнки-Выдумщика
Глава третья. Неприкасаемые, или Голубые кнопки
Глава четвертая. Ее ядерные кнопки и как ими управлять
Глава пятая. О том, как верная Рут напилась
Глава шестая. Колин и его наручники
Глава седьмая. Детская теория игр
Глава восьмая. Как правильно молиться
Глава девятая. Безжалостная Немезида Кристофера Кроули
Глава десятая. Ядовитое жало Тони Диамонте
Глава одиннадцатая. Нодж, или, точнее говоря, Ножд
Глава двенадцатая. Утренняя слава
Глава тринадцатая. Особый день Вронки
Глава четырнадцатая. 14 августа 1984 года
Глава пятнадцатая. 14 августа 1998 года
Глава шестнадцатая. Когда Гарри встретил Фр-

энки
Глава семнадцатая. ЧБСИ?
Глава восемнадцатая. «Прихоти Диамонте»
Глава девятнадцатая. Таксист
Глава двадцатая. Новая забава Фрэнки: 14 августа 1999 года
Глава двадцать первая. Кульминация

Аннотация

Тим Лотт (род. 1956) — один из самых популярных современных английских писателей. Первая его книга «Запах сухих роз» (The Scent of Dry Roses, 1996) получила премию «За Лучшую автобиографию» в 1996 г. Роман «Блю из Уайт-сити» (White City Blue, 1999) был удостоен премии Уитбреда в 2000 г. Роман «Штормовое предупреждение» (Rumours of a Hurricane, 2002) признан критиками лучшей книгой года. «Блю из Уайт-сити» — роман о конфликте между дружбой и любовью. Дружбой, замешанной на подтрунивании, пиве и ностальгии по Лучшему Дню, который друзья поклялись отмечать каждый год, несмотря ни на что. И любовью к женщине, повлекшей за собой Великое Предательство. Герою романа Фрэнки Блю предстоит сделать выбор между друзьями и женой.

Тим Лотт
Блю из Уайт-сити

Глава первая
Пузыри, чайники и Вронки Тери

О встрече с женщиной, которая переменит всю мою жизнь, заранее было ясно только одно: это произойдет, когда я буду пытаться что-нибудь ей продать. Именно так я знакомлюсь со всеми своими женщинами. Это одна из многих прелестей моей работы.

Дело было с полгода назад, однако я помню все совершенно отчетливо. Две спальни, при одной — отдельная ванная с туалетом, выход на обустроенную крышу, газовое центральное отопление, кухня-столовая, совсем рядом — все удовольствия Кинг-стрит и Хаммерсмита[1]. Цену за квартиру заломили грабительскую. Но она бы ее купила, не вмешайся я вовремя. Запросто подписала бы все бумаги.

Продажами я зарабатываю на жизнь — помогаю сбывать дома, крошечные квартирки, очаровательные двухуровневые апартаменты,

---

[1] Примечания: 1

Хаммерсмит — престижный, но не слишком дорогой район на западе Лондона. Кинг-стрит — улица бутиков и кафе, в которых «модно бывать». *(Здесь и далее прим. ред.).*

требующие косметического ремонта просторные квартиры на первом этаже с выходом в сад. Короче — и чтоб уж все вам стало окончательно ясно — я агент по недвижимости.

Работа агента никогда не была пределом моих мечтаний. Говорю это не в оправдание — я не стыжусь того, чем занимаюсь. Не то, что какие-нибудь вырожденцы Руперты или янтарноокие Аманды во флердоранжах. Собственно, у меня даже есть университетский диплом по специальности «политология и философия»: я окончил Университет Западного Мидлсекса, или, если вам милее точные наименования — мой друг Нодж настаивает на употреблении непременно *точных* наименований, — Технический колледж Стейнса.

Вы можете поинтересоваться, что вообще будущий агент по недвижимости делал в университете. Там ведь не читают курсов типа «Назначение и семантика мухлевания: умение впарить и частичное сокрытие истины. Введение». Нет, тому, что я знаю, ни в одном заведении научиться невозможно. Мое занятие скорее сродни искусству. Продать дом — это как симфонию написать.

Впрочем, я особо не перегружал себя учебой.

Пожалуй, я вообще ничем и никогда себя не перегружаю. Просто делаю то, что у меня получается, до тех пор, пока это у меня получается. Нет, видимо, все-таки я пошел в университет просто потому, что так мне было удобнее. Хотелось еще на три годика отсрочить необходимость искать работу, да и, по слухам, университетский курс, несмотря на претенциозное название, был не слишком сложным. Вот я и подал документы. Школьные выпускные экзамены я сдал легко (я умен; во всяком случае, настолько, чтобы умело скрывать свой ум) и к тому же полагал, что университет не будет так уж сильно отличаться от школы — те же тошнотворные учебники, та же нехитрая техника сдачи экзаменов. Плюс ко всему моя тогдашняя девушка жила неподалеку от университета, и мы с ней собирались быть вместе до конца жизни. Еще мне казалось, что с дипломом в кармане я наконец-то перестану чувствовать себя лохом из Шепердс-Буш[2], что он поможет мне найти приличную работу.

Но вскоре выяснилось, что все это — банальные детские иллюзии. С девушкой мы разбежались,

[2] Примечания: 2

Шепердс-Буш — в годы детства героя неблагополучный пролетарский район на северо-западе Лондона, во время действия романа населен в основном представителями в меру денежного среднего класса.

и на целых полгода я остался при собственных умелых руках. Да и учеба, вопреки надеждам, оказалась далеко не халявной — порой от бесконечного *думанья* у меня даже болела голова. Забавное это дело — думать, скажу я вам. Думаешь, а вокруг головы будто невидимые облачка витают. И об этом еще надо подумать, и о том…

Лохом из Шепердс-Буш я быть не перестал, но зато сделался лохом с претензиями. Диплом Стейнса — особенно, когда он отнюдь не с отличием, — увы, не является автоматическим пропуском в любую профессию и, более того, даже закрывает доступ ко многим разновидностям квалифицированного и полуквалифицированного физического труда. Каменщики, водопроводчики, электрики и им подобные образованного человека за версту чуют, будто от него дрянным одеколоном разит. Образование они ненавидят. (Если только дело не касается их собственных детей. Образование для детей — святое! Но во взрослых они образованность терпеть не могут.)

Короче, после университета я полгода сидел без дела. Жизнь становилась все более тяжелой — как в финансовом плане, так и в психологическом, — пока в один прекрасный день мой дядюшка, с которым я почти не общался, не рассказал, что

его приятель ищет человека для работы в риэлторском агентстве.

«Фарли, Рэтчетт и Гуинн» — маленькое агентство с большими амбициями. Его хозяева были готовы из кожи вон лезть ради комиссионных, мне деньги тоже не помешали бы. Во второй половине восьмидесятых рынок жилья пока еще шел на подъем, других предложений мне не поступало, так что я решил попробовать. И с тех пор назад не оглядывался. Просто я настолько глубоко влез в это дело, что уже не могу вылезти наружу и поглядеть на него со стороны. Это как приставучая привычка. Теперь-то я понимаю, что жизнь, в общем, и есть привычка. Стоит сделать что-нибудь раз, другой, третий — и ты уже, сам того не заметив, стал тем, в кого тебя превратила твоя привычка, и даже вообразить себя не можешь никем другим.

В привычке ли дело, в правильном ли выборе, или и в том и другом вместе, — но торговля недвижимостью подошла мне как нельзя лучше. Правда, иногда это занятие представляется мне каким-то… ну пустым, что ли. Не приносящим удовлетворения.

Если присмотреться, в моей работе можно углядеть элемент, скажем так, непристойности.

Я вторгаюсь в жизнь других людей. Выставляю напоказ их личное, интимное пространство, словно часы в витрине на Оксфорд-стрит, стараюсь повыгоднее загнать их стены, их воздух, их представления о красоте и уюте. Я каждый раз оказываюсь бесцеремонным чужаком, вечным посторонним. Короче, не пришей кобыле хвост, тогда как должен бы производить совсем другое впечатление — уверенного в себе, решительного оптимиста. Но зато мне хорошо платят. У меня все отлично. По сравнению с Ноджем — это уж точно.

Не то чтобы мы с ним соревновались. Да и откуда взяться соревнованию там, где все дело в простой привычке, в привычке и везении? У каждого своя жизнь. У каждого все складывается по-своему.

И вместе с тем с какого-то боку моя работа, по всей видимости, вполне осмысленна. Недавно я осознал, что к тридцати годам уже прочно стою на ногах, полностью состоялся в качестве агента по недвижимости, торговца пространством, пустотой. Может, и вправду нашей жизнью управляют некие неведомые законы, о которых любит поговорить Вероника. Ведь почему-то же Нодж, мечтавший в школе путешествовать по

миру, стал таксистом, Тони, больше всего на свете обожавший любоваться на себя в зеркало, теперь владелец парикмахерской, а Колин проводит все время за компьютером, в общении с машиной.

Что до меня, то я хотел другой — более яркой, более масштабной жизни. Не исключено, что именно это желание и стало подспудной причиной — если подспудные причины вообще существуют — моего поступления в университет. Нужны мне были, что ли, эти политология с философией? Нет, я хотел именно большой и яркой жизни. Скорее всего, потому-то я и сделался агентом по недвижимости — чтобы день за днем заглядывать в чужие окна, чтобы иметь безграничную свободу выбора. Работая риэлтором, я учусь — учусь выдавать себя за кого-то другого, дабы в конце концов самому стать этим другим. По привычке.

Но это еще не все. Я всегда хотел нравиться. Полагаю, все хотят. Просто не все готовы в этом сознаться. Нравиться людям — для меня даже не желание, а жизненная необходимость. Я не выношу, когда кто-то меня не любит. Поэтому мне так по душе и пришлась работа, построенная на том, чтобы располагать к себе людей, внушать им доверие. А потом вовсе необязательно

поддерживать дружбу. Когда по хорошей цене продаешь чью-то квартиру или находишь клиенту подходящее жилье, он начинает тебя любить. Меня целуют, обнимают, хвалят и благодарят. Это здорово поднимает самооценку. А дальше «до свидания» и вперед — обхаживать нового клиента.

Спустя какое-то время — восьмидесятые они и есть восьмидесятые, — я заработал некоторое количество денег, позволившее мне перейти в новое качество. Как и мой родной Шепердс-Буш, я похорошел и выглядел теперь вполне перспективным, но скоро понял, что этого недостаточно. Деньги — вещь, конечно, прекрасная. Можно покупать дорогие костюмы, машины, всякие приятные мелочи, можно поселиться в 6-м Западном округе, оттуда перебраться в 11-й округ и в конце концов обосноваться в собственном домике в пределах 8-го Западного. Но они все равно каким-то образом обязательно меня раскалывали — я про тех, к чьему обществу мне так хотелось принадлежать, про людей с томными интонациями, изъясняющихся непонятными для посторонних намеками, тщательно скрывая при этом высокомерие по отношению к окружающим, про знатоков вин и оперного репертуара,

про обладателей обширных связей. Тут мне стало ясно: если я действительно хочу вырваться из Шепердс-Буш, для этого понадобится что-то еще помимо солидного счета в банке. Наступили, а потом и подошли к концу — вместе с моим третьим десятком — девяностые, и вот я ощутил острую необходимость в ком-то, кто быстренько научил бы меня искусству прощания с прошлым. А еще мне был нужен символ того, что я уже не тот, за кого все меня упорно принимают.

Впервые повстречав Веронику, я не углядел в ней своего пропуска из Шепердс-Буш. То есть я не собирался влюбляться в нее. Поначалу она была для меня всего лишь доверчивым клиентом, очередным объектом надувательства.

Мы договорились встретиться в большом многоквартирном доме в Западном Кенсингтоне, на квартире, примечательной умопомрачительными ежемесячными взносами за техническое обслуживание и по старинке алчным домовладельцем, существование которого мне следовало как-то скрыть. На заработанные в прошлом месяце комиссионные я с ног до головы упаковался от «Прадо», дочерна загорел, две недели провалявшись на пляжах Самуи в Таиланде, у подъезда меня поджидал новенький «бимер». Я чуть не

физически ощущал свои немалые деньги, как если бы они были каким-то редкостным ароматическим маслом и меня им надушили. Весь мир был у меня в кармане. Казалось, я легко получу все, что пожелаю, все, чего только потребуют мои деньги. Деньги — это ведь не металлические кругляши, не бумажки, не пластиковые карточки и не выписки о состоянии счета. Деньги — это наше ощущение, как и все остальное в мире.

Зазвонил звонок, и я впустил ее в квартиру — тесную, неопрятную и выставленную на продажу по безбожно завышенной цене. Не один я это понимал, ей все тоже немедленно стало ясно. Да это и Дэвид Бланкетт[3] разглядел бы, причем даже ночью. Но так все и задумано: вовсе не предполагалось, что она клюнет на первую же квартиру. Каждый клиент должен пройти психологическую обработку, направленную на снижение его запросов. Когда, изрядно помытарив покупателя, мы наконец подсовываем ему что-нибудь мало-мальски пристойное, он обеими руками хватается за выгоднейшее, с его точки зрения, предложение. В том, что касается

[3] Примечания: 3

Дэвид Бланкетт — во время действия романа британский министр образования, с июня 2001 г. — министр внутренних дел; абсолютно слепой.

психологии потребностей и их ограничения, мы и «Моссад» много чему можем научить.

А она была высший класс — я это с первого взгляда понял, сразу, как только она вошла. Туфли от Маноло Бланика, короткое черно-белое платье а-ля Бриджит Бардо, по-видимому, от «Аньес Б.», ослепительно рыжие волосы, коротко стриженные под Питера Пэна. Рост — пять футов пять дюймов, чуть ниже меня. В общем, неплохо, но все же ближе к Зоуи Болл, чем к Еве Херциговой[4]. Нежная матовая кожа словно бы с усилием натянута на высокие скулы. Особенно мне понравился нос, такой крупный, что я еще подумал: Бог взял и шмякнул в середину ее лица кусок теста и не стал из него ничего лепить — не знаю, шутки ли ради или просто с устатку. В общем, нос мясистый, но очень симпатичный. Глаза слегка асимметричные — один побольше, другой поменьше. Веки тяжелые, ленивые: такие обычно свидетельствуют о недюжинном либидо. Очень стройная, длинные потрясающие ноги. Груди считай что и нет, но эта деталь как раз не имеет для меня особенного значения. Она выглядела на свой возраст, не моложе, но и не старше: ей было

[4] Примечания: 4

Зоуи Болл, Ева Херцигова — фотомодели; первая ростом пониже, вторая, соответственно, — повыше.

около тридцати, возможно, немного за тридцать.

Шикарная женщина, однако шикарная не до ужаса — может, двумя рангами повыше меня, но уж точно не тремя. Три — дистанция непреодолимая. Я трезво смотрю на подобные вещи. Я ведь риэлтор, а эта работа здорово учит трезвому взгляду на мир. Я знаю, что чего стоит, и знаю, что такое люди с раздутой самооценкой. К нам в офис такие приходят каждый день — мы их называем пузырями или чайниками, — они требуют показывать дома, которые им и близко не по карману, пускают слюни над интерьерами и встроенным оборудованием, на которые за всю жизнь не заработают, наивно лелеют мечты о том, что когда-нибудь в неясном будущем обзаведутся жильем и будут чувствовать себя в его стенах, как в рекламном ролике или на картинке в «Вог декор». Это — все что угодно, только не трезвый взгляд на вещи. У каждого есть свой потолок.

Вероника как раз и была моим потолком. До нее можно было дотронуться — если привстать на цыпочки. Она давала это понять, но слишком не подчеркивала. Выше классовых перегородок, понятное дело, не прыгнешь. Без труда можно представить себе пары: старик и юная девица, черный и белая, красавец и дурнушка, богатый и

бедная… Но такого, чтобы союз состоялся, несмотря на различия в классовой принадлежности, в Англии не случалось — по крайней мере, я ни о чем подобном не слыхал. Мы с Вероникой этими самыми различиями готовы были пренебречь — хотя тогда это было еще вилами на воде писано.

Ну так вот. Она была симпатичной, но отнюдь не красавицей. И находилась на распутье, приходила в себя — похоже, после окончания долго длившегося романа, — уже начиная слегка беспокоиться относительно дальнейших перспектив. Я бросил взгляд на ее часы: «Раймонд Вейль» — не самые дорогие и слишком новые для фамильной драгоценности.

Из того, что она пришла смотреть такую квартиру, я заключил: она вполне обеспечена, но не баснословно богата. Увидев у нее в руках книжку — что-то там Вирджинии Вулф, — понял: передо мной особа образованная, а заметив, что несколько начальных страниц совсем замусолены, решил, что эту книжку она читает исключительно из чувства долга — не ради удовольствия. И это мне понравилось: значит, передо мной женщина, понимающая, насколько важно уметь произвести первое впечатление.

Я пошел по очевидному пути — спросил, соби-

рается ли она жить здесь с кем-то (нет, она совсем недавно рассталась с приятелем), собирается ли она в таком случае жить одна (да — но в ее ответе я не расслышал ни лукавства, ни кокетства). Она сказала, что ее зовут Вронки. Я решил было, что ослышался, но она пояснила: Вронки — это уменьшительное от Вероника. Полностью: Вероника Тери.

— Мы состоим в отдаленном родстве с семейством Бирбом-Тери, если это вам что-то говорит, — промурлыкала она себе под нос.

Последнюю часть фразы Вронки произнесла с придыханием, нарочитым придыханием, давая понять, что это такая шутка, но все равно было заметно, что втайне она гордится родством. И хотя я абсолютно не представлял, кто такие эти Бер-Бомтури, ее слова произвели на меня впечатление.

Она прошлась по квартире, похмыкивая и бормоча что-то себе под нос, осматривая ее не слишком придирчиво, и это заложило основу взаимопонимания.

Я сказал ей то, что она знала и сама: ей эта квартира не подходит, за те же деньги можно купить и лучше, а эта — такая дрянь, что на нее смотреть противно, да и хозяин — старый подлец. Таково

начало психологической обработки. Клиента нужно расположить к себе, он должен проникнуться к тебе доверием. Если клиент — женщина, ее неплохо бы уложить в постель, но только непременно *после* того, как сделка совершена. Я привык доводить любое дело до конца.

Она явно была мне благодарна, но и, понятным образом, удивлена — с какой это, собственно, стати я запросто выдал ей все минусы квартиры. Она повела бровью, шмыгнула мясистым носиком и поинтересовалась причинами моей откровенности. Я ответил, что она слишком хороша для такого жилища и что она мне, вообще, нравится. Неторопливо — так, чтобы она успела отметить мою финансовую обеспеченность, — взглянув на свой «Роллекс», я сказал, что мне пора уезжать, и предложил ее подвезти.

Она предложение приняла, так что у меня появилась возможность продемонстрировать ей свой «бимер», а это тоже немаловажно. Я был в ударе, и по пути мне удалось пару раз рассмешить ее байками про Грязного Боба, владельца дома, от покупки квартиры в котором я так вовремя ее предостерег; я рассказал, как он периодически наведывается в свои владения и портит что-нибудь в электричестве или водопроводе, чтобы потом

слупить с арендаторов деньги за ремонт. Но я, разумеется, умолчал о том, что Грязный Боб — наш лучший клиент, и если бы начальство услышало от меня хоть одно неуважительное слово в его адрес, не миновать мне строгого нагоняя.

На Кенсингтон-хай-стрит, прежде чем выйти из машины, она чуток помешкала, словно чего-то от меня ожидая, но начинать такие игры было еще рановато. Я пообещал позвонить, как только подвернется какой-нибудь приемлемый вариант. Продавая квартиру, продавая самого себя, никогда не следует торопить события. Главное не показать покупателю, насколько ты в нем заинтересован. Покупатели, конечно же, все понимают, но продавцу без этого правила никак нельзя.

Вторым номером шла квартира позади «Олимпии»[5] — чуть лучше первой, но все равно ужасная, за что я принес свои извинения, объяснив, что, мол, выполняю волю начальства. Снова и речи не заходило о покупке — эта квартира была лишь очередными подмостками, на которых я разыгрывал свою пьесу. Агентство «Фарли, Рэтчетт и Гуинн» работает под лозунгом: «Дерьмо — вперед!»

---

[5] Примечания: 5

«Олимпия» — выставочный комплекс на западе Лондона, рядом с Кенсингтонским вокзалом.

Дело было в четверг через пять дней после нашей первой встречи, с которой прошло достаточно много времени, чтобы клиентка осознала всю сложность поиска квартиры, но при этом и не так много, чтобы она заподозрила меня в бездеятельности. Я видел, что она доверяет мне, что я даже нравлюсь ей. И кроме того, я вроде бы знал о ней уже довольно много — она, скорее всего, редактор на телевидении, возможно, ассистент продюсера, а хочет быть режиссером, однако никогда им не станет. Зарплата — тысяч 25–30, плюс какие-то деньги в доверительном фонде. Одна бабушка умерла, вторая пока держится. Достижения полной финансовой независимости, то есть кончины вышеназванной бабушки, ждать еще лет пять или десять. В общем и целом, неплохой кандидат для интрижки продолжительностью от одной ночи до нескольких — скажем, пяти. (Если ночей больше пяти, партнерша превращается в «твою девушку». Я стараюсь, по возможности, ограничиваться четырьмя.)

Как бы там ни было, на покупку квартиры она настроилась решительно. Вот мы и оказались в очередном жилище рядом с «Олимпией». Пахло здесь отвратительно, стены покрашены ужасающе, но зато по сравнению с первым вариантом

имелась и пара несомненных плюсов. Прежде всего, квартира располагалась не на первом этаже, и если не обращать внимания на дурацкие люстры в стиле семидесятых и на ковры цвета зеленоватых соплей, внутри она была вполне ничего — высокие потолки, большие окна. Цена, однако же, снова не лезла ни в какие ворота. Я знал, что Веронике эта квартира не подойдет — а подойдет другая, которую я уже приметил рядом с Буш-Грин[6]. Она принадлежала все тому же Грязному Бобу, владевшему ею через подставную компанию, но я предпочел об этом не упоминать.

Квартира возле Буш-Грин была вполне продаваемой. Разумеется, не «удачное приобретение» — таких вообще не бывает, разве что вы профессионал вроде меня или скупаете жилье оптом для перепродажи. Не дворец, но явно конкурентоспособная, еще бы немножко, и ее можно было бы назвать пристойной. Конечно, и у этой квартиры недостатков хватило бы на целый список, длинный, как агрегат Тони, но я полагал, что Вероника хочет переехать побыстрее, что она доверяет мне и примет на веру все, что бы я ей ни сказал. И

[6] Примечания: 6
Буш-Грин — небольшой парк у станции метро «Шепердс-Буш».

еще, к своему удивлению, за разговором с ней я обнаружил, что она мне по-настоящему нравится — не только внешне, но и манерой держаться. Она — как бы это лучше сказать? — сначала думала и только потом, выдержав паузу и все взвесив, говорила. Это свидетельство владения собой почему-то необыкновенно привлекает меня в людях. Может, потому, что мне самому этого качества всегда не хватало. Ход событий увлекает меня, несет вперед, сбивает мне дыхание…

В общем, я твердо решил не позволить ей купить ту, вторую квартиру. Мы немножко поболтали о том и о сем, теперь уже слегка кокетничая друг с другом, посмеялись. Работать с покупательницами мне нравится куда больше, чем с покупателями, — женщины относятся к покупке жилья романтичнее, поэтому с ними проще, и они никогда не совершают бессмысленных телодвижений — не пытаются простучать стены или приподнять ковер, чтобы проверить состояние половых досок.

Я постарался внушить ей, что действовать надо безотлагательно, объяснив, сколь ограничено предложение квартир, и что все хорошие живо скупают те, кто платит наличными и всю сумму сразу. Я соглашался со всем, что она говорила, — с

покупателем всегда нужно соглашаться, как бы туп он ни был, Вронки же, как я успел заметить, была отнюдь не глупа. А потом я разыграл заготовленный спектакль.

— Вронки, эта квартира тебе определенно не подходит. Если честно, ты можешь рассчитывать на кое-что получше. Но ситуация на рынке жилья сейчас тяжелая, и надо уметь подождать. Правда, у нас тут по случайности… — На секунду я прервался и выдержал паузу, словно мне неожиданно пришла в голову замечательная мысль. — Погоди-ка… Только что сообразил… Дай-ка я попробую провернуть одну штуку. Хуже точно не будет. Только позвоню в офис.

Я достал мобильный телефон — мой шестизарядный револьвер, мой верный охотничий нож, — и набрал номер. На другом конце, у меня дома, отозвался автоответчик: «Привет, это Фрэнки. Если у тебя есть что сказать, говори и отваливай!»

— Алло, Джайлз? Привет, это Фрэнки Блю… Да… Нет, я в «Олимпии» с мисс Тери. Руперта поблизости нет?.. А, есть?.. Ага, давай.

Я повернулся к Веронике, с интересом наблюдавшей за развитием сюжета. Интересные сюжеты — вот что пленяет людей. Вероника была

захвачена, вся теперь в моем распоряжении. От этой мысли я завелся, так что оставалось лишь надеяться, что она не станет смотреть мне в область ширинки. У меня, правда, никогда особенно не выпирает, не то что у Тони, а посему, даже посмотрев, она вряд ли бы что-нибудь заметила. Но на всякий случай я быстренько переступил с ноги на ногу, незаметно приводя себя в относительный порядок, и послал Вронки свою самую жизнеутверждающую улыбку. Она улыбнулась в ответ. Тут я увидел, что зубы у Вероники малость кривоваты, и по этому пункту снял у нее одну десятую балла.

— Руперт, привет. Я правильно понимаю, что та двухуровневая квартирка у Буш-Грин уже ушла?.. Угу… Угу… Да ну? Вот это удача! А ключи у кого? Здорово! Нет… Слушай, а ты не можешь соврать, что их потеряли? Придержи их, хорошо? Я приеду… погоди-ка… — Я повернулся к Вронки, прикрыв ладонью микрофон. Автоответчик, понятно, исправно записывал мой бессовестный экспромт. — Слушай, Вронки, нам, кажется, здорово повезло. Только сегодня утром на продажу выставили одну квартиру, но кроме нас на нее нацелились «Фаркуорсонс» и «Бракстон и Хэллидей». Хозяева хотят продать ее как можно

скорее, а у «Фаркуорсонс» есть покупатель, готовый заплатить все сразу. Из этой конторы уже два раза звонили и просили ключи. Если поторопимся, мы еще успеем их опередить, но только ехать туда надо прямо сейчас.

Вероника покачала головой и прикусила губу.

— Я… я не могу. Через полчаса я должна быть на работе.

Я помолчал несколько секунд, затем снова заговорил в телефон:

— Руперт, погоди минутку… Нет, прошу тебя… Слушай, я приеду прямо сейчас… Нет! *Ни в коем случае* не отдавай ключи!

Я кивнул в сторону местного телефонного аппарата и сказал голосом, не допускающим возражений — да нет, я просто-напросто *приказал* ей:

— Позвони на работу. Скажи, что у тебя заболела голова.

И надо заметить, вышло это у меня здорово.

Она на секунду задумалась, всего только на секунду. Потом решительно кивнула. А я наградил ее лучезарной улыбкой бизнесмена, заключившего наконец удачную сделку, и заговорил в мобильник:

— Тогда мы прямо сейчас заедем и заберем клю-

чи. Только не выпускай их из виду!.. Ага, отлично. Спасибо, Руп. Ты настоящий друг.

Я противно хохотнул в телефон — никогда так не смеюсь, особенно если мне по-настоящему смешно. Автоответчик пискнул мне в ухо.

— Да нет! Ничего подобного! Просто очень симпатичная девушка… Ну да, и это тоже, если уж тебе так интересно… Хм-м-м… Ладно, ладно! Если хочешь знать, даже у меня душа — не камень.

Я выключил телефон, сунул его в карман, где уже лежали ключи от квартиры на Буш-Грин. Дальше по сценарию надо было заехать в офис — может, перекинуться парой слов с Рупертом и Джайлзом, может, даже выпить кофе.

— Что все это значит? — застенчиво спросила Вероника.

— Что именно?

— Ты сказал: «ничего подобного».

— А, это… Просто Руперт пошутил.

— Как?

— Мне неудобно.

— Ничего страшного.

— Он сказал, что мне, наверное, очень хочется, чтобы ты туда со мной поехала.

Она слегка покраснела. Искорка, едва заметная, мелькнула под ее тяжелыми веками. Отлично.

Значит, осталась-таки в ней толика невинности — и это после всех пережитых романов, размолвок и измен, поползших колготок и неспособности понять другого, проплаканных носовых платков, тайных дневников и ночных бесед с готовыми посочувствовать подружками.

Мы вместе поехали в Шепердс-Буш, и там я оставил ее сидеть в машине, а сам пошел в наш офис — якобы за ключами. В офисе мы с Джайлзом от души посмеялись над моей затеей. Вот она какова великая сила мухлежа, мухлевания и обмухлевывания.

От офиса я повез ее прямиком к Буш-Грин. По пути мне захотелось несколько сократить дистанцию между нами, и я решил проверить свою догадку насчет того, что она работает на телевидении. Я прикинул другие варианты: ничто не мешало ей работать в какой-нибудь небольшой, но очень приличной пиар-компании или, скажем, менеджером по авторским правам в книжном издательстве. Но все-таки я готов был поставить три против одного на то, что она с телевидения — многие сотрудники Би-би-си приобретали в Буш-Грин квартиры с одной или двумя спальнями, так как оттуда рукой подать до телецентра.

— Слушай, а почему ты ищешь квартиру именно в этом районе? Близко до работы?

— Да.

— Я так и подумал. Постой, угадаю, чем ты занимаешься. Снимаешь документальные фильмы.

Она рассмеялась — красивым смехом, низким и грубоватым:

— Чего-чего?

— Нет-нет, молчи! У тебя в брошку вмонтирована камера. Ты как раз делаешь сюжет об агентах по недвижимости.

— А-а, ты решил, что я работаю на Би-би-си?

— Скорее всего, ты режиссер программы или, может, редактор: режешь и монтируешь пленки.

Она загадочно улыбнулась и сказала:

— Боюсь, ты совсем не попал. Резать-то я действительно режу, но ничего не монтирую.

Я пожал плечами и свернул на улицу, где находился нужный нам дом.

— Вот. Приехали. Место гениальное. Никакие кризисы его не затронут. Там в конце улицы есть теннисный клуб. Но ты ведь вряд ли играешь?

— Да, это не мое.

— Жаль. Да, кстати, за углом только что открылся суши-бар. Смотри, вот наша вывеска.

На ветру покачивалась старая, выцветшая

от непогоды деревянная дощечка с надписью «Фарли, Рэтчетт и Гуинн». На вид ей было лет сто, но на самом деле она тут висела месяца два, не больше.

— Ты здорово подсуетился.

— В смысле?

— Если квартиру выставили на продажу только сегодня утром…

— А куда деваться? На жилье в этом районе большой спрос. Особенно хорошо идут квартиры с одной и двумя спальнями — их расхватывают сотрудники Би-би-си.

— Я же сказала, что не работаю на Би-би-си.

— Ах, ну да. Извини. Подожди-ка… вот сюда и встанем. А кем ты все-таки работаешь? Минутку, сейчас припаркуюсь… — Я дал задний ход, сосредоточенно вычисляя, сколько там позади остается места. — Да прибудет со мной сила, Обиван Кеноби[7]. Надо всего лишь… быть в согласии с мирозданием.

— Я патологоанатом.

Я стукнул задним бампером и без того помятый «форд-эскорт». Зазвенело разбитое стекло.

— Нет-нет, так неправильно, — не повышая

---

[7] Примечания: 7

Оби-ван Кеноби — рыцарь-джедай из кино-эпопеи «Звездные войны».

голоса, сказала Вероника.

Меня охватил легкий ужас. С тротуара мои маневры отслеживал какой-то старикашка, а я терпеть не могу, когда на меня пялятся в процессе парковки — сразу вспоминаешь, как стояли над душой школьные учителя, и от этого начинает тошнить. Старику же, как на зло, нравилось наблюдать за мной. Все лучше, чем потихоньку помирать — иного занятия у него явно запланировано не было. Я попробовал вписаться снова, и дедок замахал руками, показывая, как это сделать. С пятой попытки мне таки удалось встать нормально. Я вылез наружу, чтобы оценить причиненный ущерб.

— Смотрите, впредь будьте осторожнее, — посоветовал дед, а я в ответ через силу изобразил улыбку.

Фальшиво улыбаться — один из главных моих профессиональных навыков, но эта улыбка далась мне нелегко, потому что я терпеть не могу стариков. От них пахнет смертью. А я не люблю о ней вспоминать — поэтому-то меня так передернуло, когда Вероника упомянула, что работает патологоанатомом. Похоже, она не шутила.

Она тоже вышла из машины и сочувственно поцокала языком:

— Только задняя фара. У тебя ведь есть страховка?

— Да ладно, забудь. Я все равно отвезу тебя на работу.

— Вообще-то моим клиентам торопиться некуда.

Криво усмехнувшись, я направился к парадному входу — двери с витражным стеклом во вкусе тридцатых. Я как напрягся, так все и не мог расслабиться — отчасти из-за разбитой фары, отчасти из-за известия о том, чем занимается Вероника. Она что, нарочно приберегала это напоследок? Да нет, вряд ли. Просто я задал вопрос, она на него ответила. Так вышло по чистой случайности, и нечего тут воображать.

— Прелестно, а? Таких дверей не много осталось.

— Мыть их замучаешься.

— Да, Вронки, что правда, то правда. Ну да ладно — главное внутри.

Я отпер дверь. За ней воняло так, будто кто-то не спустил воду в туалете. Неважное начало. Мы поднялись на несколько ступенек и очутились на первом этаже. Мебель из квартиры вывезли, ковровое покрытие с полов поотодрали, и от этого помещение казалось очень просторным. Его

заливал солнечный свет, потолки были высокие.

— Приятно, когда в квартире так просторно.

— Протопить ее будет трудно.

— Опять твоя правда, но, знаешь ли, здесь отличная отопительная система. Буквально только что установили.

Отопления, понятное дело, никто менять и не думал, отчего я слегка растерялся. А тут вдобавок еще заметил, что по свежеоштукатуренной и свежепокрашенной стене, вдоль которой мы поднимались на второй этаж, проползла извилистая трещинка. До сих пор я все недоумевал, почему в целом доме именно эта стена выглядит абсолютно безупречно. Но сейчас сообразил, что напоролся на очередной фирменный трюк Грязного Боба: под домом проседал грунт, и поэтому Боб назначил божескую цену, чтобы поскорее сбыть его с рук не слишком въедливому покупателю. Похоже, эти мои размышления несколько затянулись — Вероника успела отследить направление моего взгляда.

— Что-то не нравится мне это.

— На твоем месте я бы не стал грузиться. Весь Лондон стоит на глине. Если хочешь чего-то незыблемого, поищи в другом месте.

— Но…

— В последние годы лето редко бывало сухим. И тем не менее стенка пока не обрушилась, а ей ведь уже больше ста лет.

Мне не впервой выпускать дымовую завесу, однако тема наклевывалась весьма скользкая. Я попытался увлечь Веронику дальше наверх:

— Там есть чудесная душевая, а рядом комната, из которой вышел бы замечательный кабинет на случай, если вдруг понадобится брать работу на дом… — Я зажмурился.

Как-то слишком быстро я теряю заданную нить. А тут еще Вероника зашагала по ступенькам так размашисто, что юбка уже не скрывала бедер. Ноги были умопомрачительными.

— Ох, извини. Конечно, не станешь же ты…

— Успокойся, все нормально. У меня накапливается куча бумаг — с ними я разбираюсь дома. Разумеется, после работы я никого… в смысле не вскрываю. Это — только в больнице.

Она слегка улыбнулась. Я решил, что она нарочно смущает меня, что это доставляет ей удовольствие. Она встала у окна и посмотрела вниз, на крышу унылой террасы. Потолок на втором этаже, конечно, низковат, но все равно здесь было симпатично. И вдруг мне показалось, что Вероника клюнула на эту квартиру. Оставалось

только по-быстрому ее подсечь, но что-то меня от этого удержало.

— А если конкретнее… что ты делаешь на работе?

Она отвернулась от окна и посмотрела прямо на меня. Она смотрела мне в глаза, пронизывала меня взглядом — я не выдержал и отвернулся. Что-то было в ее взгляде, что-то такое, что пугало и в то же время приводило в восторг. Наверно — да, я понимаю, как по-идиотски это звучит — наверно, это что-то называется *искренность*. Как бы оно ни называлось, ее взгляд меня встревожил.

— Я вскрываю покойников. Смотрю, что там у них внутри. Устанавливаю причину смерти, — сказала она так, словно бы проверяла меня на выдержку.

Все-таки я прав, Вероника и вправду проверяла меня, потому что уже через секунду она сменила тон и с деловым видом провела пальцем по подоконнику:

— Мне тут нравится. С фэн-шуем, похоже, все в порядке. А ты веришь в фэн-шуй?

У женщин это частая фишка, особенно если им одиноко. Они, бывает, утверждают, что от квартиры исходят какие-то там вибрации, и

выслушивать это очень обидно, особенно, когда кажется, что дело уже на мази. С другой стороны, иной раз — как, например, сейчас — подобного рода суеверность оказывается вполне кстати.

Она снова взглянула на меня. Я выдержал ее взгляд.

— Безусловно.

— Ну и что, в таком случае, скажешь?

Я тотчас же ответил:

— Думаю, не стоит упускать этот вариант. Ты практически ничего не потеряешь, даже если потом передумаешь и захочешь ее продать, — так, штуку-другую. По-моему, предложение очень выгодное. Но только решать нужно быстро.

— Нет, я имею в виду — про фэн-шуй.

— А-а, про фэн-шуй…

Я состроил физиономию специалиста по кунфу — что-то в духе Джеки Чана:

— По-моему, фэн-шуй здесь прекрасный. Тебе ведь наверняка известно, что во всяком жилище есть девять областей, каждая из которых соотнесена с одной из сторон жизни. По моему ощущению, здесь все девять областей полны положительной энергии — особенно та из них, которая отвечает за личные отношения.

В моих последних словах намека почти не

было.

— Чтобы с определенностью сказать, подходит тебе этот дом или нет, мне надо бы узнать о тебе побольше: дату рождения, нынешнее состояние твоей жизни и энергии, ну и так далее. Но в целом квартира совсем неплоха. Мне, конечно, не очень нравится, что коридор идет прямо от входа через весь дом. А еще, что туалет расположен напротив входной двери. Это может привести к оттоку энергии богатства. В остальном же здесь, по-моему, все как надо. А если и есть какие-то недочеты — их легко исправить с помощью зеркал и растений. Или, разумеется, аквариума.

Сами видите, я серьезно подхожу к домашним заготовкам. Практическое знание дамских фантастических представлений может за год принести несколько тысяч комиссионных.

Немного погодя Вероника сказала:

— Да-да. Конечно.

Мне явно удалось произвести впечатление. Но ее отнюдь нельзя было отнести к разряду пузырей, так как она спросила:

— А как насчет инженерной экспертизы?

— Разумеется. Можно устроить и экспертизу. Но не забывай, квартира приглянулась крутому покупателю, и он еще не купил ее только потому,

что я наврал про потерянные ключи. Не многие на моем месте поступили бы также.

Она чуть дольше обычного задержала на мне взгляд, потом посмотрела в сторону, словно бы задала какой-то вопрос — не тот, что произнесла вслух, — и теперь получила ответ на него. Похоже, ответ ее несколько разочаровал. И тут она снова взглянула на меня, как бы удостовериться, что правильно все поняла.

— Так ты думаешь, стоит покупать?

Не понимаю, что тут со мной случилось. Возможно, все дело в том, что как раз в этот момент я заметил дырочку у нее на колготках. От этого зрелища во мне взыграли одновременно и нежная симпатия к ней, и животная, прямо-таки собачья страсть. Мне захотелось немедленно, здесь и сейчас, поцеловать ее, но еще сильнее захотелось ее защитить. Последнее само по себе смешно, поскольку она и близко не нуждалась в защите — разве только от меня и мне подобных. А таких ведь миллионы.

В ту же секунду я понял, что сейчас произойдет. Тело, язык, воздух в горле предали меня — оказалось, всё это предатели. И вот, после долгой, очень долгой паузы, я проговорил:

— Не знаю.

Быть честным мне обычно не труднее, чем врать — правда и ложь далеко не всегда начисто исключают друг друга, ведь, в конце концов, выражать себя и добиваться своего можно по-разному. Но на сей раз между ними вспыхнула ожесточенная борьба. Меня это даже удивило. Я был почти готов к тому, что во мне заговорит слюнявая добродетель, однако по опыту твердо знал: такое бывает только в старинных книжках — у Диккенса и у разных там козлиных морд с бакенбардами.

— Не думаю, что стоит.

У Вероники чуть-чуть округлились глаза, но больше она ничем не выдала удивления. Просто молча стояла передо мной и машинально щелкала застежкой сумочки. Я чувствовал, что она смотрит прямо на меня, но сам уставился мимо нее куда-то за окно. Честно говоря, меня смутило то, что я сказал ей правду. Нет, я и раньше пробовал это делать и всякий раз оставался с неуютным ощущением бестолковости произошедшего. Хорошая ложь, умно и неординарно преподнесенная, не разоблаченная и оказавшая желаемый эффект, приносит гораздо большее удовлетворение. А правда не приносит толком ничего.

— Но почему?

Я вышел из дурацкого оцепенения и более-менее сфокусировал взгляд на ее лице. Чувствовал я себя глупо и беспомощно. Словно бы меня подхватил и понес поток, из которого мне никак не удавалось выбраться. Но коль скоро вернуться к началу я тоже не мог, оставалось лишь нестись вперед:

— Во-первых, потому что дом принадлежит Грязному Бобу. Кроме того, земля под ним проседает. У крошечных трещинок, которые там, на лестнице, в цоколе имеются уже подросшие братики и сестрички, а также дядюшки и кузины.

Я помолчал, вроде как прислушиваясь к собственным словам. Мне уже начинал нравиться производимый ими эффект.

— Существует, конечно, некоторая вероятность того, что дело не в проседании почвы. У парня из соседней квартиры музыкальный центр занимает пол-спальни, а то и больше. Когда центр включен, немножко вибрируют стены. Сейчас сосед уехал в отпуск, на месяц. Он — парень вполне симпатичный, но только уж очень упрямый и отчасти… Как бы это получше сказать?.. Психопат он, короче. Да, а еще крыша с одного угла подгнивает. Грязный Боб нарочно дожидается, пока она

не сгниет окончательно, чтобы содрать с жильцов побольше денег за ремонт. Так что, думаю, это не лучший для тебя вариант — при твоих-то возможностях, бытовых привычках и запросах.

Снова наступило долгое молчание. Вероника пыталась подергать себя за прядки волос, но у нее не получалось, потому что волосы у нее такие короткие, что и не прихватишь как следует. Она была все-таки необыкновенно худа, но худа не до уродливости. Худенькие мне нравятся. Нет, я ничего не имею против толстушек, ни в коем случае. Тони, кстати, полноту в женщинах одобряет. Каждому, как говорится, свое. Но по мне, маленькая и худенькая тем и непохожа на меня, что она маленькая и худенькая. Особенно хорошо разница ощущается на ощупь. Я этой разницей дорожу.

Я задумался: интересно, крашеная она или нет? Как-то незаметно, чтобы корни волос у нее были какого-нибудь другого цвета, но это еще ни о чем не говорит. И тут она без тени улыбки — но зато дрогнув слегка своими тяжелыми призывными веками и едва изобразив понимающий кивок — спросила:

— Но зато фэн-шуй здесь хороший, да?

Я покачал головой:

— Не-а, говно здесь, а не фэн-шуй.

В ту же секунду она расхохоталась. Она закатывалась, помирая от смеха, ни капли не похожего на те низкие нагловатые смешки, какие я слышал от нее до сих пор: и без того не округлое лицо совсем уж вытянулось, мясистый носик подергивался, кожа на всей физиономии приобрела тот же перечно-красный оттенок, что и волосы. Этот ее нос меня доконал, и я тоже засмеялся — сначала деликатно, а потом от души. Мы вдоволь поржали дуэтом и вдруг умолкли. В наступившей тишине было слышно, как грохочет по центральной линии подземки поезд отправлением из Шепердс-Буш. Это тоже чуть меня не…

— Ты не хочешь со мной поужинать? — спросила она запросто.

— Где? — Ее вопрос застал меня врасплох.

— Где? Не знаю. Может, в том твоем новом суши-баре?

Я в очередной раз покачал головой.

— То есть и суши-бара нет?

Она опять засмеялась и снова заразила смехом меня. Я все никак не мог успокоиться, но до работы ее довез. В ту пятницу мы впервые ужинали вместе.

Все это произошло шесть месяцев и две недели

назад. Тогда я, разумеется, и не подозревал о том, что случится в дальнейшем. Мне нередко удавалось затаскивать в постель женщин, которым я показывал дома — отчасти благодаря тому, что на меня проецировалась роскошь обстановки, отчасти потому, что я вел себя так решительно, будто все эти дома и квартиры принадлежали мне лично. Но с Вероникой было как-то по-другому. Дело не столько в ней самой, сколько в том, как кстати она возникла. Всему свое время, человек входит в твою жизнь, лишь возникнув в ней вовремя. Вот она и оказалась именно такой, как надо, женщиной, встреченной именно в такой, как надо, момент. К тому времени я уже начал смутно подозревать, не признаваясь себе в этом, что понемногу устаю от Колина, Ноджа и Тони, от хождений на футбольные матчи, от дегустаций кухонь разных народов, от пинания мячика на лужайках парков, от поглощения пива и экстази, от пьяных забав, а еще от того, что снова, раз за разом делаю вид, будто все это и есть самое прекрасное на свете времяпрепровождение, такое замечательное, что лучше и не придумаешь. Я начал понемногу уставать от себя самого.

Нет-нет, иногда мне бывало очень здорово с этой троицей, даже и в последнее время. Но чем

дальше, тем больше наши отношения напоминали историю, которая все никак не отойдет в прошлое. Застряла комом в настоящем и ни туда, ни сюда. Не исключено, это все оттого, что наши с Колином, Ноджем и Тони встречи были целиком посвящены рассказыванию историй. Мы не трепались ни о чем, не пикировались, не подкалывали друг друга, в наших разговорах не было ни ярких импровизаций, ни иронии, ни намеков, ни намеков на уже прозвучавшие намеки, словом, ничего такого, что бывает, когда между людьми есть живая связь, ничего такого, что заставило бы тебя сгибаться пополам от смеха и беззаконно, безоглядно, по-детски восхищенно радоваться тому, что у тебя есть приятели. Нет, ничего подобного: как я уже сказал, — только истории, прошлое, недавнее и отдаленное. Чем занимался? Где был? Что видел? Как тебе показалась N? Ты ходил на стадион — как тебе игра? Помнишь, когда это случилось? С меня было достаточно. Более чем достаточно.

В конце концов, мне исполнилось тридцать, и жизнь моя поблекла, начала отдавать тлением и тухлятинкой. Встречу с Вероникой я принял за идеальный шанс… подновить, так сказать, свой мир, сделать его если не лучше, то хотя бы не

таким, какой он есть. Чтобы жить в нем впредь с другими, уже новыми муками, недовольствами, скукой и заливистым притворным смехом.

Забавным образом, я понял, что мне делать — то есть как разрешить создавшуюся ситуацию — опять же, показывая потенциальным покупателям очередной дом. На сей раз он располагался на границе Шепердс-Буш и Хаммерсмита. К тому времени прошло около месяца с нашего с Вероникой ужина, и мы уже недели три, как «встречались», в смысле трахались. Возможно, тут не было никакой причинно-следственной связи — в чем Вронки уверена на все сто, — просто эти два события совпали по времени. Мне все же как-то не очень в это верится. С другой стороны, разные бывают совпадения.

Тот дом был крайним в ряду на улочке неподалеку от Брук-Грин[8]. Домик вполне симпатичный, и цену за него просили не более непристойную, чем за все остальные дома по соседству. Встреча с потенциальными покупателями была назначена в офисе. Они оказались парочкой старичков — обоим лет за шестьдесят как минимум. Своими морщинистыми физиономиями они походили на

[8] Примечания: 8
Брук-Грин — зеленый район Хаммерсмита.

двух шарпеев. Смотреть дом старички поехали, следуя за моим «бимером» на каком-то смехотворном рыдване — я в нем предположительно опознал «моррис-майнор». В зеркало заднего вида я наблюдал, как старичок, закинув голову, хохотал чуть не до слез, а его спутница всю дорогу лучезарно улыбалась. Одно это уже было интересно — ведь, насколько я знаю, старики обычно либо ноют и собачатся друг с другом, либо тупо молчат.

Когда подъехали к месту, «моррис» аккуратно затормозил позади моего «бимера». Старичок вышел, обошел капот, открыл дверцу старушке и в церемонной позе дождался, пока она вылезет из машины. Я был тронут. В наше время такое редко увидишь. Старички все-таки бывают необыкновенно милы.

Мы вошли в дом, и я завел свою вечную песню: комнаты светлые, тра-ля-ля, рядом много магазинов, тра-ля-ля, вообще, тут просторно, тра-ля-ля, даже и косметического ремонта не понадобится, тра-ля-ля и все такое. Они, похоже, совсем меня не слушали — тихонько ходили за мной рука об руку, переговаривались вполголоса, время от времени сдержанно хихикая. Лица у обоих были вполне обыкновенные, но при этом старички

явно очень подходили друг другу и, в отличие от прочих старых развалин, не распространяли вокруг себя атмосферу немого укора. И что еще мне показалось необычным, так это постоянные прикосновения — они то и дело легонько дотрагивались до одежды, встречались пальцами рук. Школьники часто себя так ведут, но чтобы старики — я никогда не замечал.

Я заглянул в блокнот: Харри Батсон и Мод Луиза Колдстрим, ищут что-нибудь тысяч за триста. Но тогда почему они ездят на «моррисе»? Может, эти двое тоже из пузырей и чайников? Они хотя бы женаты? Нет, не женаты, и тут я был уверен наверняка, однако это не помешало мне счесть их серьезными клиентами. Несмотря на поношенную одежду, они держались со сдержанным достоинством. К тому же на старушке Мод были драгоценности, на вид не шикарные, но, безусловно, стоившие хороших денег. Не могу объяснить, почему я так решил — просто, работая агентом по недвижимости, приобретаешь нюх на подобные вещи.

В какой-то момент мне приспичило по-большому, и я, оставив старичков одних, поднялся на второй этаж в сортир — я до сих пор частенько употребляю это слово вместо приличествующего

риэлтору слова «санузел». Из-за съеденного накануне вечером дхансака[9] я провел там достаточно много времени, а когда вышел, увидел нечто совершенно невообразимое. Я даже решил, что мне это мерещится, и на всякий случай протер глаза.

Старички уединились в спальне — она хороших пропорций, 18 на 14 футов, с новым ковровым покрытием на полу и удобными встроенными шкафами, — и, вы только представьте себе, целовались, разлегшись на двуспальной кровати! Мало того — целовались взасос! Понимаю, в пересказе ситуация получается омерзительная, но меня, странным образом, это зрелище искренне тронуло. Эти уродливые старые развалины вели себя как… как нормальные здоровые люди.

Старик, худощавый, до сих пор державшийся со мной вежливо, но без капли надменности, первым заметил мое появление. Он улыбнулся и вроде бы совершенно не смутился. А старушка — клянусь, ей было без пяти минут семьдесят — встала на ноги и принялась прыгать на кровати.

— Я так думаю, кроватка нам подойдет, а, Харри? — сказала она и подмигнула мне.

— Мод абсолютно ненасытная, — пояснил

[9] Примечания: 9

Дхансак — острое индийское блюдо из чечевицы, обычно с курятиной и креветками.

Харри, а Мод, издав гортанный смешок, снова повалилась на кровать.

Я почувствовал, что краснею. Мод заметила это и сказала добродушно:

— Ничего-ничего, молодой человек, за него не беспокойтесь — он вообще большой шутник. А если бы то, что он про меня говорит, было правдой, тогда бы он мне уже не годился. Бедненький мой престарелый кобелек! Иногда я подумываю, не пора ли поискать развлечений на стороне.

Эти свои слова она сопроводила таким бесстыдным взглядом, что я еще больше покраснел. И тут уж рассмеялся Харри.

Когда они слезали с кровати, Мод чуть было не потеряла равновесия. Харри мгновенно кинулся к ней, подхватил под руку и поддерживал, пока она твердо не встала на ноги. Такая заботливость сразу после фривольного веселья меня… даже не знаю, как сказать. Наверное, растрогала до глубины души.

Они еще немного походили по дому и наконец сказали, что готовы его купить, добавив однако, что войти во владение смогут не раньше, чем через три месяца, так как на днях отправляются в путешествие по Дальнему Востоку. Я подумал, это очередная шутка, но, как выяснилось, они го-

ворили абсолютно серьезно. Харри только что, по случаю своего шестидесятипятилетия, получил большую пенсионную выплату, и они намеревались спустить эти деньги на «наслаждения Востока», как, подмигнув мне, выразилась Мод.

Глядя на них, я пришел в гораздо более приятное расположение духа, чем то, в каком пребывал до сих пор. Раньше, задумываясь о стариках, я вспоминал своих родителей или же родителей Тони, Колина и Ноджа — все они относились друг к другу с полным безразличием, а то и с нескрываемым презрением. Тут мне вдруг пришло в голову: а что, если это и есть та самая «осенняя любовь», про которую пишут в «Женском журнале» — или как там называется излюбленное макулатурное издание моей матушки. Может, они только на прошлой неделе познакомились в клубе «Дарби и Джоан»[10], после чего занимались сексом впервые за последние тридцать лет?

Провожая старичков до их «морриса», я не смог удержаться. Крепко и уверенно — как учил меня дядя Билли — пожав руку Харри, я спросил у него:

— Надеюсь, вас не обидит мое любопытство. Я

---

[10] Примечания: 10

«Дарби и Джоан» — система клубов для людей пенсионного возраста, названа по именам старой любящей четы из баллады Г. Вудфолла.

хотел бы спросить, вы уже давно вместе?

Харри улыбнулся:

— Нет, не очень.

Я кивнул, подумав: «Так и знал».

Мод ткнула Харри в плечо:

— Если тридцать пять лет не кажется вам слишком долгим сроком. Нам вот не кажется, правда, Харри?

— По мне, так очень даже кажется, — ответил он, но при этом рассмеялся.

И тут Харри снова меня удивил: он вдруг взял и обнял меня за плечи. Не с задушевностью пьяницы, а так, словно знал меня всю мою жизнь. Как ни странно, мне это было ничуть не противно, наоборот. Я почувствовал… почувствовал, что именно этого всегда ждал от своего отца. Ждал, чтобы он вот так обнял меня за плечи. Только отец никогда этого не делал.

Харри сказал шепотом, но очень отчетливо:

— Мужчине, сынок, главное остановиться на правильной женщине. Лучше этого в жизни ничего нет. Не будь как нынешние дурные онанисты, не теряй времени. — Он сжал мне плечо, хватка у него оказалась неожиданно сильной. — У тебя, сынок, есть такая женщина?

— Да, наверное. Я тут подумываю про одну.

— У вас все серьезно?

— Скорее всего. — Я сам поразился собственным словам.

— В таком случае не тяни резину. — И он сел в свой дурацкий, похожий на лягушку «моррис».

По какой-то неясной причине его слова застряли у меня в голове, я слышал их даже во сне. И все думал, что хорошо бы на пару с кем-нибудь лет через сто пятьдесят стать похожими на Харри и Мод.

Глава вторая
Друзья Фрэнки-Выдумщика

И снова очередной вечер вторника на Голдхок-роуд. Я уговариваю уже пятую бутылку «Старопрамена» с намерением как следует нагрузиться и наконец-то расслабиться, но голова у меня по-прежнему абсолютно ясна. Желание напиться сегодня вечером — не каприз. Мне это действительно необходимо. Потому что сегодня я должен сказать им, что ухожу от них, что все кончено, что ничего хорошего у нас с ними не вышло, что я подло их бросаю.

Тони-Бриллиантовый, Нодж и Колин тут же, со мной, в пабе «Буш-Рейнджерс», мы все смотрим по телевизору футбол. В тот же телевизор, задрав головы, пялятся еще человек сто, по преимуществу мужчины. Лица у них покрыты грубым загаром испанских пляжей, сальные волосы коротко стрижены, усы белые от пивной пены. Одеты они в нейлоновые куртки и вареные джинсы, в ушах — золотые серьги, на ногах — поддельная спортивная обувь от лучших производителей, купленная на ближайшем рынке. Тут встретишь

и кроссовки для серфингистов, и специальные, с ненужными дизайнерскими наворотами, для занятия бегом; найковские «эрмакс» соседствуют с «DMX-2000» от «Рибок». В пабе пахнет пивом «Фостерс-айс» и одеколоном «Линкс» после бритья. Мне запах нравится. Он очень домашний.

Из нас четверых — как мне хочется думать — один Колин выглядит типичным болельщиком. И дело не столько в одежде — на нем широкие длинные шорты, форменная фуфайка работника стадиона «Рейнджерс-Уоспс» и украшенная пивными подтеками ветровка — сколько в выражении лица, еще сохранившего вокруг рта следы подростковых прыщиков. На его лице написаны восторг, изумление, молитвенная сосредоточенность. В свои тридцать он чересчур серьезно относится ко всякой ерунде.

Для Колина больше, чем для любого из нас, значат эти моменты в толпе, вперившейся в зеленый прямоугольник газона, на котором играет в свои игры фортуна. Его лицо так и светится напряжением. На какую-то секунду он становится похож на пятилетнего ребенка — это когда Кевин Галлен умудряется, пробив по пустым воротам, изящно послать мяч на пятнадцать футов левее штанги. Личико Колина искажают боль и досада, словно

кто-то предал его, намеренно причинил ему зло.

У него до сих пор вся спальня от пола до потолка обклеена плакатами «Куинз Парк Рейнджерс»[11], как и пятнадцать лет назад, он старается не пропустить ни одного матча. В обычной жизни Колин спокоен и приветлив, но стоит ему завестись, и он уже не способен сдерживать эмоции. Иногда может и заорать, хотя вообще-то предпочитает не привлекать к себе внимания. Колину так и не удалось освоить позу индифферентности, которую мы, остальные трое, подаем на людях как подлинное отражение своей эмоциональной жизни.

Сейчас он покачивает головой в приступе разочарования. Иногда Колин кажется мне в каком-то смысле заторможенным — он до сих пор живет вместе с матерью, у него никогда не было девушки. Все его переживания обращены на мирок, рамки которого он по собственной воле ограничил фильмами ужасов, компьютером, друзьями и футболом. Я даже побаиваюсь, что он вот-вот заплачет, но, к моему облегчению, Колин отворачивается от экрана и принимается мрачно жевать чипсы — «Уокерс двойной хруст»

---

[11] Примечания: 11

«Куинз Парк Рейнджерс» — лондонский футбольный клуб.

с перцем чили.

Нет, сегодня не выйдет увлечься игрой. Мне на нее наплевать. Весь день я думаю о Веронике. Вернее, я думаю о себе самом и пытаюсь представить, какой эффект произведет на них то, о чем я собираюсь им сообщить. У меня возникает ощущение, будто я сижу внутри воздушного пузыря и оттуда наблюдаю за происходящим вокруг. На глаза мне попадается физиономия Тони, она преображается в профиль, задранный вверх к экрану.

Тони — Энтони Диамонте, он же Тони-Бриллиантовый, он же ТБ — хохочет во весь голос. Он и всегда-то смеется громче нас всех, а сейчас и вовсе твердо намерен перекрыть общий галдеж, и поэтому еще прибавляет громкости. Тони всегда стремится всех обыграть и оказаться первым, даже когда никто с ним не играет. Тони приподнялся на стуле и жестами объясняет Галлену, который, упав на колени, закрыл лицо руками, все, что он о нем думает. В свете прожекторов Галлен отбрасывает четыре тени. Смех Тони звучит злорадно, без намека на веселье.

В свете телевизионного экрана его бежевая водолазка от Джил Сандер кажется фисташковой. Тони в ней небось отчаянно жарко, но держится он великолепно — жара, по всей видимости, не

причиняет ему ни малейших неудобств. Даже в прокуренном полумраке паба всем понятно, что денег у Тони куры не клюют. На могучие плечи наброшено роскошное темно-малиновое пальто, костюм сшит на заказ, туфли — от Патрика Кокса, часы — «Орис Биг-Краун Коммандер». И на лице у него тоже написано, что Тони богат, по виду типичный еврохлам[12] — оливковая кожа, черные волнистые волосы, безукоризненная улыбка обнажает сияющие белизной зубы. Его ни за что не примешь за парикмахера — то есть, простите, стилиста — из Шепердс-Буш; он больше похож на матадора или на эффектного статиста из итальянского арт-хаусного фильма.

Женщины Тони обожают. Им дела нет до того, что все в нем туфта — и оливковый загар, и манера держаться, и улыбка. Наверное, он красавчик. Да точно, красавчик, и никуда от этого не деться. Сколько бы я ни врал другим — а вру я сплошь и рядом, — с самим собой все-таки стараюсь быть честным. Это непросто, только я все не могу понять почему.

На вид Тони весь из себя такой умудренный жизнью, а на самом деле — молокосос, как и все

---

[12] Примечания: 12

Еврохлам — см. рассказ И. Уэлша «Еврохлам» («Eurotrash») из сборника «Эсид Хаус», 1994.

мы. И даже больший, чем мы, потому что я-то, если задуматься, не молокосос, да и Нодж с Колином тоже. Все здешние футбольные болельщики давно уже перестали быть молокососами. Они читают Ирвина Уэлша[13], слушают по радио «Классику FM», а потом идут на работу — в типографию или торговать коврами. В этом мире нынче все не к месту. Взять хотя бы меня с моим университетским дипломом, или Тони с его костюмами по нескольку тысяч каждый, или Ноджа с его нечитабельными книжками. Таксист зачитывается Роинтоном Мистри[14]. Охренеть можно! Короче, все развалилось на частицы, которые потом безнадежно перемешались.

А вот Тони со всеми его деньгами — не поймите меня неправильно, он мне друг, я его люблю, и все такое — Тони, он…

Первым на язык просится слово «жестокий».

Нет, «жестокий» — не то. Жестокий человек получает удовольствие, причиняя боль другим, а про Тони этого не скажешь. Причиняя боль человеку, вставшему у него на пути, он просто

---

[13] Примечания: 13

Ирвин Уэлш — живущий в Амстердаме культовый английский писатель (р.1958).

[14] Примечания: 14

Роинтон Мистри — индийский писатель, живет в Канаде (р. 1952).

не обращает на это внимания. Тут нет ничего личного. Он уверен, что в жизни есть вещи и поважнее, чем думать о чувствах окружающих. По-моему, это очень не по-английски. Но Тони и не англичанин, он сицилиец, во всяком случае, его родители родом с Сицилии. Он терпеть не может, когда ему об этом напоминают. А сам носит на шее оберег от злых духов — ладонь и коровьи рога. Из чистого золота.

Впрочем, узнав его поближе, понимаешь, что Тони, по большому счету, просто выпендривается, а вообще-то он ничего. Я почти в этом уверен, иначе бы мы не дружили.

Он — мой друг, мой лучший друг. Он веселый. Вокруг него всегда что-то происходит. Он — как циклон. И к тому же он уже очень давно рядом со мной. Не так давно, как Колин, но ровно столько же времени, сколько Нодж. Наверное, лет пятнадцать.

Я поворачиваюсь к Ноджу. Действие «Старопрамена» уже ощущается, но, вместо того чтобы почувствовать единение с приятелями, я, хмелея, начинаю отгораживаться от них. Нодж в кислой усмешке слегка выпятил губы, и это единственное его движение с самого начала вечера. Он вообще не любит совершать необязательных

действий. Никогда без крайней необходимости не сдвинется с места. Прямо как растение: меня здесь посадили, эта грядка навсегда моя, и никому не стоит на нее претендовать.

Ровно это и написано у него на лице. Оно у Ноджа пухлое и рыхлое, и словно бы стекающее к центру — можно подумать, кто-то дал ему в нос и на месте удара образовалась вмятина с дряблой оправой по краям. Такое впечатление, что без буферной зоны — розоватых скул, бровей и подбородка — его физиономия совсем бы потеряла свои черты. Это лицо лишний раз не шевельнется, не изменит себе. Лицо упрямое, не падкое на приманки. Низкие, спящей гусеницей устроившиеся на экваторе черепа густые брови срослись между собой, как у Лайама Галлахера[15].

На лице Ноджа привычное неодобрительно-осуждающее выражение. Оно означает, что он никогда не простит этого проступка Галлену, у которого уже имелось достаточно случаев оправдать себя в глазах Ноджа. Нодж принимает футбол очень лично, переживая игру чуть ли не в нравственных категориях. То есть Галлен не просто допустил ошибку — он совершил дурной

---

[15] Примечания: 15
Лайам Галлахер — вокалист группы «Оазис».

поступок. Однако Нодж любит делать вид, что ему все равно, что он уже давно перерос подобные вещи. Для него футбол кое-что значит, но уж точно не так много, как для Колина.

Нодж наклоняется и на дюйм подворачивает черные холщовые брюки «Некст». Эта привычка осталась у него с детства, когда мать обряжала его в штаны на вырост. Нодж всегда одевается в черное или темно-серое, а по особо радостным случаям — в шоколадно-коричневое. Он считает себя благоразумным и прагматичным. Тряпки от «Тимбердэнд», «Гэп Эссеншиалс» и «Стоун-айленд», лесорубские ботинки и спортивные пуховики — вот обычный прикид Ноджа.

Не повышая тона, он произносит два слова, подчеркивая каждое движением пальца, направленного на гигантский экран, который по-прежнему показывает коленопреклоненного Галлена:

— Не. Годится.

Отлично сказано. Нодж мог бы сделать эти слова своим личным девизом и вырезать их у себя над дверью.

До конца игры остается две минуты, «Рейнджерс» проигрывает 0:1. Мне кажется очень важным, чтобы наши выиграли или хотя бы

сделали ничью, но вдруг в голове у меня мелькает неожиданная и тревожная мысль: а почему, собственно, это важно? В последнее время я довольно часто ловлю себя на странных мыслях — может, это у меня начинается кризис среднего возраста? Хотя вроде бы тридцать лет для кризиса рановато. Похоже, в моей жизни все не к месту.

К какому еще месту?.. Наверное, пиво дало мне по мозгам сильнее, чем я ожидал.

Я хочу сказать, ведь игроки нашей команды не живут в Шепердс-Буш, как живем — или когда-то жили — мы сами. Футболисты — всего лишь наемники, солдаты удачи. И с какой стати мы должны переживать за бестолковую компанию из одиннадцати неудачников? Взглянув со стороны на себя, думающего эту крамольную мысль, я начинаю понимать: мне абсолютно все равно, выиграют наши или проиграют. Собственно говоря, мне глубоко на них плевать.

Я снова поворачиваюсь к экрану. Найджел Квоши делает опасный навес в штрафную. Галлен принимает передачу, чуть было не теряет мяч, но все же умудряется кое-как отбить его обратно Квоши. Тот подставляет ногу, и мяч взмывает в воздух. Арбитр смотрит на часы. Галлен делает рывок и подныривает под мяч. Молниеносным

движением он подпрыгивает, заваливается на спину и в тот момент, когда голова касается земли, дотягивается до мяча и с десяти ярдов четко посылает его через себя в дальний от вратаря угол ворот.

В «Буш-Рейнджерс» происходит настоящий взрыв. Нодж обнимает меня. Тони целует, Колин танцует в экстазе. Все лица в пабе сияют, и в эту секунду, в этот потрясающий миг, мы все преисполнены трепетной любви друг к другу. В подобные редкие моменты не сомневаешься: нет ничего лучше, чем быть чьим-то другом и иметь друзей. На пол льется пиво из опрокинутой в радостной суматохе кружки. На экране творится то же, что и в пабе: игроки в бело-голубых футболках радуются от всей души, целуются и обнимаются.

Из динамиков телевизора доносится высокий звук — это финальный свисток. Мы празднуем победу, но тут по пабу пробегает волнение: несмотря на свисток, матч почему-то продолжается. Галлен в ярости вздымает руки к небесам. Игроки плотной толпой окружают арбитра. И постепенно до всех нас доходит, что свисток был не финальным, а всего лишь означал положение вне игры. Зрители в пабе наотрез отказываются в это верить. Всеобщая любовь и счастье побе-

дителей немедленно выветриваются. Раздаются сокрушенные стоны: на замедленном повторе ясно видно, что Галлен забежал на пять футов в офсайд.

Игра продолжается. Через десять секунд судья дает на сей раз настоящий финальный свисток. Мы стоим в пяти футах друг от друга, клубы табачного дыма разъединяют нас надежнее отбойника на автостраде. Колин слегка морщится, но молчит. Тони выстреливает в экран соленым орешком, тот отскакивает от стеклянной поверхности и падает на ковер. Нодж, который никак не может простить Галлена, сминает в руках пустую пивную банку. Как заевшая пластинка, он все бормочет себе под нос:

— Безнадежный кретин. Галлен. Безнадежный кретин. Галлен…

Сегодня я точно все им скажу. Нужно только выбрать правильный момент. Экран бледнеет и гаснет. В пабе начинается препарирование трупа.

— Вечная история. Ничего не могут сделать как следует.

— Защитники еле ползают. А Стив Морроу вообще козел.

— Продать надо Галлена к чертовой матери,

тухлятина!

— Да просто вышвырнуть на хрен!

— Чего?

— Тухлятину обычно в помойку выкидывают!

— Ладно, ладно!

— Да кто же его купит, Галлена-то?

Так продолжается несколько минут, потом Тони ставит банку на стол и говорит как о решенном деле:

— Никто не хочет карри?

— Не знаю.

— Я что-то…

— А я бы съел чего-нибудь восточного. «Хэппи Гарден» еще не открыли?

— Не знаю.

— Есть тут одно новое заведение…

— Такое пижонское индийское?

— Ага. «Храм мелочей».

— Оно не так называется.

— Именно так. Это индийский тапас-бар. Там все подают такими маленькими кусочками.

— Не слишком вдохновляет.

— Я бы лучше сходил к китайцам.

— Ладно, пошли. По дороге решим, — говорю я.

На сегодня с меня довольно огорчений. Сколько еще может катиться вниз наш «Рейнджерс»? Из

премьер-лиги в первую и еще ниже. Мы с Тони выходим на улицу, Колин и Нодж идут за нами. Нодж не торопится — ему кажется, что к индийцам его тащат силой, но в конце концов решает не усугублять и без того неприятную ситуацию.

— Поехали на твоем такси, а, Нодж? — предлагает Колин. — Пешком далековато.

Нодж качает головой и отвечает, что слишком много выпил. На самом деле выпитое им ни при чем — просто Нодж упрямится, ему все-таки хочется в китайский ресторан, и он не желает везти нас на своем такси куда-то в другое место. Его такси — черный «метрокэб» последней модели — припарковано перед пабом. Нодж всегда следит за машиной, и она сияет в свете ближайшего фонаря.

К машине прислонились двое чернокожих парней. На них широченные спортивные штаны и фуфайки с капюшонами, низко надвинутыми на угрюмые лица. На капоте автомобиля Ноджа стоит полная кружка пива. Нодж устремляется к чернокожим, но Тони его опережает. Он берет кружку, выливает пиво в сточный колодец и с издевательской улыбочкой вручает пустую кружку одному из парней. Тот без всякого выражения на лице смотрит на Тони, потом поворачивается

к своему приятелю. С минуту посовещавшись, они быстро и бесшумно проходят мимо нас. Один из них роняет на мостовую бумажку. Я ее подбираю.

Тони возвращается к нам, насмешливо фыркает и идет прочь вдоль по Голдхок-роуд. Сжимая в руке бумажку, я оглядываюсь на такси и вижу: к машине подошли два огромных татуированных болельщика «Рейнджерс» и озадаченно уставились на то место, где еще недавно стояла их кружка. Заметив это, Нодж припускается вслед за Тони, почти догоняет его и шепчет что-то сквозь зубы. Мы с Колином тоже спешим ретироваться.

— Это было не их пиво, — говорит Нодж.

Тони ничего не отвечает.

— Да и машину они даже не поцарапали. — Нодж прибавляет пару децибелов: — Слушай, глупо это. Прям как маленький.

Тони по-прежнему молчит, но замедляет шаг, чтобы Нодж поравнялся с ним:

— Мог бы просто попросить их отойти.

Тони почти останавливается, и несколько мгновений мне кажется, что он собрался попросить извинения. Такого раньше не случалось — ни с Тони, ни с кем-нибудь еще из нас. Мы никогда не извиняемся, во всяком случае друг перед другом.

Не спрашивайте, почему. Так уж у нас заведено.

— Слушай, Нодж, рот закрой, а? У них так и так ничего хорошего на уме не было. Типичная банда на ночном промысле. Пошли поедим и забудем это дело, ладно? В новом индийском заведении вкусно, говорят, офигительно.

При этом Тони даже не оборачивается, а знай себе топает вперед. В интонации, с какой он произносит эти слова, нет ни тени вызова — они у него звучат совершенно нейтрально. В принятой между нами манере общения это сходит за извинение. Нодж слегка задумывается над сказанным Тони и решает не отвечать. Он покусывает губу. Никто на моей памяти так часто не кусал себе губы. Они у Ноджа вместо резиновой кости, о которую чешут зубы щенята. Зато никто никогда не видел, чтобы Нодж выходил из себя. Для него самообладание — важнейшая черта характера, главный признак того, что ты уже взрослый.

Колин нервничает. Он терпеть не может, когда рядом с ним у кого-то возникают разногласия — ведь трудно же соглашаться с обоими спорящими. А я все еще внутри своего воздушного пузыря. Смотрю на проплывающие мимо вывески. Ирландский паб анонсирует матч «Уэксфорд» — «Типперари» и советует ни в коем случае его

не пропустить. За ирландским пабом — бар «Золотая рыбка». Над аркой рынка Шепердс-Буш полумесяц с нарисованными на нем бананами, новогодним серпантином, перцами, ананасами, чайниками и котятами. По краям вывеска проржавела, так же как и сделанная из какой-то хреновой железки овца — украшение над входом станции метро «Буш-Грин».

Я вспоминаю про бумажку, которую обронил чернокожий парень, и рассматриваю ее. Бумажка оказывается плохо отпечатанной листовкой, над текстом заголовок «Куда мы все идем?» и картинка: лучи, расходящиеся от непонятного источника света. Такие листовки я уже видал раньше — их подсовывали под дверь моей квартиры. Значит, угрюмые парни были «Свидетелями Иеговы». Так что Тони и тут не изменил себе: выпалил не глядя, уложил невинных.

Мы идем по Голдхок-роуд, идем быстро и ждем, чтобы со временем возникшее между нами напряжение спало. Я стараюсь не думать о Веронике. Мы останавливаемся на переходе. На ограде висит плакат «Насильников и педофилов — на виселицу!» Рядом с ним другой: «Пишите „Иисус Христос“ правильно! Уважайте злобу, а не зло. Дьявола нет!»

Колин замер у магазина «Юниверсал Джинс» и смотрит на витрину: «Келвин Кляйн», «Босс», «Ив Сен-Лоран», «Москино», «Донна Каран», «Армани»... Глядя на лейблы, можно подумать, что попал куда-нибудь на Саут-Молтон-стрит[16], но вещи тут дрянные. А одна пара джинсов — так совсем уж невероятное дерьмо: вареные, мешковатые, на редкость уродливые.

— Великоваты, — произносит Колин как завороженный.

Что с Колином происходит, непонятно. Тони едва бросает на него взгляд. Они с Ноджем бок о бок уходят вперед.

Скоро мы снова быстро шагаем мимо магазинов с опущенными решетками на витринах, мусульманских мясных лавок, пиццерий, индийских закусочных, прачечных-автоматов, скобяных лавок. За витриной одной из лавочек нет ничего, кроме плакатов с видами Мекки и написанного крупными буквами призыва «Добро пожаловать в волшебный мир ислама!».

— Аллах акбар! — выкрикивает Тони.

— Смерть неверному псу Рушди! — подхватывает Нодж, но у него получается не как у араба,

---

[16] Примечания: 16

Саут-Молтон-стрит — пешеходная торговая улица, примыкающая к Оксфорд-стрит.

а на манер Питера Селлера[17], изображающего китайского кули.

Колин не меняет выражения лица и говорит:

— В жопу папу римского.

Колин не знает, кто такой Рушди. Тони знает, кто он такой, но его не любит и поэтому всей душой поддерживает фетву. Тони любит Энди Макнаба[18], а когда чувствует себя интеллектуалом — Джеймса Эллроя[19], причем чем мерзостнее вещь, тем ему лучше. «Черная Далия» — его любимая книга. Я знаю, кто такой Рушди, и даже начал читать одну его книжку, но бросил на странице двенадцать. Полная чушь. Нодж утверждает, что прочел «Сатанинские стихи» и они ему даже понравились. Просиживая целыми днями в своем такси, он порой и не до такого додумывается. Больше всего на свете Ноджу хочется быть умным, но он неумен. Я вот умен, однако ловко это скрываю — в Шепердс-Буш быть умным

---

[17] Примечания: 17

Питер Селлер (1925–1980) — наст. имя Ричард Генри, британский актер-комик.

[18] Примечания: 18

Энди Макнаб — псевдоним бывшего британского спецназовца, пишущего боевики.

[19] Примечания: 19

Джеймс Эллрой (р. 1948) — наст. имя Ли Эрл, американский автор детективов.

не слишком удобно.

Мы минуем польскую гастрономическую лавочку, ливанскую закусочную с едой на вынос, турецкую кебабную, ресторан карибской кухни и пиццерию «Домино». Слева появляются облагороженные коттеджи 6-го Западного округа.

Винный магазин возвещает изменения в экономической географии района. С фонарных столбов теперь свисают корзины цветов. Рестораны здесь еще не пафосные, но уже довольно модные: «Брэкенбери», «Эйнджелси», какое-то вегетарианское заведение. В полумиле справа виднеются многоэтажки Уайт-сити[20] — Колин до сих пор живет там со своей мамой. На границе Уайт-сити, но уже среди частных, стоящих стена к стене кирпичных домов с бронзовыми дверными молотками на входе, находится и мое жилище. По милости «Фарли, Рэтчетт и Гуинн» это аккуратный беленький четырехкомнатный домик — две комнаты внизу, две наверху.

Тони и Нодж, которые все так и идут впереди, останавливаются у здания, похожего на суперновый ресторан. Его облик минималистичен

---

[20] Примечания: 20

Уайт-сити — соседний с Шепердс-Буш район; его называют «каменными джунглями» — там много дешевых многоквартирных домов, построенных в 1960–70-е годы.

— кубические формы, затененные оконные стекла, голые бетонные стены. Зал ресторана заполнен на три четверти, все посетители явно редакторы Би-би-си, болтающие о всякой ерунде.

— Пришли, — объявляет Тони.

— По-моему, дерьмо, — говорит Нодж.

— Давайте зайдем, посмотрим, — предлагаю я.

Колин кивает. Он всегда кивает, всегда говорит только «да». Без выражения согласия не обходится ни одна его фраза. Оно у Колина сродни заиканию.

Входим, нас усаживают за столик у окна. Живот у меня бурчит в предвкушении. Приносят меню — не привычные старомодные меню в красной искусственной коже и с убойными ценами на курицу карри, мургх-алоо и бхинди-бхаджи, — а нечто, напоминающее пергаментные свитки, испещренные каллиграфическими письменами.

Мы снимаем верхнюю одежду, вешаем на спинки стульев и принимаемся изучать меню. Нодж нудит, Тони всех подначивает, Колин со всеми соглашается. У нас всегда так. Я же понемногу участвую и в том, и в другом, и в третьем. Если у меня и есть свое собственное амплуа, то это, пожалуй, вранье. В нем я силен.

Ноджа чтение меню обескураживает. Я пони-

маю это по тому, как сжимаются его губы, когда он пробегает глазами названия блюд, и как они белеют, когда он смотрит на цены. Таксисты зарабатывают меньше, чем принято думать, да к тому же Нодж с его потаенным, то есть напрочь отсутствующим, обаянием вряд ли получает большие чаевые.

— Намешали дерьма всякого, — заявляет он достаточно громко, чтобы проходящий мимо официант в иссиня-черном пиджаке без воротничка и с блестящими пуговицами скривил губы.

Я смотрю в меню и понимаю, что имеет в виду Нодж. «Лобстер под легким тминным соусом, покоящийся на чечевичной подстилке». Напротив меня сидит Тони с сияющей физиономией. Ему здесь определенно нравится.

— Попробовать, что ли, решми-кебаб? — говорит он.

Нодж замогильным голосом зачитывает из меню:

— «Этот куриный кебаб будет на вашей тарелке такой же роскошью, что и драгоценный атлас, в честь которого он получил свое название». — Сделав для пущего эффекта паузу, Нодж повторяет: — Намешали дерьма всякого.

Зануда он все-таки.

Тони не обращает на него внимания. Фешенебельная обстановка вынуждает его к сдержанности. В той же мере, в какой Ноджу хочется быть умным, Тони всегда стремится соответствовать обстановке, стилю и моде. Всем нам, каждому по-своему, хочется соответствовать. Наверное, поэтому-то я и боюсь рассказывать им про Веронику. Потому что я *соответствую* им. Это они помогают мне держаться на ногах, с ними все мое прошлое.

Короче говоря, от них не отделаешься. Не то чтобы мне этого хотелось. Не то чтобы этого хотелось даже *мыслящей* моей стороне. Но всяких разных сторон во мне много. И они беспардонно помыкают мной.

На прошлой неделе я чуть было этого не сделал. Я чуть не убил их. Чуть не забил до смерти. Серьезно, я не шучу. И все из-за Вероники. Это она заставила меня *захотеть* их убить.

Глава третья
Неприкасаемые, или Голубые кнопки

Это произошло в прошлый четверг, вечером. Мы были у меня дома, на окраине Уайт-сити. Район, надо сказать, весьма своеобразный — слишком уж неоднороден контингент жителей: здесь еще остались типажи, которые носят старомодные плоские кепки, курят самокрутки, пьют горькое пиво и вспоминают войну — все это пережитки пятидесятых — шестидесятых годов; но в основном здесь живут молодые пары — счастливые обладатели «вольво», «бимеров» и «пежо». Я предпочитаю однородность. Так я чувствую себя спокойнее в отвоеванном пространстве под солнцем.

Вероника пришла домой, точнее, в то место, которое вскоре станет ее домом, после долгого дня, заполненного кромсанием покойников. Иногда мне кажется, что я чувствую запах смерти, исходящий от нее. Как ни странно, это возбуждает. Это заставляет меня еще больше стараться в постели, чтобы опровергнуть сей непреложный, необра-

тимый факт. В отношении смерти никто не хочет торговаться, в лучшем случае называют цену.

Но мы пока еще далеки от этих мыслей. Мы ведем самый незамысловатый образ жизни. Одна из особенностей сосуществования с девушкой — то, что не нужно ни разговаривать, ни производить впечатление, не нужно напрягаться вообще. Можно просто жить вместе. С приятелями так не получается. С ними надо что-то делать, чтобы подтверждать свой статус занимательного и интересного товарища. С ними молчание порождает неловкость. В отношениях с девушкой молчание допускается. И мы этим пользуемся. Молчим. И мне это нравится.

Еще совсем недавно мы с Вероникой встречались только по выходным — с вечера пятницы до воскресенья — и один раз в середине недели; таким образом, соотношение свободы к обязательствам было 3:4. Мне это кажется разумным соотношением. Чуть выше среднего (обычно 4:3), но гораздо ниже расклада постоянных отношений (0:7). Однако по мере приближения свадьбы соотношение С:0 резко падает. Вероника остается у меня почти каждую ночь, и соотношение приближается к 2:5 или даже 1:6. Но я, в общем-то, не против. Эти процессы не остановить в любом

случае. Они органичны и неизбежны. Они происходят не по чьему-либо решению или желанию. Они просто происходят. Несколько раз в неделю я встречаюсь со своими друзьями, она — со своими, но при этом мы оба, не сговариваясь, приходим ночевать сюда.

Чувство свободы постепенно выветривается; возникает взаимное проникновение в пространство друг друга. Это не имеет отношения к хронологическому времени. Само присутствие Вероники, пусть еще не постоянное, меняет мое внутреннее ощущение, но не в слащаво-сентиментальном смысле. Я начинаю дышать по-другому, быстрее, интенсивнее, как будто кислорода может не хватить. Я постепенно меняюсь. Надеюсь, смогу к этому привыкнуть.

Дом я купил еще в 91-м, как только недвижимость подешевела. Я ждал этого момента, ждал, пока цены на жилье опустятся до того уровня, ниже которого уже падать некуда, и когда, после нескольких конвульсий на дне, рынок снова начнет оживать и цены поползут вверх. Я купил его за 120 тысяч, и сразу после этого ситуация на рынке недвижимости изменилась. Сейчас мой дом стоит в два раза дороже. Когда мне одиноко, или грустно, или я просто лежу в ванной, я этим себя

успокаиваю. Я представляю себе цифру 120, она выплывает, крутится у меня над головой, потом начинает распадаться на кусочки, растягиваться, пока не принимает форму другой цифры: 250. Потом я превращаю ее в слова: четверть миллиона. Слово миллион вызывает трепет, мне хочется поиграть с ним. Мммиллион. Мммммммммммиллион. Мммммммм.

Еще три раза по 250, и я миллионер. Тогда я точно буду счастлив. Тогда я буду победителем.

При условии, что Тони не заработает два миллиона.

Дом самый обыкновенный, и по конструкции, и по отделке. До того как я сломал перекрытия, в нем была стандартная планировка: две комнаты наверху, две внизу и выход из кухни в маленький дворик с крошечной лужайкой. Сейчас внизу одна большая комната с лестницей, ведущей от восточной стены наверх. Большое, светлое пространство, большие добротные деревянные окна со скользящими рамами. Отделка очень простая: на полу доска, белые стены, ничего лишнего, несколько гравюр. Веронике это кажется обезличенным, но я по опыту знаю, что нельзя придавать недвижимости слишком личный отпечаток, потому что, может случиться, что

покупателю не понравится ваш вкус. Так что я решил не рисковать. Я не хочу ничего, что могло бы вызвать неприятие. В любом случае я здесь долго не задержусь; женитьба — подходящий случай продать этот дом за хорошие деньги.

Думаю, только одна стена в доме несет отпечаток моей личности и моей жизни, и то — все это можно убрать, перенести, удалить. Это огромный коллаж — действительно огромный: где-то пять на пять футов — из любительских фотографий. Я сделал для него раму на заказ. А потом методично вклеил туда все фотографии, которые были у меня в старых альбомах, лежали на дне ящиков, в коробках на чердаке. На площади в двадцать пять квадратных футов разместились сотни фотографий, среди них попадаются и черно-белые, но в основном цветные. Я клеил их целую ночь, в бредовом исступлении, через неделю после смерти отца. Это было в прошлом году. Это вернуло мне ощущение, что я все еще жив, что меня не сносит течением.

Я заметил, что Вероника рассматривает фотографии. Она часто так делает, хотя не знает большинства людей, на них изображенных. И правда, это море застывших лиц и тел притягивает, гипнотизирует. Каждый раз, глядя на

коллаж, я нахожу что-то новое: лицо забытого друга, давно затерянный в памяти момент моей жизни. Жить — это значит забывать, забывать, а потом вдруг вспомнить. Моему коллажу удается выволочь наружу нечто неуловимое, без вести пропавшее, безнадежно утерянное. Состоящий из кусочков, он создает целостность. А кусочки эти — кусочки меня самого, все до единого.

Я подошел босиком и встал сзади. Не знаю, заметила она меня или нет, она была очень поглощена фотографиями. Мне кажется, что всякий раз, вступая в новые отношения, человек пытается выкрасть прошлое партнера, получить на него некие права собственности. И я думаю, разглядывание старых фотографий из той же серии. Но полностью завладеть прошлым невозможно. Вы показываете прежних спутников со смущением или гордостью. Рассказываете о поездках на дешевые средиземноморские курорты. Смеетесь над устаревшими нарядами. Это такая игра, такой эстрадный номер, но его нельзя недооценивать.

Я бросаю взгляд на первый попавшийся снимок. Небольшая фотография со скругленными углами. Что-то опустилось внутри, когда я посмотрел на нее. Джо, мой отец, обнимает меня, сидя на канапе, то есть на диване, в нашем доме

на Рокли-роуд, в 12-м западном округе, западнее того места, где сейчас торговый центр. Но, если присмотреться, видно, что он меня не обнимает. Как подросток на первом свидании, он обвил рукой мои плечи и голову — мне лет семь-восемь, на мне спортивный костюм с эмблемой любимой футбольной команды, из которого я тогда не вылезал, — однако до меня не дотрагивается. Кажется, вот-вот обнимет, но я-то прекрасно знаю, что этого так и не случилось.

Я хорошо помню этот момент на диване. Мама стоит напротив и говорит, чтобы мы сели поближе, отец чувствует себя все неуютней и раздражается. Это видно по его лицу, по уже выцветающей улыбке. Я чувствую, как волны смущения исходят от отца, и краснею. Родимое пятно на лице наливается кровью и становится багровым. Я сжимаюсь. И это тоже видно на фотографии: меня как будто всосало внутрь — руки прижаты к груди, шея втянута, тело напряжено. Его рука так и не дотронулась до моего плеча. И в этом вся суть наших с отцом отношений. Его рука так и не дотянулась до меня.

Джо не был плохим, отнюдь. Я это понимаю, особенно теперь, когда он умер. Должен сказать, он мне всегда нравился. Но он был болезненно

застенчив, и это диагноз. Он не терпел, когда к нему прикасались, неважно кто, я или моя мать, или кто-то еще, не потому, что он был холодным человеком, а потому, наверное, что это его сильно смущало. Может быть, кто-то ему сказал, что прикосновения — признак гомосексуальности или еще чего-то. Может быть, Грэмпс, этот старый ханжа. А вот и он сам, четвертый снимок слева, стоит со своей лопатой, лицо как из камня, ни намека на улыбку. Тогда они смотрели на вещи по-другому. Они считали, что любить — это делать то, что тебе говорят.

— Кто это? — Вероника показывает на крайний снимок в верхнем правом углу.

Я пытаюсь понять, какой именно снимок она имеет в виду.

— Там, где я в пачке, рядом со мной?

— Это разве ты?

— Хорош, правда?

— У вас что, маскарад был?

— Нет, это я устраивался на работу, проходил собеседование.

— А зачем ты надел пачку на собеседование?

Вероника иногда не сразу понимает, что я шучу.

Думаю, я к этому привыкну.

— Да нет. Конечно, был маскарад.

— А-а-а. Но я не эту имела в виду, а соседнюю.

— А, вот ту… это…

Потом, какую-то долю секунды, я пытаюсь вспомнить его имя. У него неровные зубы, светлые волосы, он очень высокого роста, родом с севера, из Ньюкастла. Три года мы были лучшими друзьями. Не разлей вода. Теперь вспомнил.

— Это Мартин Бакл.

— Я с ним не встречалась?

— Нет. Мы уже не общаемся.

— Почему?

— Не знаю. Просто разошлись.

И я несусь по течению дальше: моя жизнь, друзья, все, что было. Наконец потоком меня приносит к Вронки. И тут я падаю. Поправка. Уже упал.

Вронки выбирает наугад следующую фотографию.

— А это кто?

— Слева еще один Мартин, Мартин Кибл. Это его девушка, Сэлли. А я стою с… как его… Нивен какой-то там. Такое странное имя… Нивен, Нивен Бендер. Мы вместе учились в университете. Симпатичные ребята. Отличные ребята.

— Вы по-прежнему встречаетесь?

Я качаю головой. Мартин разбился на горных лыжах, но и с остальными мы давно не встречаемся. К тому времени он расстался с Сэлли. Кто знает, где она сейчас. Нивен Бендер осел где-то в Уэльсе. В прошлом году он прислал мне открытку на Рождество.

Я стал просматривать снимки в поисках старых друзей. Тэрри и Кэл — уехали в Америку. Эндрю Баракло — перестали общаться после того, как он слишком много проиграл мне в покер. Хотя я и отказывался брать деньги. Кэти Шаут — одна из лучших среди моих друзей-женщин. Вышла за парня, который терпеть меня не мог, что, впрочем, было взаимно. Так мы разошлись с Кэти. Пол Бэйкер — огромная копна соломенных волос и узкая грудная клетка. Переехал работать в Шотландию. Звонит иногда. У него уже трое детей.

Я все смотрю и смотрю. Несколько десятков лиц взирают с фотографий на меня, лиц некогда близких мне людей. С которыми я смеялся, делился секретами, выпивал, играл в дурацкие игры и которых я по-своему любил. Почти все они далеко. Обзавелись семьями и жильем в кредит в Уэстон-супер-Маре. Работают программистами за границей. Не могут или не хотят общаться. Выпали из поля зрения или из жизни. Старые

друзья, с которыми я не общался годами, и не только потому, что нас разделяют расстояния, но и потому, что отношения естественным образом распадаются.

Друзья уходят по-разному. Иногда трагично. Среди лиц на фотографиях я могу различить одного наркомана, одного пропойцу, двое не вылезали из депрессии, один практически шизофреник, провел полгода в клинике. Есть там и те, с кем я ходил в школу, в институт, с кем я работал, с кем познакомился через друзей. И вдруг я понимаю, что большинство этих людей, добрую их половину, я не… мне не…

Не то, чтобы они мне *не нравятся*, просто они здесь потому, что всегда здесь были. Это дело привычки, что ли. Они — часть вашей жизни. Так или иначе, они не дают вам упасть, напоминают вам, кто вы, что с вами стало. Иногда это раздражает. Старые друзья могут превратиться в сухостой, в окаменелый лес. И тогда вы будете с трудом прокладывать себе путь через него, не для того, чтобы продвинуться вперед, а просто чтобы остаться в настоящем, чтобы прошлое не засосало.

Вероника теперь смотрит на другой угол коллажа, справа внизу. Этот угол особенный… одни и

те же лица повторяются снова и снова. Я, Колин, Нодж и Тони. Осенью на празднике в Мюнхене Тони мочится на лобовое стекло фургона при включенных дворниках. Ибица, не то 93-й, не то 94-й? Мы все приняли экстази, это был дурдом. Я, Тони и Нодж забрасываем футбольными мячами Колина. Вот мы вчетвером ныряем в идеальной голубизны бассейн, не помню, где это было, может, мы тогда в первый раз отмечали 14 августа?

Просматривая снимки и перебирая прошлое в памяти, я подумал, что нас действительно осталось только четверо. Все остальные замкнулись в своих маленьких мирках, где нет места приятелям или где с ними не особенно считаются. С такими приятелями я иногда встречаюсь по отдельности, мы ужинаем или выпиваем, с ними и с их девушками или женами, я могу заехать к ним посмотреть на детей или пойти с ними вместе в кино. Но с этими тремя мы до сих пор встречаемся, скидываемся, выпиваем, устраиваем мальчишники, потешаемся друг над другом, над женщинами, надо всем подряд.

Все это здорово. Точнее, было здорово. Наверное, они считают, что с появлением Вероники все это в прошлом. Но, по-моему, совсем не обязательно. Нельзя просто так бросить своих друзей,

даже если собираешься жениться. И я не буду их бросать. Вероника должна это понять. Это было бы по-женски. Мне всегда казалось, что женщины склонны к измене, склонны переоценивать свою связь с мужчиной в ущерб всему остальному. Господи, как я ненавижу это слово. *Связь*. Я представляю себе полную шлюпку родственников, связанных друг с другом веревками. Может быть, именно поэтому Вероника не нравится Ноджу, Тони и Колу. Они опасаются переоценки. По крайней мере, мне кажется, что она им не понравилась. Потому что, когда мы встретились все вместе в первый раз — это было несколько недель назад, — обстановка была как в разделочной морга, где работает Вронки. Леденящая. Никакого движения, никакой попытки сблизиться. Мы разошлись через полтора часа, за полчаса до закрытия паба.

Как будто читая мои мысли — интересно, *как* она это делает? — Вероника произнесла, не поворачивая головы:

— Я полагаю, это твои лучшие друзья.

— Кто? — спросил я, хотя прекрасно знал, кого она имеет в виду.

Она показала на фотографию 1984 года. Тони в образе варвара, фиолетовые волосы, из-под брюк

торчат драные трико, высокие лакированные «мартинсы», я тоже выпендрился: волосы выкрашены в белый цвет, короткая стрижка, полосатые джинсы. Смотрю на Ноджа: его не узнать — худое лицо, ни намека на лысину, как будто другой человек, образ которого почти стерся в моей памяти. Тогда в его лице была чувственность, даже утонченность, сейчас это непроницаемая, глухая, вязкая стена. Я не помню, чтобы Нодж выглядел изящно или казался счастливым. А ведь было время, когда он носил яркую одежду: на нем канареечно-желтая футболка и зеленые брюки. Я так давно не видел на нем ничего, кроме серого, коричневого или черного, что уже и забыл, насколько прежде он был смелее в выборе цветовой гаммы. Только Колин почти не изменился: одет плохо, прыщавое лицо уже тогда оправдывалось и предчувствовало неудачи. Самая дешевая, самая низкопробная одежда. У меня сердце сжимается от боли, когда я смотрю на него. Бедный Кол. С ним я познакомился гораздо раньше, чем с остальными. Мы еще детьми играли вместе в футбол. *Я тогда любил его,* подумал я про себя и тут же устыдился этой мысли.

— Колин, Тони и Нодж.

— Полагаю, что да.

— А сколько у тебя всего друзей?

Я задумываюсь. Вопрос непростой. Я смотрю на снимки, а они со стены смотрят на меня. Десятки друзей или тех, кто когда-то *был* другом. Черт, это не так-то просто.

— Трудно сказать. Много. Думаю, больше, чем в среднем у человека моего возраста. В среднем обычно сколько? Десяток самых близких. Десяток менее близких. Около двадцати приятелей, с которыми общаешься очень редко. Кто-то остался со школы, кто-то из колледжа, с кем-то работал, среди них попадаются чьи-то бывшие. Парочка позаимствованных или уведенных у других друзей. Те, с кем снимал квартиру. Но сейчас их количество уменьшилось, это точно.

А откуда, интересно, у меня возникло ощущение, что этому кругу предстоит еще одно резкое сокращение? Потому что так всегда бывает после женитьбы. Еще одну связку верных друзей поглотит ненасытное болото истории.

Я развиваю свою мысль, остановиться не могу.

— Что такое друг? Кто-то, кто тебе симпатичен? Можно ли назвать другом человека, которого ты десять лет не видел и не горишь желанием увидеть? Есть ли у дружбы срок годности? Чем отличается друг от знакомого? Я не могу ответить.

— А ты попробуй.

— Зачем?

— Затем, что нам нужно составить список приглашенных на свадьбу.

Вот те раз!

— Я уже говорила тебе, что заказала ресторан, но там могут поместиться только шестьдесят человек. Это не так много, учитывая родственников с обеих сторон.

Тон изменился. С расслабленного, мечтательного — на резкий и деловой. Забавно, но с тех пор, как мы решили пожениться, резкость и деловитость гораздо определеннее проступили в ее чертах. Я знаю, что резкость и деловитость ей *присущи.* У нее очень успешная карьера: она одна из самых молодых патологоанатомов такого уровня в стране. Но я считал, что эти качества проявляются только по необходимости, чтобы заработать на хлеб с маслом. Жизнь заставляет. И вдруг я чувствую, что попал в число тех неизбежных ситуаций, с которыми надо справиться, которые надо, так сказать, проработать.

Ведь брак — тяжелый труд. Если мы собираемся прожить вместе целую жизнь, надо научиться уступать, так я понимаю. Во всяком случае, так все говорят.

— И что ты хочешь этим сказать?

— Тебе нужно решить, кого ты считаешь друзьями. Потому что на свадьбе для них остается не больше двадцати мест, а они могут привести с собой еще кого-то. Ведь у большинства есть кого с собой привести в этом возрасте — если, конечно, они не полные неудачники.

— Это наезд на Тони, Ноджа и Колина?

— Это шутка, Фрэнки. Как твоя пачка. Между прочим, у тебя есть подружки?

— Конечно, есть.

— А ты спал с кем-нибудь из них?

О Господи!

— Нет.

Вероника глубоко вздыхает. Потом разворачивается ко мне и говорит:

— Ты помнишь, как пригласил меня в «Ангельский взгляд»?

— Конечно.

«Ангельский взгляд» — это очень изысканный ресторан в Ислингтоне. Очень утонченный. И чертовски дорогой.

— Ты помнишь, как я сказала, что главное в отношениях — честность?

Ничего подобного я не помнил. Но с готовностью кивнул.

— Так вот, это не просто слова. Это не просто издаваемые звуки. Они имеют значение. Ты понимаешь? Я хочу, чтобы ты начал говорить мне правду.

И она опять отвернулась к фотографиям.

— Между прочим, я знаю твое прозвище.

— Какое прозвище?

— Джонатан — то есть Нодж — сказал мне, что тебя звали Фрэнки-Выдумщик. Он считает это забавным.

Чертов жирный Иуда, мешок дерьма.

— Так меня уже больше никто не зовет. Это дурацкое школьное прозвище. Просто шутка. Я честен как все.

— Это-то меня и беспокоит. Так кого ты хочешь пригласить?

Она покачала головой, очевидно, что-то пытаясь выразить. Копна огненных волос при этом не шелохнулась: слишком короткие и слишком обильно обработаны гелем. Как выяснилось, они крашеные. По корням видно. Мир вокруг состоит из иллюзий. Все ими пропитано — риэлтерская контора, я сам, внешность, взаимоотношения, дружба. Нет, только не дружба. В это я не поверю никогда.

Я почувствовал, что захлебываюсь в потоке,

хлынувшем из шлюза, который она открыла. Чтобы прийти в себя, я извинился и сбежал в туалет. Что это со мной? Господи Иисусе! Какая-то часть меня допускала ее правоту, а может, хотела в нее верить. Как было бы замечательно жить по строго установленным правилам. У меня всегда была потребность придерживаться определенных правил, отчасти поэтому я лгал — чтобы другим казалось, что я следую правилам. На самом деле это *практически* невозможно. А как было бы славно подписаться на набор индивидуальных принципов. Но это нереально. Человек врет раз десять в день. С таким же успехом можно пытаться отменить силу тяжести. Свидетельство о заключении брака на такие вещи не влияет.

Вернувшись из туалета, я обнаружил, что Вероника сидит за индийским столом Дэвида Вайнрайта — практически в каждом доме на нашей улице такой имеется — и вертит в руках маленькую пластмассовую коробочку. Когда я подошел ближе, то понял, что это коробочка с разноцветными кнопками.

— У меня идея, — сказала она.

— У меня тоже, — я обвил ее руками, прижав ладони к груди.

Во Вронки есть что-то, от чего я буквально схо-

жу с ума. Это, наверное, особый шик, которым она обладает. Ее интонации. Я покрываюсь испариной, когда слышу их.

Она твердой рукой отвела мои ладони, потом метнула на меня взгляд. Думаю, с этим взглядом мне еще не раз придется столкнуться. Раньше я думал, что его, так же как резкость и деловитость, она использует только на работе. Но теперь понимаю: за ним стоит послание. *Ты считаешь, что это игра, но это не игра. Это жизнь. Женщинам это знание присуще от природы, а тебе придется его усвоить.* Во взгляде это не выражено напрямую. Он не такой жесткий. Но достаточно неприятный. Я решил немного разрядиться. Вытянул шею, вытаращил глаза. Сделал вид, что я весь внимание.

— Так кого ты хочешь пригласить на свадьбу?

— Я еще не думал об этом.

Вероника опять помрачнела. Ответ неверный. Прежде чем ответить, надо задать себе два вопроса: «Сказать правду?» или «Ответить правильно?» Ведь это совсем не одно и то же.

— Фрэнки, у нас осталось ровно два месяца и три дня до свадьбы. Я договорилась со священником. Договорилась с рестораном. Я отдала напечатать приглашения. Составила список по-

купок. А ты что сделал?

Я уже собрался отвечать, но понял, что вопрос риторический. Мне не предлагали огласить мои достижения в подготовке свадьбы (а мне было, что сказать). Мне предлагали изобразить раскаяние.

Правильный ответ / правда.

— Понимаешь… Видишь ли, мне не нравится это, Фрэнки. Мне не нравится, что приходится ворчать и придираться. Обычно я так себя не веду, тебе же это известно. Просто так получается… не знаю почему. Нам пора начать заниматься этим вместе.

При виде моего раскаяния Вероника смягчается, дает понять, что я не просто коллега-недотепа, а мужчина, которого она любит. Ее жених. Она прижимается ко мне. Мне так приятно. Я спокоен. Я смотрю на ее лицо: она улыбается. Я заметил, что в правом уголке рта у нее появился белый прыщик, довольно большой. Поэтому я слегка подался назад, когда она потянулась ко мне, чтобы поцеловать. Я очень брезглив. Но, похоже, она ничего не заметила. Я ограничился чмоком в щеку. Мы уже реже целуемся как раньше, с языком. Это одна из переходных стадий, о которых так много говорят, один из предсвадебных пери-

одов. На сегодняшний день я выделил всего пять периодов. До предложения. После предложения / до свадьбы. Свадьба. Дети. Смерть. В общем, соприкосновения с прыщом я избежал.

— Прости, Фрэнки. Я не хотела ругаться. Но просто на заполнение приглашений уйдет месяц, еще неделя на рассылку. Сколько у нас остается — всего пять недель. Нет, четыре. Ведь надо всех позвать заранее. А мы уже выбились из графика, по крайней мере, это принято делать раньше.

— Прости. Я понимаю, нам пора этим заняться. Я мог бы сделать больше. Так какая у тебя была идея?

Я покосился на коробку с разноцветными кнопками, лежавшую на столе.

Вероника рассматривала фотографии. Кончик языка высунулся, придавая ей слегка заторможенный вид. Разные глаза, один заметно больше другого, изучали снимки, что-то выискивали.

— Может, это покажется тебе глупым. А может, наоборот, понравится. Мы могли бы сесть вместе и решить, кого хотим пригласить.

Решить, кого *мы* хотим пригласить. Но это мои друзья, мои, мои. Или я должен подчиниться коллективной воле? Это тоже часть семейной жизни? Или, так же как поцелуи в щеку, часть

досвадебного периода?

Вероника очень взволнована и возбуждена. Она вытанцовывает около доски с фотографиями, гремя коробкой с кнопками.

— Послушай, я придумала. Мы сначала рассортируем их кнопками по цветам.

— Что?

— Цветными кнопками. Мы присвоим каждой категории друзей определенный цвет.

Я подумал, что она шутит, но решил подыграть.

— И сколько же категорий друзей существует? — спросил я небрежно.

Вероника, похоже, не заметила моей иронии.

— Множество. Начнем с друзей, которые тебе не нравятся. Таких очень много. Потом идут те, которые нравятся, но увидеться с ними ты не стремишься. Затем те, что тебе действительно симпатичны, но ты не переносишь их половин. Есть те, кто всегда рядом, и потому от них не отделаться. Есть те, с кем ты дружишь не потому, что они тебе нравятся, а потому, что они хорошо смотрятся или известные люди, и быть их другом — это круто. Так сказать, трофейные друзья. Они, как правило, ЧОЭТы, хотя среди трофейных друзей встречаются и не ЧОЭТы. Но обычно эти

качества совмещаются в одном человеке.

— Что такое ЧОЭТ?

— Чрезвычайно Обаятельный Эгоистичный Тип. У меня таких двое, и еще один кандидат на это звание. Они держат тебя на поводке. А когда чувствуют, что поводок сильно натянут и может порваться, пускают в ход все свое очарование, чтобы снова притянуть тебя поближе. Дадут тебе понять, как ты важен для них. Это будет продолжаться минут десять. Потом уйдут, ослабив поводок, потому что есть другие поводки, которые тоже нужно иногда подтягивать. Они предпочитают количество качеству. Они любят сложности, препятствия. Они должны… водить людей за нос, только так они ощущают свою значимость. У тебя есть такие друзья?

— Да нет, — соврал я, думая при этом о Тони.

— А еще есть друзья по спорту. Есть удобные друзья — обычно это коллеги по работе. Есть друзья из сострадания, с которыми ты общаешься, потому что тебе их жалко. Есть знакомые, которые проходят испытательный срок перед тем, как стать друзьями. Есть…

— Ну, хватит. Тебе не кажется, что это омерзительная, *аномальная* классификация?

— Не говори глупостей. Мы всего лишь со-

ставляем список. Ведь мальчикам нравится все классифицировать?

Когда она так поставила вопрос, мне действительно захотелось этим заняться. Разложить все по аккуратным и ровным полочкам.

— Существует необозримое множество вариантов друзей. И это только начало. Если мы решим, кого пригласим на свадьбу, нам придется учитывать и другие сопутствующие факторы. Сильно ли обидятся те, кого мы не пригласим? Приглашали ли они тебя на свою свадьбу? Подарят ли они что-то приличное (не надо забывать о практической стороне вопроса)? Не напьются ли они до беспамятства и не оскандалятся ли? Нравлюсь ли я им? Нравятся ли они мне?

Тут я не выдержал.

— По-моему, Вероника, нравятся они тебе или нет, значения не имеет. Они не твои друзья.

— Возможно. Но свадьба наша. Принято считать, что это мой день. И поэтому у меня есть право так говорить.

Паузы бывают разные: по длине, по тяжести, по структуре. Установившаяся после последней фразы пауза была непростой. Она была тяжелой, очень тяжелой, она как будто заполнила комнату вязким туманом. И очень долгой. И в ней была

отчужденность, злоба и растерянность. И она звучала. Я долго не мог понять, что это за звук, а потом понял. Звук выкапываемых траншей. Скупой скрежет лопат. Траншеи — это подготовка к борьбе, которую проводят на ранних стадиях любых долгосрочных отношений. Я знаю, потому что я не однажды прошел через ранние стадии долгосрочных отношений. Просто я никогда не шел дальше ранних стадий, вот и все. Выстроенные и укрепленные линии обороны потом практически невозможно переместить. Эти линии символизируют силу.

После того как пауза проедала нас кислотой не меньше четырех минут, я решил бросить пробный камень, но — это важно — *не уступая,* а давая понять, что возводимые ею крепости — всего лишь временные сооружения, которые в будущем могут быть реконструированы. Я должен четко объяснить, что никакие принципы не принимаются безоговорочно.

— Ладно. Ты имеешь право на собственную точку зрения. Давай рассортируем их и разложим по полочкам.

Я взял у Вероники коробку, достал красную кнопку и воткнул ее в моего старого друга Рона Пирса, живущего на Перли-Уэй: мы расстались

где-то в 1993-м, когда он связался с женщиной, по своей сути напоминавшей одноразовую посуду. Рон стоит на фоне дорожного знака, это было, кажется, в 1989-м, в Германии, улыбается и показывает на деревушку под названием *Минж.* Мы тогда отлично отдохнули. Рон подцепил какую-то заразу у барменши. Я втыкаю кнопку в грудь как колдующий шаман.

— Это в прошлом. Рон Пирс — уже история. Он тень, прерванный полет.

Вероника грустно кивает.

— Значит, красные кнопки для привидений.

— Можно и так сказать.

— Есть еще призраки?

Я судорожно трясу коробку и извлекаю пригоршню красных кнопок. Осторожно вынимаю их и складываю на ладони. Ральфу Вотерману я протыкаю голову, он погибает в неравном бою. Мы не разговаривали с тех пор, как он нанес мне удар головой. Безумный Иен Спрайти и его подруга Сьюзан получают по кнопке в живот. Мы были друзьями, пока я не попытался залезть под юбку Сьюзан. Тогда я чудом остался жив.

Джону Сэдлеру я попытался вонзить кнопку в глаз, но попал в нос. Не знаю, почему мы перестали общаться; это наш последний совместный

снимок, в 1991-м в «Буш-Рейнджерс». Просто отношения себя изжили. Надо много красных кнопок. Кэти Кэлхун, я любил ее, а она меня бросила, разбила мне сердце. Вот тебе. И еще одну. Толстозадая Филиппа Бут, она меня отшила, хотя до этого три года кокетничала со мной. *Вот* тебе. Прямо в ухо.

Красных кнопок все больше. В конце концов, из доски торчит не меньше двадцати красных головок. Я вспотел от напряжения.

Повернувшись к Веронике, признаюсь:

— А знаешь, это неплохое занятие.

— Я тебе говорила, — отвечает она застенчиво. Потом улыбается, открывая свои маленькие зубки; мне кажется, их у нее в два раза больше, чем у обычного человека, они похожи на кукольные. На верхнем ряду следы губной помады, по цвету идеально подходящей к ярко-красным волосам.

— Это как… я не знаю. Как чистка, что ли. Словно сбрасываешь путы. Избавляешься от лишней тяжести. И сразу легче. Я хочу еще. Мне это помогает. Это делает меня легким как воздух.

— Дальше будет не так весело. Различия становятся более тонкими. Это действует уже не столь освежающе.

— Вот, у меня есть зеленые. Кто будет зеле-

ным?

— Давай… зелеными будут друзья, которые тебе не нравятся.

Мои брови поползли вверх. Они у меня подвижные. Вздернутые брови в моем случае означают не только удивление, но и замешательство. На лбу наметились морщины. Несмотря на то, что я часто привираю, по моему лицу можно все понять.

— Эта формулировка кажется мне противоречивой.

— Никакого противоречия. Я терпеть не могу некоторых своих друзей. Но они не для того, чтобы нравиться. Одни могут ввести меня в нужное общество. Они хорошо одеты, красивы, мне приятно, что я иду рядом с ними по улице.

— Не думаю, что среди моих друзей есть такие.

Я задумался. Потом всадил кнопку в левый висок Винни Морана, с которым иногда хожу на игры «Рейнджерс». Он привлекательный, модный, очень крутой. Но при этом драчун и хулиган. За много лет знакомства я убедил себя, что он забавный парень. Но на самом деле он просто мудак.

Было еще несколько зеленых кнопок: парень — я с ним познакомился через «Фарли, Рэтчетт

и Гуинн», — поставляющий мне клиентов, и женщина, которая постоянно обвиняет меня в сексизме и пытается убедить, что я склонен к насилию. К своему изумлению, я обнаружил, что кошусь в угол со снимками Колина, Тони и Ноджа и в какой-то момент даже нацелился туда зеленой кнопкой, подумав про себя: *«Давай, сделай это. Покончи с ними. Со всеми сразу»,* — но вместо этого я направил кнопку в офисную зону.

Мы выделили еще несколько категорий: друзья с никудышными половинами, непристижные друзья, друзья, которые могут испортить праздник. Всех моих бывших девушек мы пометили желтым — это я позволил сделать Веронике. Похоже, она словила кайф. Мне уже стало скучно, а Веронике пора было идти на занятия по рейки[21]. Для человека, получившего естественнонаучное образование, Вероника, на удивление, подвержена влиянию всевозможных иррациональных учений. Как я понял, ее озабоченность фэн-шуем в квартире Грязного Боба в Шепердс-Буш, была неподдельной. В квартире, которую она, в конце концов, купила — не через «Фарли, Рэтчетт и

[21] Примечания: 21

Рейки — тибетское философско-медицинское учение, основоположник которого, Микао Усуи, положил в основу своих техник энергию света и любви.

Гуинн» — и от которой я пытался ее отговорить, Вероника усмотрела благоприятные колебания.

Я взглянул на последние оставшиеся в коробке кнопки — нежно-голубого цвета.

— Давай обозначим голубым неприкасаемых, — предложила Вероника. — Тех, кого нельзя критиковать, кому полностью доверяешь, кто на всю жизнь, и все такое.

Я кивнул и тут же достал три кнопки. Как будто извиняясь за недавно промелькнувшую мысль, я наградил одной Тони, другой — Ноджа и третьей — Колина. Вероника при этом издала неприятный гортанный звук.

— Ты находишь это забавным?

— Нет.

— Мне казалось, ты говорила об откровенности.

— Говорила. Это не забавно. Это немного грустно.

— Что ты имеешь в виду?

Я изо всех сил старался держать себя в руках, но чувствовал, как желчь закипает внутри. Вероника заметно смягчилась, даже положила мне руку на плечо.

— Прости, я ничего не имела в виду.

— А вот сейчас ты не откровенна.

Еще одна пауза. В ходе которой вырабатывается позиция, рассматриваются варианты, подбираются слова. Потом Вероника говорит:

— Я просто заметила на нашей встрече, что отношения у вас напряженные.

— Потому что там была ты.

— Знаю. Но дело не только в этом. Я не заметила между вами… любви.

Мое раздражение достигает нового уровня.

— Это звучит как-то… по-женски.

— Дело не в словах.

— Я понимаю. Любовь. Любовь. Любовь. До. Ре. Ми. Я люблю своих друзей. Люблю Тони, Колина, Ноджа.

— Ты уверен?

— Я уверен в этом гораздо больше, чем в том, что…

Я остановился, но было поздно.

— Чем в том, что любишь меня?

— Я не это хотел сказать.

Вероника прикусила губу. Я задел ее за живое. Во мне поднялась волна сожаления и стыда. Но в то же время я подумал: *«Возможно, это правда»*. Вероника повернулась ко мне, швырнула остатки кнопок на доску с фотографиями. Они разлетелись по полу.

— Послушай меня. Я в этом разбираюсь. Тебе не нравится Тони, а ты не нравишься ему. Я не понимаю, как вы вообще подружились. Колина ты жалеешь, и это его обижает. Мне кажется, единственный настоящий друг — это Нодж. Ты ему небезразличен. Я не понимаю, почему именно он, но это так. Хотя ты его чем-то разочаровал.

От возмущения и ярости у меня выступают слезы на глазах.

— И все это ты поняла за полтора часа, проведенных в пабе?

Вероника пожимает плечами.

— Да.

Вот теперь меня понесло.

— Все это полная чушь. Нодж никогда не высказывал особого расположения ко мне. Думаю, у него ни один мускул не дрогнет, даже если исламские фундаменталисты или участники движения против вязания на спицах подожгут его маму. Не потому, что он сдержанный. У него просто отсутствуют эмоции. Он словно вырублен из камня. Поэтому на него можно положиться. Человек без страстей. И, насколько мне известно, я его ничем не разочаровал. С Колином мы очень давно дружим. И любим друг друга. Да, я иногда огорчаюсь из-за него. Но это не жалость. А

Тони потрясающий парень. Такого поискать. Он веселый. У него огромный потенциал. И неиссякаемый *энтузиазм.*

— В некоторых людях энтузиазм — всего лишь проявление паники, — говорит Вероника.

Почему-то это стало последней каплей.

— Да что ты понимаешь?! Как ты вообще можешь об этом рассуждать? Ты им не понравилась, потому теперь так… о них отзываешься. Они мои друзья. И вот еще что. Тони будет моим шафером, заруби себе это на носу, чертова трупокромсательница!

Вероника окинула меня твердым взглядом и совершенно спокойно сказала:

— Дорогой, это наша первая ссора.

Потом она взяла свою куртку и направилась к двери. Но, сделав несколько шагов, обернулась.

— Это не я им не понравилась. Меня они просто испугались. Это ты, Фрэнки, ты им не нравишься. Всем, кроме Ноджа. И если Тони будет твоим шафером, значит, ты дурак. А ведь ты не дурак. Ты лжец. Ты слишком часто лжешь. Эта привычка может стать твоей второй натурой.

Я не стал спорить, потому что, отрицая это, только подтвердил бы ее правоту.

— Дело в том, Вронки, что друзья — очень важ-

ная часть жизни. Друзья — это…

Я хотел сказать, *самое важное в жизни,* но внутренняя цензура вовремя остановила меня. Я сделал паузу и затем неуверенно повторил:

— Очень важная часть жизни.

Я почувствовал неловкость, понимая, что накануне свадьбы мне не следует так думать. Эта мысль не должна была приходить мне в голову. Но она пришла. Вероника заговорила снова, уже тише.

— Ты не это хотел сказать.

Я демонстративно вздохнул.

— Да. Я не это хотел сказать.

— Ты хотел сказать, что друзья — самое важное в жизни.

— Возможно, да. Я не уверен. Я только предполагаю. Но не знаю, верю ли я в это.

— Зачем тогда говорить, если не веришь?

Хороший вопрос. Но разве мы не всегда так делаем? Не обязательно *верить* в то, что *говоришь.* Как узнать, *веришь* ты в это или нет? Иногда — точнее, почти всегда — остается лишь строить предположения. В конце концов, *что-то* надо говорить.

— Не знаю. Бывает, просто высказываешь какую-то мысль, приставшую к тебе, как пушинка

к пиджаку.

— Угу.

— И ты зачастую не представляешь, где подобрал эту пушинку. Но она уже на пиджаке, так или иначе.

— Прямо на лацкане, — съязвила Вероника.

— Да.

Вероника направилась к выходу и снова остановилась — вполоборота к двери. Теперь она улыбалась, как будто это был невинный разговор, ничего не значащая игра слов. Но я сознавал, что разговор перешел в более серьезную фазу. Она хотела понять, каковы мои приоритеты. И она имела на это право.

— Так ты веришь или нет?

Я постарался придать голосу максимально равнодушный тон, чтобы закрыть тему:

— Не знаю. Правда, не знаю.

А потом она хлопнула дверью и отправилась на свои занятия по рейки. Я знал, что вечером она не придет. Собрав оставшиеся голубые кнопки, я воткнул еще по нескольку штук в фотографии Ноджа, Тони и Колина.

Неприкасаемый. Неприкасаемый. Неприкасаемый.

До нее так ничего и не дошло. Друзья — *важная*

часть жизни. *Самая важная, Фрэнки.*

А потом я вдруг подумал, что это не мои слова. У меня появилось странное ощущение, как будто я стою и со стороны смотрю на себя и прислушиваюсь, пытаясь понять, кто же говорит эти слова. Знакомый женский голос. Голос из далекого прошлого, из зыбкого, подвижного пространства, пропитанного сигаретным дымом, лечебными мазями и дешевыми духами.

Вот так ко мне вернулось это воспоминание. Я не уверен, что мы вообще способны управлять своими воспоминаниями. Для меня они — захмелевшие, расплывчатые гости, которые приходят, потом исчезают, часто бесследно, но иногда возвращаются. А это воспоминание, появившееся на фоне доски, истыканной разноцветными кнопками, вошло через дверь, о существовании которой я не подозревал, через дверь, разрисованную волнистыми линиями чужеродных красок.

Это воспоминание было похоже на фильм, не то, что другие — отрывочные и разрозненные. На фильм, не всегда абсолютно понятный, но достаточно цельный.

Фильм о том, как мы едем с моей мамой Флоренс — Флосси Блю — в автобусе, куда едем, понятия не имею. Сколько мне было лет, тоже. Возможно,

девять, где-то на изломе детства, когда невинность отступает и угасает. Я неуловимо чувствую, что восторг и восхищение миром постепенно тускнеют. Странной болезнью поселяется внутри скука; просто ощущения, что ты здесь и сейчас, уже недостаточно. Тогда меня стало что-то манить, что-то, чему я не знал названия. Не знаю и по сей день.

Через мамино плечо я читаю журнал — «Дом и сад», или «Женское царство», или «Ваш друг», или, может быть, «Новинки литературы» — родители подписывались на все подряд без разбору. *«Самый замечательный человек в моей жизни». «Чувство юмора в мундире».* Мне скучно, я не расположен шутить, я устал смотреть в окно на безликие, однообразные дома Западного Лондона. Я заглядываю маме через плечо, читаю заголовки, изучаю картинки. На них смеющиеся дети, уютные дома, образцовые мужья, готовящиеся насладиться домашним ужином, уроки вязания, танцы. Заголовок «Что важнее всего в жизни?» напечатан большими, жирными, уверенными буквами на черно-белом фоне, а в углу каллиграфическим почерком выведено: «Мнение редакции».

И я, скучая, поворачиваюсь к маме и задаю ей

тот самый вопрос, который обозначен в заголовке, просто потому, что больше нечем заняться. Я не особенно рассчитываю на ответ, ведь, как правило, она не отвечает на мои вопросы. Она всегда слишком занята. Скорее всего, она отделается обычным *незадавайгупыхвопросов,* или *ничего,* или *сейчасневремя.* Вместо этого она молчит.

— Мам, так что важнее всего? — я показываю пальцем на заголовок.

Она смотрит на меня с удивлением сквозь свои очки-линзы. Глаза ее почему-то не кажутся сейчас такими расплывчатыми и отсутствующими, как всегда. К моему удивлению, она воспринимает вопрос всерьез. Она ерзает на сиденье, складка между бровями делается еще глубже, она подносит к губам указательный палец, подушечка которого отлакирована тяжелой, бесконечной работой швеи.

По лицу видно, что вопрос ее взволновал, но причина волнения мне непонятна, и это меня беспокоит. Настроение, которое нас окружало, незаметный воздушный пузырь, сотканный из спокойного безразличия, сменяется чем-то более серьезным и искренним.

— Важнее. Всего. В жизни. Так сразу и не скажешь, Фрэнки. Дай мне немножко подумать.

Она смутилась, растерялась.

— Наверное… Наверное, это…

Звенит звонок кондуктора, поворачивается колесо автомата, и вылезает скрученный билет. Автобус тормозит, и при этом нас начинает трясти как в бетономешалке. Оставленная на соседнем сиденье газета вибрирует, часть листов отделяется и присоединяется к окуркам, выброшенным билетам и использованным бумажным носовым платкам на полу.

Лицо моей матери приобретает сосредоточенное выражение, как будто все болтики встали на свои места, так что система пришла в рабочее состояние и способна теперь выполнять возложенные на нее функции. Рабочее состояние системы подтверждается несколькими кивками, следующими друг за другом.

— Наверное, это друзья, скорее всего.

В ее голосе появляется уверенность, как если бы ей удалось найти золотое кольцо, закатившееся за диван. *Вот* оно где.

— Это друзья. Они — самое главное в жизни, Фрэнки. Понимаешь, если у тебя хорошие друзья, тебе есть на кого опереться. Друзья всегда помогут в беде.

Она говорит это уверенно, с абсолютной убеж-

денностью и твердостью, которых прежде я в ней не замечал. И я смотрю в ее блеклые глаза и думаю про себя, надеясь, что она не прочтет моих мыслей, как иногда случалось: «Но, мам, у тебя же нет друзей».

Это было правдой. У нее ребенок, требующий постоянного внимания, и муж, чья застенчивость равносильна террору. Ни минуты свободного времени. И если бы даже свободное время имелось, ничего бы не изменилось — отец был непреодолимой преградой. Он, конечно, не стал бы вмешиваться, но… Он краснел, здороваясь с соседями, краснел, когда почтальон доставлял посылки. Выражение силы на его лице, силы, позволившей ему развозить уголь по улицам Западного Лондона в течение двадцати лет, сменилось боязливыми и угодливыми морщинами.

Друзей не было. В жизни моего отца, человека всеми любимого, вежливого, с хорошими манерами, не было места для друзей, и, похоже, это его не очень смущало. Он довольствовался редкими минутами досуга, читая газету или журнал, слушая радио или потребляя нехитрую стряпню Флосси. Друзья ему были не нужны. Флосси пришлось смириться с этим, в конце концов она приспособилась. В те времена женщины приспо-

сабливались, по крайней мере, на Голдхок-роуд.

Я, девятилетний, смотрю на свою мать и вижу, что она меня уже не замечает, она смотрит в окно. Пузырь вокруг нас меняет свой цвет сначала на голубой, потом на бледно-желтый, и, наконец, на серый. Я был не особенно чувствительным ребенком, но даже я замечаю ее страдание, выползшее на поверхность и тенью зависшее над головой. И внезапно я осознаю, насколько она одинока — чудовищно, непоправимо одинока. Вот тогда-то я и придумываю магическую формулу, повторяя ее на разные лады, чтобы запомнить.

Я никогда не буду одинок, меня будут любить. Нет одиночеству, да любви. Никогда не быть одиноким, быть любимым.

Каждый раз, как внутренний голос произносит слово *никогда,* я кусаю со всей силы тыльную сторону ладони, так что остаются следы. Магическая формула твердо обосновалась в моей голове, словно монумент, а потом этот монумент стал погружаться в зыбкую почву, на которой был воздвигнут, и погружался до тех пор, пока не исчез из виду, уйдя глубоко под землю. Но вот неожиданно он возник в моей памяти, во всей своей реальной мощи, с решением, заложенным в фундамент. *Я никогда не буду одинок, я всегда буду…*

Автобус опять тормозит, потом останавливается. Радуга распадается, предметы принимают свои обычные реальные очертания.

— Ну вот, приехали. Наша остановка.

Водворяется прежнее настроение, пузырь меняет цвет, картинка стирается из сознательной памяти. Пока не всплывает на поверхность снова, двадцать лет спустя, когда я в одиночестве рассматриваю доску с фотографиями, доску с моими бумажными друзьями, насаженными на десятки маленьких, острых, разноцветных рапир.

Глава четвертая
Ее ядерные кнопки и как ими управлять

Нодж опять закурил. Он говорит в перерывах между затяжками. Несмотря на свою непрезентабельность, курит он как заправская голливудская звезда. Он делает это стильно: умеет держать сигарету, долго, глубоко затягиваться, изящно изогнув запястье. Как будто между ним и сигаретой существует некая внутренняя связь. Подобным талантом обладают немногие. В его случае это единственный проявившийся талант.

— «„Дух Таба“, — читает он. — Нежные ломтики тонко нарезанной молодой баранины, приправленные кардамоном, в сливочной подливе, поджаренные на медленном огне. Вершина легендарного, состоящего из тридцати шести блюд церемониального празднества Вазванов. Потрясающий, неземной, невероятный…»

Невозмутимый, недосягаемый официант плавно скользит вокруг стола. Он не индус, скорее откуда-то из Средиземноморья.

— Закажете выпивку, джентльмены?

— Да, — отвечает Нодж. — Могу я заказать лечебный напиток из мраморной пшеницы, сверху украшенный нежным облаком пены, столь любимый германскими властителями?

Официант растерялся.

— Он имеет в виду светлое пиво, — объясняю я, извиняясь и не скрывая улыбки.

— А я начну с «Маргариты», — говорит Тони.

Никогда не думал, что в индийском заведении можно заказать «Маргариту». Официант, похоже, доволен. Еще бы: одни только напитки потянули на шесть фунтов.

Потом мы заказываем еду. Тони берет «Дух Таба», мы с Ноджем — «Тандури» из тихоокеанских креветок с салатом «Эскароль», я — потому что люблю зелень и креветки, Нодж — потому что, как всегда, худеет. Колин просит приготовить курицу по-мадрасски, хотя ее нет в меню, но он всегда заказывает это блюдо в индийских ресторанах, а свои привычки менять не любит. Колин хочет, чтобы все было как обычно. Официант, с видом человека, относящегося с пониманием и терпением к умственно отсталым, соглашается в виде исключения принять его заказ.

Мы располагаемся за столиком. Напряженка между ТБ и Ноджем спала, перейдя в латентную

фазу, когда жалобы и обиды накапливаются в базе данных, где аккуратно хранятся годами в ожидании подходящего случая. Когда-нибудь детонатор сработает. Ситуация не стабильна.

Колин и Нодж все еще скорбят о том, как плохо наши сыграли, а ТБ пристал ко мне с рассказом об открытии своего нового магазина, уже третьего. Я вежливо слушаю, при этом не переставая прокручивать в голове предстоящую речь.

У меня потрясающая новость. У меня ужасная новость. У меня новость, которая вас потрясет.

Тони чувствует, что мне неинтересно — а он этого не переносит — и отворачивается, чтобы сказать свое решающее слово по поводу нынешнего тренера «Рейнджерс». «КПР»[22] — единственная тема, по-прежнему нас объединяющая, по крайней мере, она вызывает живой интерес. Конечно, единственная не буквально. Просто я не уверен, что рассказы о наших сексуальных похождениях можно считать обсуждениями. Вероятно, можно. Как раз сейчас Тони начинает одну из своих загонных историй. Он утверждает, что способен загнать в постель любую женщину, и это действительно так. Я бывал соучастником

---

[22] Примечания: 22
«КПР» — «Куинз Парк Рейнджерс».

таких загонов.

Конец рассказа он почти выкрикивает.

— И вот мы подходим к спальне, дверь закрыта. Остаются четыре ступеньки. Я считаю. Раз, два, три. Рука уже тянется к ширинке. Все уже на мази. И вдруг она останавливается. Я ничего не могу понять. Какого черта? Она поворачивается ко мне. Тут я *вообще* растерялся. Зачем она это делает? Мы уже у цели. Осталось совсем немного. А она останавливается и поворачивается. *Какого черта!* А потом она смотрит прямо мне в глаза и спрашивает, слышите, она спрашивает, как меня зовут.

Колин и Нодж покатываются. У Тони сквозь загар пробивается румянец, улыбка обнажает его белоснежные зубы.

— Как меня, черт побери, зовут? Кошмар. Я судорожно пытаюсь вспомнить. Мне нельзя ошибиться. Ведь цель так близка. Я напрягаю мозги. А вспомнить не могу. Никак не могу. В следующий раз придется запоминать имя.

Я не прислушиваюсь к тому, что он говорит, только время от времени слышу взрывы хохота. Я уже захмелел от пива. Теперь хохот стих. Наступила одна из тех неловких пауз, которые следуют за окончанием рассказа. Тони больше других

не любит паузы, поэтому он достал из кармана колинской ветровки «Лоадед»[23] и начал его листать, задерживаясь на страницах с фотографиями обнаженных девиц.

Чтобы заполнить паузу, я спрашиваю Колина:

— Как твоя мама, Колин?

Его мать болеет вот уже тридцать пять лет. Я задаю этот вопрос из вежливости, хотя правильнее, наверное, было бы спросить: «Не умерла ли она еще?»

Колин морщится.

— Вообще-то, ничего хорошего. На этот раз дела действительно плохи. Нам прислали отчет из больницы. Я очень расстроился. Хотелось…

Тони, не слышавший нашего разговора, вдруг издает вопль и начинает размахивать журналом.

— Потрясающе! «Ее ядерные кнопки и как ими управлять». Это надо прочитать.

Он тихонько хихикает, и маленькие пузырьки бурлят у него в горле. Колин подавлен, даже слегка раздражен, но молчит. Тони обращается ко мне, а я не реагирую на его речь, потому что вижу, как искренне расстроен Колин и как он хо-

---

[23] Примечания: 23

«Лоадед» (Loaded) — британский мужской журнал.

чет закончить начатый разговор. Но остановить Тони невозможно. В любом случае серьезной атмосферы уже не вернуть. Тони взял инициативу в свои руки.

Тони любит трепаться о сексе не меньше, чем Колин — о футболе. Он строит из себя женоненавистника. Кого он только из себя не строит. Мне кажется, все мы разыгрываем какие-то роли и, увлекшись, уже не замечаем, что играем роль. Странная мысль. Притворяться и не замечать, что притворяешься. Хотя какая, в сущности, разница?

Значит, Тони и секс. Любимая тема. Но о чем-то надо говорить. Когда-то такой разговор был спонтанным, интересным, живым, наполненным остротами и шутками, радостным, просто оттого, что мы вместе. Он был хорошей джазовой импровизацией. Теперь же мы его вяло поддерживаем, не более.

Колин и Нодж свою беседу закончили. Нодж разглядывает через плечо Тони фотографию в журнале: крупный план женского лица, очевидно, изображающего оргазм. Приоткрытый рот, зажмуренные глаза, вытянутая шея.

Приносят еду, она занимает небольшое пространство в центре огромных белых фарфоровых

тарелок. То, что нам подали, не похоже на обычную желто-коричневую кашицу, выглядит изысканно и вполне съедобно. Все меняется, даже индийские рестораны. Мы вооружаемся приборами и начинаем есть, не забывая о еще предстоящих блюдах. Колин негромко произносит:

— Такой странный вкус…

Тони поднимает взгляд от журнала и преспокойно перебивает Колина. Обращаясь ко всем, он спрашивает:

— Сколько раз, максимально, вам удавалось довести женщину до оргазма за одну ночь?

С усмешкой он откидывается на спинку стула и следит за нашей реакцией. Я вижу, как сидящий справа от меня Колин краснеет и опускает глаза на свой стакан с пивом. Он всегда заказывает «Хольстен-Пилс». Я как-то подсунул ему «Кроненбург», «Фостерс» и «Старопрамен», не называя сортов. Разницы он не почувствовал. Так что дело не во вкусовых отличиях. Просто, как я уже говорил, Колин не любит ничего менять.

Нодж кашляет, он не находит это забавным. Ему вопрос кажется проявлением неуважения — не к нему, а к женщинам. Нодж строит из себя феминиста, так же, как Тони, — женоненавистни-

ка. Думаю, им просто важно быть в контрах друг с другом. Только Колин остается самим собой, неудачником и пессимистом.

Наверное, Нодж — единственный таксист в Лондоне, читающий «Нью Стэйтсмен». Представляю, как его рассуждения о сексизме, расизме и долгах «третьего мира» обескураживают клиентов.

Сигарета уютно располагается в складках его рта.

— Это что, соревнование?

Нодж вынимает окурок изо рта и начинает тушить. Он придавливает его так, как будто вместо пепельницы перед ним голова Кевина Галлена.

Потом принимается за свои креветки. Их черед настал после того, как он поглотил почти половину колинской курицы, оттяпал приличный кусок «Духа Таба», съел три лепешки и пригоршню риса, который мы заказывали на четверых. Я тихонько напеваю футбольную песенку.

— Кто сожрал все пироги? Кто сожрал все пироги? Ты, жирдяй, ты, жирдяй, ты сожрал все пироги.

В ответ на вопрос Ноджа Тони лишь пожимает плечами, обтянутыми сшитым на заказ из дорогого темно-синего сукна пиджаком на четырех

пуговицах.

Тони пытается изобразить невинность, получается не очень убедительно. Единственное, что ему не удается убедительно изобразить — это невинность. В его лице всегда присутствует плотоядность.

— Нет, мне просто интересно.

Нодж по-прежнему относится к этой затее с подозрением. Он всегда ко всему относится с подозрением, а Тони всегда всех подначивает. Он щурится, защищая глаза от дыма, который все еще клубится над его намокшим, но так и не затухшим окурком. Кожа у него загорелая, шея похожа на пожарный шланг на фоне серой рубашки, которую пора бы на тряпки порвать.

Тони и Нодж никогда не ладили друг с другом. Но, хотя я не в восторге от поставленного вопроса, мне нравится, как Тони забрасывает свои удочки. Именно это делает его забавным. А что бы от него осталось, если бы он перестал быть забавным?

Я уже придумываю, что наврать в ответ, когда вдруг Колин начинает говорить своим тихим, неуверенным голосом:

— Это за одну ночь или за один раз?

У Колина, как и у Ноджа, шея тоже красная, только не от загара. От смущения. Его кокетли-

вая осведомленность необыкновенно мила. Я не уверен, что Колин вообще кого-либо довел до оргазма, не считая, конечно, его самого, в чем, подозреваю, он поднаторел. Едва подняв свой взгляд на Тони, он снова опускает глаза на стакан с «Хольстен-Пилс». Уже шестой за вечер, поэтому он вдруг так расхрабрился.

Очень громкая музыка. Причем это не индийская пташка, щебечущая под переливы двух ситар, а что-то очень тяжелое и мрачное; наверное, первый альбом «Портишед». Подозванный официант подходить не торопится.

— Можно сделать музыку потише?

Он пожимает плечами. Чуть погодя уровень громкости уменьшается приблизительно на одну десятую деления. Ближе к ночи, когда официантам станет совсем скучно и они начнут предвкушать момент расставания с назойливыми посетителями, громкость вернется на прежний уровень.

Конечно, Нодж прав. Это самое настоящее *соревнование.* У нас почти все превращается в соревнование. Колин всегда остается позади, причем очень уверенно. В этом он чемпион. Этого у него не отнять. Отчасти поэтому мы и держим его рядом.

Но слово «соревнование» мы стараемся не использовать. Таковы правила. У нас много правил. Мне было бы трудно все их сформулировать. Прежде всего потому, что их существование не признается. Все это как бы Игра. Одна из игр, вливающаяся в реку большой Игры.

Я, может, много себе позволяю, рассуждая так и приходя к таким выводам. Я всегда был склонен к абстракциям. У меня ведь есть диплом, и вообще. Все это обеспечивает мне особое положение. Конечно же, в разумных пределах.

— За один раз, — отвечает Тони.

Я тут же встреваю, поскольку это интересовало меня с того самого момента, как Колин задал свой вопрос:

— А что считать одним разом?

Тони растерялся. Я настаиваю. Мне важно разобраться. Раз уж речь идет о соревновании, я хочу выяснить правила игры.

— А как насчет множественных оргазмов? Они считаются за один? Или за сколько?

Тони кивает, признавая, что проблема существует. Нодж продолжает делать вид, что ему все это противно, но дает понять, что *умозрительно* эта проблема ему интересна.

— За раз будем считать период от начала эрек-

ции до ее спада, — говорит Тони с уверенностью в голосе, но выражение лица все равно выдает его сомнение. Он допивает «Маргариту» и заказывает еще одну.

Я оборачиваюсь. Это не дело. Я стучу пальцем по столу, как нетерпеливый учитель.

— Нет, *так* не пойдет. Ты спросил: «Сколько раз, максимально, вам удавалось довести женщину до оргазма за одну ночь»? Вероятно, это мой индивидуальный опыт, но добиться оргазма можно не *только* членом. Это можно сделать языком, ртом, пальцем. Кроме того, существуют специальные приспособления. Вибраторы всякие и прочее. Поэтому, есть у тебя эрекция или нет, не так важно.

Тони чувствует, что потерпел поражение.

— Надо считать — за ночь. По-другому не получится, — говорит Нодж с видом судьи, которому важно, чтобы справедливость была соблюдена.

Ему идет это выражение лица: серьезное, уставшее, эдакий щекастый ослик Иа. Сигарету он выкурил, теперь кусает кончики своих пальцев. От ногтей практически ничего не осталось, и поэтому Нодж приступил к поеданию собственной плоти. Следующую сигарету он закурит через три минуты. Окурок от предыдущей еще дымится

в пепельнице рядом со мной, придавая моим тихоокеанским креветкам вкус обслюнявленной спички.

Колин кивает в знак согласия. Но он точно так же выражал свое согласие перед этим мне, а до того — Тони.

С Тони что-то случилось. Он по-прежнему сохранил вид человека, беспристрастно проводящего опрос, по крайней мере, в данный момент. Нодж заинтересовался уже всерьез. Он обхватил рукой свою голову, еще более красную, чем шея, и почти безволосую, если не считать бритый венчик по бокам. Да еще одинокий островок на макушке, некогда обозначавший авангардный отряд его шевелюры, а сейчас представляющий собой всего лишь несколько сантиметров коротких завитков. И тут Тони громко заявляет.

— А что, если это происходило днем? Что, если это случилось до наступления ночи?

В ожидании второй «Маргариты» Тони, не спрашивая, берет стакан с пивом Колина. Часть пены, не попав ему в рот, приземляется на лацкане пиджака.

— Ё-моё!

Женщина в черном костюме, сидящая в одиночестве за соседним столиком (ее спутник,

очевидно, вышел в туалет), холодно смотрит на него. Он улыбается в ответ своей убийственной белозубой улыбкой, сияющей на загорелом лице. Само великолепие, очарование, обаяние. Женщина так себе, он на таких внимания не обращает, но она польщена, улыбается в ответ, от удовольствия у нее проступает румянец. Что-что, а это он умеет.

Он отворачивается от нее с видом человека, только что выполнившего неприятную, но необходимую работу, и начинает оттирать пятно салфеткой, отчего оно становится больше в три раза. Я размышляю, потирая небольшое родимое пятно на лбу, а потом говорю:

— Придумал!

Все смотрят на меня, как будто речь идет о чем-то важном.

— За один раз надо считать время с того момента, как ты снял одежду, до того, как снова оделся.

Колин тянет руку. Шутка, конечно, но в его исполнении этот жест более чем уместен. Тони кивает ему, как бы разрешая сказать.

— Сексом можно заниматься и в одежде.

Тони машет рукой, отметая нелепое замечание.

— Фрэнки дал идеальное определение. По край-

ней мере, лучшее из того, что я сегодня слышал. Как часто ты занимаешься сексом в одежде? Иногда. Очень редко. Фрэнки предложил удобную формулировку. Придется пойти на компромисс. С того момента, как ты снял одежду, до того, как снова оделся. Хорошо. Множественные оргазмы считаются за один.

— Нет. Так не пойдет.

Это уже Нодж.

— Как можно множественный оргазм считать за один? Это же… как называется, когда что-то само себе противоречит? Фрэнки, ты у нас образованный.

Звучит это как *«Ты заслужил аплодисменты, Фрэнки»*.

— Подскажи.

— Тавтология, — говорю я, не обижаясь. Я привык.

— Тавтология. Мне так нравится, как ты все эти умности произносишь, Фрэнсис.

— Спасибо.

Ничтожество, недоучка. Нодж продолжает:

— Множественный оргазм любого происхождения надо считать за два. Я знаю, что это сложный вопрос, но, мне кажется, женщины не всегда сами осознают, сколько у них было оргазмов.

Тони озадачен.

— Разве?

Нодж теперь в самом центре обсуждения. Он закурил еще одну сигарету. Официант убирает тарелки, делая вид, что не слушает, о чем мы говорим.

— Понимаешь, они могут испытывать один или несколько одновременно. Но сколько точно, не знают. Они же не скажут — у меня в этот раз было восемь оргазмов сразу, они скажут — у меня был множественный оргазм. Как тут сосчитаешь?

Я чешу затылок. Нодж посасывает диетическую колу, заказанную после пива, а затем доедает остатки «Пешвари-наан», заливая все вокруг жиром. И вдруг тон его голоса меняется. Он поворачивается к Тони и говорит равнодушно и с пренебрежением:

— Все это глупости. Зачем все это? Проверка того, насколько ты хорош как мужик?

Тони начинает раздражаться.

— Мы просто беседуем. Это *ничего* не значит, понятно?

Тони поворачивается ко мне. Нодж глубоко вздыхает, но с места не двигается.

— Хотя может, ты и прав, Нодж, — говорит Тони, давая понять, что хочет расставить все точки

над «i». — Да. Может, ты и прав. Точно определить трудно. Множественные надо считать за два. Это будет справедливо, как ты думаешь, Фрэнки?

— Думаю, разумно. Как если бы один клиторальный, другой вагинальный.

— А ты, Колин, что скажешь?

Колин, как всегда, молча улыбается, подчиняясь большинству.

— Нодж?

Нодж делает глубокий вдох:

— По-моему, глупо. Как вы проверите, что женщина не соврала?

— Это всегда можно понять, — говорит Тони, нервно листая меню.

Здесь неплохой выбор десертов, что, впрочем, не означает их съедобности. Самым привлекательным мне кажется пирог из сухой моркови. Есть еще «Барфи»[24], который на поверку оказывается просто разноцветным чудом химической промышленности, в изобилии предлагаемым на Саусхольском рынке, и еще нечто под названием «Рас Малай»[25] — пирожки со сгущенкой в сме-

---

[24] Примечания: 24

«Барфи» — сливочно-ореховый десерт.

[25] Примечания: 25

«Рас Малай» — шарики из индийской муки, приготовленные в кипящем молоке.

тане. Тони заказывает «Кулфи»[26], а Нодж — «Рас Малай». Мы с Колином от десерта отказываемся.

— Как?

— Когда они кончают по-настоящему, у них влагалище как будто сжимается. Это можно почувствовать. И кровь приливает.

— Не *всегда!*

Тони вздыхает и закатывает глаза.

— Ты просто не хочешь в этом участвовать, потому что тебе это кажется… непристойным. Как будто ты можешь предложить более интересную тему. И кстати, *кого* ты возил в такси на этой неделе?

Нодж краснеет. Как я уже говорил, он никогда не выходит из себя, потому что это значило бы потерять контроль, но временами чувствуешь, как внутри у него бурлит вулкан ярости, выходящий на поверхность в виде пренебрежения или высокомерной отстраненности.

— Дело не в этом. Я лишь хочу сказать, что не всегда можно определить, правду ли говорит женщина, — невозмутимо парировал он.

Наступает долгая пауза. Вечер испорчен. Так нередко бывает: то, что начинается как невинная

---

[26] Примечания: 26
«Кулфи» — индийское мороженое.

шутка, заканчивается настоящей схваткой. Как будто мы все стали настолько уязвимы, что можем причинить боль, задев кончиком мизинца. Нам надо быть очень осторожными в обращении друг с другом, учитывать, что защитные механизмы не срабатывают. Но все равно нам хорошо вместе. И дело не только в привычке. Я думаю, в глубине души мы *действительно* любим друг друга. Но какой от этого прок, если только в глубине?

Нельзя позволить паузе затянуться, а то станет холодно, как на Северном полюсе, поэтому я затеваю разговор. Навожу мосты, невзирая ни на что. То же самое пытается сделать Колин, но он не обладает необходимыми навыками. Способов существует масса. Я смотрю на спорщиков с мольбой.

— Мальчики, мальчики. Давайте жить дружно.

И тут же понимаю, что попытка не удалась, это был неверный ход. Теперь они направили свой гнев на меня.

— Не надо говорить со мной как с младенцем, — обиженно заявляет Нодж, прикуривая сигарету.

Тони просто морщится и кивает, соглашаясь. Несмотря ни на что, я продолжаю расчищать

заносы.

— Хорошо. Итак, вопрос: сколько, максимально, оргазмов вам удавалось вызвать у женщины за один раз, при условии, что разом считается время с момента, когда ты снял одежду, до момента, когда ты снова ее надел. Множественный оргазм считаем за два, полагаясь на слова женщины. Так же, как и в случае с единичными оргазмами.

— Другими словами, сколько, максимально, раз женщина тебе *сказала,* что ты довел ее до оргазма? — уточняет Нодж, затягиваясь так сильно, что табак прямо на глазах превращается в пепел. У меня в голове вдруг возникает слово «трансформация». Дерево вырастает, превращается в огонь, потом в дым… Я запутываюсь, тушу непрошеную мысль как окурок и возвращаюсь к разговору.

— Но лучше мы ничего не придумаем.

— Ладно.

Теперь Тони, похоже, доволен.

— Кто начнет?

— Ты все это затеял, вот сам и начинай, — логично замечает Нодж.

— К тому же тебе, похоже, не терпится поделиться с нами, — добавляю я.

— Да, — говорит Колин.

Или, по крайней мере, артикулирует это. Музы-

ка орет очень громко, а Колин говорит тихо.

Тони сжимает губы, как будто ответ его не заготовлен заранее. Глаза устремляются в потолок.

— У меня один раз была чертова дюжина. Без множественных.

Нодж смеется. Потом показывает куда-то вверх, за окно, и восклицает:

— Ну надо же! Такое не каждый день увидишь. Целое стадо. И выстроены в ряд.

— Что? — спрашивает Тони.

— Там, наверху.

Я тоже пытаюсь разглядеть.

— Что? Где?

— Поросята, — отвечает Нодж.

Я смеюсь, поворачиваюсь к Тони, элегантным движением головы откидывающему челку, которая вечно падает ему на глаза. Он убежден, что женщин возбуждает этот жест.

— Тринадцать одинарных за один раз невозможно физиологически, — тоном ученого мужа заявляю я.

Тони пожимает плечами, мол, мне неважно, верите вы или нет.

— Это она была такая заводная. Я же не говорю, что я…

— Что? Жеребец? Мужик с *каменным* членом?

Конечно, *нет*, — фыркает Нодж.

— Все, что от меня требовалось, — это дотронуться до нее в определенном месте и… фьюить.

— Фьюить?

— Нет, не фьюить. Скорее…

Тони начинает кряхтеть, как будто пытается взять неподъемный вес.

Нодж по-прежнему пытается устраниться от неприличных подробностей. Он хочет выглядеть беспристрастным аналитиком.

— И сколько времени это заняло?

— Одну ночь. Мы не спали всю ночь. Я принял экстази.

— Подожди, — снова встреваю я. — Тогда это не считается.

Нодж кивает с видом строгого судьи.

— Не считается.

Колин тоже кивает, но молча.

— Это все равно, что употреблять стероиды в бодибилдинге, — говорю я.

Тони делает вид, что страшно возмущен. Разводит руками. Изображает оскорбленную невинность.

— Да. Ты должен быть чистым, — поддерживает меня Нодж.

— Это же глупо, — не соглашается Тони. — По-

сле пары бокалов вина тоже не считается?

Мы растерялись.

— Справедливое замечание, — говорит Колин. — Вино тоже влияет на количество организмов.

На сей раз Колина слышно хорошо, и мы дружно начинаем смеяться.

— Я имел в виду — оргазмов.

Он смутился. На нем футболка с надписью «Силвер-Велли Силикон». Это компания, на которую он работает.

— Все так, Кол. Но только алкоголь влияет отрицательно. Он может уменьшить количество оргазмов. А экстази — *увеличить*, — со знанием дела объясняет Нодж.

Он доволен собой, выражение довольства без труда читается на его пухлом лице.

Но Тони сдаваться не собирается.

— Откуда вы знаете? Вы никогда не пробовали экстази. А кроме того, она экстази не принимала. Так что ее оргазмы были чистыми.

Он поворачивается к Колину, который минуту назад был на его стороне.

— Колин, как ты думаешь? Ты человек беспристрастный.

Колину неловко. Он ненавидит, когда его за-

ставляют принимать решение. Я смотрю на его лицо. Оно несимметричное. Одна ноздря раздута. Справа на макушке завиток. Верхняя губа тонкая, нижняя — толстая. Правый глаз уже левого. Может быть, поэтому он находится в вечном поиске внешнего баланса. Хотя, скорее всего, просто от отсутствия силы.

— Мне кажется, я понимаю, что вы все хотите сказать. Но…

— Знаете, что… — Я не жду, пока Колин договорит, это не считается у нас грубостью, так повелось. — Давайте выделим две категории. Первая категория: секс с использованием наркотиков класса А. Будем считать, что Тони победил…

— Учитывая, что о соревновании речи не идет, — встревает Нодж с легким, ненавязчивым сарказмом.

— Конечно, речь идет не о соревновании, а об изучении природы человеческой сексуальности. Что касается второй категории… Пусть это будет секс с использованием легких наркотиков — алкоголя и сигарет — или вовсе без них. Количество за один раз. Как тебе такой вариант, Тони?

Тони в принципе согласен. Все равно никто не поверил в его историю с чертовой дюжиной. Вряд ли ему зачтут ее.

— В таком варианте мне нужно немного подумать. Но твою классификацию я принимаю. А что у тебя, Нодж? Какой у тебя был рекорд во второй категории?

— Избавьте меня от этого. — Он поднимает руки, как будто пытается остановить грузовик.

— Узнаю Ноджа. Ноджер Кромвель, упырь из Шепердс-Буш, — говорю я.

— А кто такой упырь? — спрашивает Колин.

По лицу видно, как он напрягся. У него часто такое лицо. По крайней мере, у него хватает честности не скрывать этого. Или честность сильнее, чем он. Возможно, честность — тоже упырь своего рода.

— Упырь? Это что-то типа… вампира. Питается твоей энергией. А взамен ничего не дает, — объясняю я.

Поняв, что звучит это достаточно обидно, я пытаюсь обратить все в шутку. Не хочу снова накалять обстановку. Хочу, чтобы между нами был мир, особенно сегодня вечером.

Тони смеется.

— Здорово. Упырь — в штанах штырь. Фрэнки, где ты откопал такое словечко? Это будет слово недели!

Он доедает пудинг и подзывает официанта,

чтобы заказать спиртное. Выбирает двенадцатилетнее виски.

Ноджу не смешно. Он не любит, когда я употребляю малоизвестные слова. Он грызет кончик своего мизинца на левой руке, потом произносит:

— Вообще-то, упырь — не вампир. Упырь — это что-то вроде злого духа, витающего над спящим. А вампир высасывает кровь. По-моему, упырями могут быть только женщины.

Нодж относится к числу так называемых самоучек. Он читает книжки, потому что хочет казаться умнее, читает все подряд, даже если книжки эти — полное барахло. Они у него все собраны на полках — нечитабельная Литература с большой буквы: Томас Пинчен, Джеймс Джойс, Джанет Винтерсон, Анджела Картер, Салман Рушди, Анкл Том Кобли и другие. Он смотрит старые французские фильмы и вообще обожает кинематограф. А еще ходит на концерты современного танца — самый отвратительный вид современного искусства, недалеко ушедший от оперы, поклонником которой он тоже себя считает.

Я уже отмечал, что он не обычный таксист. Хотя, кто же еще? Парня можно вытащить из Шепердс-Буш, но Шепердс-Буш вытащить из парня

невозможно, как говаривал мой отец. Вот Нодж и лезет из кожи вон, пытаясь доказать, что он не просто таксист, что он из другого теста. По сути, мы все пытаемся это доказать, так или иначе.

Тони пожимает плечами, на него замечание Ноджа не произвело должного впечатления.

— Какая разница. Тогда ты вампир. Ладно, лучше скажи, Колин, сколько раз тебе удалось довести женщину до оргазма?

— Не помню, — несколько поспешно отвечает Колин.

Жестоко было задавать Колину этот вопрос, потому что к тридцати годам у него было всего три или четыре женщины и с последней из них он расстался довольно давно. Возможно, и вправду *не помнит.* А отвечает, просто чтобы покончить с этим.

— Три раза.

Мы свистим и улюлюкаем.

— *Неплохо…* И кто она?

Левая нога Тони нервно дергается под столом с правильными интервалами, как планета, вращающаяся на своей орбите.

Колину вопрос не нравится. Отчасти потому, что он застенчив, отчасти потому, что ему это кажется предательством по отношению к жен-

щине, с которой он был. Он как будто усыхает на глазах. Я помню эту способность Колина еще по школе, когда учитель вызывал его к доске. Для него естественным является существование в замкнутом пространстве, но он понимает, что иногда надо выбираться из скорлупы. Этого требует и извечное стремление казаться интересным, получить признание. Он не обладает, как Нодж, уверенностью в себе, которая позволяет жить спокойно и не дергаться.

— Трития.

Нога Тони дергается с нарастающей скоростью.

— Не ври.

Трития была подружкой Колина, кажется, в 1988–1989. Она работала в библиотеке. Маленькая, неприметная. У нее было прозвище Треска Бесцветная. Бледная, заморенная, бескровная. Колин улыбается и теребит солонку. Опрокидывает ее, образуя маленькую белую горку на пустом столе.

— Да, именно Треска. Она тогда завелась как сумасшедшая. Как с цепи сорвалась.

Тони отворачивается, потому что не может скрыть улыбку. Я изо всех сил стараюсь не последовать его примеру.

— Три раза. Совсем неплохо.

И я похлопываю Колина по спине во внезапном приливе искренней симпатии. Мне *нравится* Колин. Мне нравится его уязвимость. Возможно, он иногда жалок. Но эту уязвимость легче любить, чем ту броню, которой так упорно окружают себя Тони и Нодж. Если они чувствуют, что их слабость заметна, они замыкаются или нападают, Колин же просто грустит. А ведь грусть — более искреннее чувство, правда?

— Так. Я вспомнил.

Тони поворачивается к столу, предпринимая неимоверные усилия снова не рассмеяться.

— Это было с Джеральдиной Паскоу, в девяносто первом году. Ее еще называли Пыхтелка Паскоу. Я был трезв как стекло, она выпила полбутылки «Пиата Д'ор». Наркотик класса Б. Это продолжалось с четверти двенадцатого до трех утра. Не оральный, традиционный секс, без каких-либо приспособлений. Один множественный, который засчитывается за два. Всего семь. Нет-нет, постойте. Восемь. Восемь оргазмов. Шесть из них в первые два часа. И все единичные. Множественный был последним. После того, как мы немного поспали. Было приблизительно без пяти три ночи. Мы разбудили полподъезда. Она громко кричала. Высший класс! Возможно, она

была профессионалка.

— Какая профессионалка?

Нодж пытается найти признаки нарушения политкорректности. Это звучит так: «Ты подозреваешь, что она проститутка, только потому, что она не скрывала своей сексуальности?»

— Профессиональная крикунья. Такие есть. Они, например, кричат в фильмах ужасов, — говорит Тони.

Колин оживает. Он обожает кино, особенно фильмы ужасов. Грег Лэттер, Вэс Крэйвен, Джон Карпентер. Но лидерами остаются: 1) «Охотники за телами» (Уолтер Вагнер, 1955); 2) «Ночной мертвец» (несколько режиссеров, 1945); 3) «Изгоняющий дьявола», или, иначе, «Экзорцист» (Уильям Фридкин, 1973).

После пятнадцати лет знакомства о своих друзьях знаешь почти все. Я знаю десять — может, двадцать — любимых исполнителей Ноджа, хоть и не представляю, кому внутри списка он отдает особое предпочтение. Я знаю пять любимых секс-символов Тони (Бардо, Монро, Мадонна, Херцигова, Ульрика). Знаю десять любимых комедий Колина, три его любимых фантастических фильма, пять любимых вестернов. А они знают все мои любимые мультфильмы («Дакмен», «Доктор

Катц», «Современная жизнь Роко»). Мультфильмы я предпочитаю реальной жизни.

— Точно, — соглашается с Тони Колин. — Например, у них играет хорошая актриса, но кричать она не умеет. Это же целое искусство. И крик они записывают потом. Они приглашают профессиональную крикунью. Ведь есть модели, у которых снимают только руки. И есть актрисы, которые только кричат.

— Правильно. Помните певицу, как ее зовут? Она записывала свои крики для кино.

— Какая?

Нодж специалист в поп-музыке или был таковым, пока не начал слушать «Радио-3» *(не* «Классик ФМ», как он всегда уточняет). Но дом у него до сих пор завален дисками.

— Не помню. У нее еще косичка была, и, когда она пела, казалось, что ей по голове молотком дубасят.

Нодж считывает данные с микрочипа в голове, на котором записаны сведения, касающиеся поп-музыки. Через несколько секунд ответ готов.

— Лин Лович. Была в хит-параде с песней «Счастливый номер» в семьдесят восьмом или семьдесят девятом. Ранние записи Стиффа.

— Да, — говорит Колин. — Она была ненор-

мальная.

На Тони это не производит впечатления. Он поворачивается ко мне и подмигивает:

— Ну, Фрэнки. Тебе есть чем с нами поделиться?

Тони снова скучно. Не скрывая этого, он смотрит на часы. Сердце у меня опускается. Неужели он знает про нас с Вероникой? Нет, это невозможно.

Я откусываю свою шоколадку «Нестле». Конечно, это не «Нестле», а какой-то дорогой вариант типа хрустящего шоколада с мятной начинкой от Элизабет Шо, например.

— Не хотите? Вполне съедобно.

Но Тони не отстает.

— Нет, спасибо. Так сколько, Фрэнки? И на этот раз, чур, без твоих обычных выдумок.

Да, они зовут меня Фрэнки-Выдумщик. И я этого не стыжусь. В конце концов, ложь и выдумка — разные вещи.

Тони смотрит на меня в ожидании, с одной из своих очаровательных улыбок. Мужчин он тоже умеет обольщать. Вам льстит — хоть вы в этом никогда не признаетесь — что вы удостоены его общества, ведь на него такой большой спрос. С другой стороны, вас раздражает, что он как будто

все время куда-то торопится. Его мобильный (Эриксон GH688) за время нашей встречи звонил, по крайней мере, четыре раза. Он постоянно кому-то *нужен.*

Я доедаю шоколадку.

— Нодж в этом не участвовал. Не понимаю, почему я должен.

Неожиданно решившись на такой ответ, я уже не вижу смысла участвовать в игре.

— Да ладно. Не будь упырем в штанах штырем.

Я зеваю, показываю, что мне скучно и неохота.

И говорю равнодушно, не хвастаясь:

— За один раз я однажды довел женщину до десяти оргазмов. Пять множественных, ни одного единичного.

И это правда. Как все лгуны, я вру только при крайней необходимости.

Тони смеется неестественно громко. Колин вторит ему.

— Спасибо всем за приятный вечер. Как всегда победил чертов Фрэнки-Выдумщик, — говорит Нодж, он по-прежнему мрачен, но из беседы выпадать не хочет.

— Смотрите, опять поросята, — Тони нарочито разворачивается к окну.

Я пожимаю плечами.

— Так она мне сказала. Зачем ей было врать?

— Фрэнки, мы не в *ее* правдивости сомневаемся, — снова вступает Нодж.

Мне это надоело. Возвращаюсь мыслями к Вероникe. Я долго откладывал. И сейчас готов все выложить. Но все-таки в голове мелькнуло: «Я победил…»

Однако я считаю себя взрослым человеком, и поэтому немедленно хороню мысль о своей победе. Потом вспоминаю, что решил не лгать самому себе, и уже осознанно повторяю: «Я победил, я победил».

И в этот момент мне задают убийственный вопрос, из-за которого я и не хотел участвовать в игре. Хуже всего то, что задает его Нодж.

— И кто же была эта счастливица?

Без всякой иронии. Вполне дружелюбно. В отличие от меня, он снова полноценный участник разговора.

Я чуть не проговариваюсь. Если бы не мои профессиональные навыки — правда ведь бывает очень соблазнительной, — я мог бы им все сказать. Если бы я был на месте Ноджа, а он — на моем, правда выскочила бы, как пробка из бутылки, потому что Нодж, как я уже упоминал, гордится тем, что всегда говорит правду, неза-

висимо от того, какие последствия это может за собой повлечь. Сокрытие правды он считает трусостью. Я же придерживаюсь здравого смысла.

По-моему, это верная позиция, особенно в данных обстоятельствах.

Стараясь не отводить глаза в сторону — типичная ошибка начинающих врунов, я спокойно объясняю:

— *Вы* ее не знаете. Я с ней познакомился в отпуске. Она американка. С обалденными зубами.

Я уверен, что детали делают рассказ более правдоподобным. См. оглавление (ненаписанного) «Справочника для лгунов» Фрэнки-Выдумщика, раздел «Детали и их использование в создании правдоподобной лжи».

— Ну, тогда она точно тебе наврала. Американки читают книжки типа «Как разогреть мужчину в постели». И там написано: притворяться. Вот все американки и притворяются, — беззаботно говорит Тони, поигрывая мобильником, а потом просит официанта принести счет.

— И когда это было? — спрашивает Нодж с невинным видом.

Я думаю, он *действительно* задает невинный вопрос, а не пытается меня подловить. В глубине души он мне верит. Как ни странно, у него есть

на это основания. И все же…

— Мы с ней встречались? — не унимается Нодж.

Теперь у меня закрадываются сомнения. Может, его вопросы совсем не так невинны? Нельзя терять бдительности ни на минуту. Кругом враги.

«Не надо на меня давить», — мысленно взываю я к нему.

Не надо давить, а то может выясниться, что женщиной, которую я довел до оргазма столько раз, сколько вам и не снилось, окажется Рут. Да-да, ты не ослышался, Рут, твоя *бывшая.* Твоя единственная большая любовь, твоя точка опоры в изменчивом мире. Верная Рут. Верная — подходящее слово. Пять раз: хоп ля-ля, хоп ля-ля, хоп, хоп, хоп. Так что ты лучше докуривай тихонечко и не лезь.

Нодж открывает рот, чтобы что-то сказать. Я готов нанести ответный удар, я уже поддался соблазну бросить ему в лицо неприкрытую правду. И тут, как раз вовремя, подходит официант со счетом.

Тони берет счет. То, что будет происходить дальше, я знаю наизусть. Колин сжимается, Нодж каменеет. На некоторое время я под вполне бла-

говидным предлогом отодвигаю Веронику на задний план своего сознания.

— Сотня на четверых. По двадцать пять с каждого. Нет. С меня больше. Я заплачу чаевые. Так что с меня тридцатка. Идет? — И Тони бросает на стол три десятифунтовые купюры, потом берет мобильный и начинает звонить.

Мы с Ноджем обмениваемся взглядами. Я беру счет. Тони, заказавший самое дорогое блюдо в меню, десерт и несколько коктейлей, поужинал фунтов на сорок. Колин, денег у которого почти нет, выпил бутылку пива, а из еды взял только цыпленка — не больше, чем на десять фунтов. Мы с Ноджем, это истинная правда, наели фунтов по двадцать пять каждый. Колин ерзает на стуле, ему неприятно, но он все равно лезет за кошельком. Я уверен, что он промолчит из боязни прослыть жмотом.

— Мне нужно в сортир.

Нодж направляется в туалет. Тони продолжает разговаривать по телефону. Официант подходит, чтобы забрать деньги. Ресторан уже закрывается. Не прекращая разговора. Тони поднимается. Я тяжело и беззвучно вздыхаю. *Все то же самое, все то же самое.* Опять Тони проехался за чужой счет. Колин сидит, опустив голову. Нодж ушел

в туалет. Я хочу заступиться за Колина. Хотя бы раз…

Конечно, обычаи надо уважать. Я окликаю Тони, который уже направился к двери.

— Тони, неправильно как-то получается.

Не сомневаюсь, что он слышал, но делает вид, будто это его не касается, и продолжает трепаться по телефону. Я оглядываюсь на Колина. Он по-прежнему сидит понурившись. Снова подошел официант.

— Вы не могли бы подождать еще немного?

— Ресторан закрывается, сэр.

Я, наконец, перехватываю взгляд Тони и начинаю жестикулировать.

— Не сходится, Тони. Я про счет. Колин взял только…

Тони закатывает глаза, как будто речь идет о сущем пустяке. Он достает кошелек, вытаскивает пятифунтовую банкноту и бросает ее на стол, всем своим видом показывая, что дело не стоит выеденного яйца. В результате получается, что он повел себя достойно, я мелочусь, а Колин — жалкий тип. А ведь он так и не покрыл свою часть счета. С той же невозмутимостью он возвращается к прерванному телефонному разговору. Подоспевший из туалета Нодж видел, как Тони

бросил пятерку на стол. Он смотрит на меня.

— Да, ладно, Фрэнки. Мы разделим разницу между собой.

Я киваю. В конце концов, Нодж, несмотря ни на что, способен рассуждать здраво.

Колин приготовился положить свои двадцать пять фунтов, но я отсчитываю от них десять, а остальное отдаю ему обратно.

— Это слишком много, Кол.

— Послушай, я согласен разделить счет поровну. Правда.

Но я знаю, что в душе он против. Он много тратит на лечение матери, зарплата у него меньше, чем у Ноджа, другими словами, он нищ как церковная мышь. Нодж дает тридцать, я тоже, и Колин неохотно забирает пятнадцать фунтов назад, но я не сомневаюсь, что на самом деле он испытывает благодарность. И все-таки в этот момент я не знаю, на кого злюсь больше: на него или на Тони. Какая-то часть меня устала от вечной необходимости оберегать Колина. Ведь я делаю это уже в течение двадцати лет, прости, Господи.

— Смотрите!

Нодж держит в руках двадцатифунтовую купюру и улыбается.

— Что?

— Только что нашел, приклеилась к подошве вместе со жвачкой.

Почему ко мне ничего не приклеивается? Потому что я не такой счастливчик, как некоторые, не будем называть имен.

Мы выходим из ресторана, Тони по-прежнему орет в свой телефон, Нодж тщательно отскребает остатки жвачки от двадцатифунтовки. Я чувствую наступление момента истины, он охватывает меня, как поток воздуха от проходящего поезда метро. Ситуация нелепая. Мне нужно сказать им то, что я собирался сказать, а все уже расходятся. Это на меня похоже. Откладываю принятие решения до последнего и загоняю себя в угол. Тони наконец заканчивает разговор. Мы все ждем снаружи, чтобы попрощаться. И неожиданно меня прорывает — слова слетают с губ незаметно, как будто против моей воли.

— Я женюсь.

Все, кроме меня, смеются, потом и я присоединяюсь к всеобщему веселью — просто потому, что оно заразительно. И, как гром среди ясного неба, в голове у меня высвечивается мысль: *«Я люблю своих друзей».*

Я их *люблю.* По крайней мере, я так думаю. Конечно, все любят своих друзей, но как можно

быть в этом уверенным? Любовь к друзьям так похожа на любовь к родителям. Ты знаешь, что они всегда рядом, пока с ними все в порядке. Любовь к родителям и друзьям проявляется в их отсутствие, тогда как любовь к женщине, если это любовь, всегда обозначает себя, ее можно ощутить, она звенит колокольчиком в груди и рвется барабанным боем наружу. По крайней мере, в первые две недели.

Поэтому любовь к друзьям во многом вопрос верности. И я верен своим друзьям. Верен Тони, Ноджу и Колину, моим старым, самым лучшим друзьям. И я их люблю. Я хотел бы сказать, что они мне нравятся, но что-то мешает сделать это. Скорее всего, прошлое. Оно одновременно разъединяет и объединяет нас. Я уже давно не задаю себе вопроса, нравимся ли мы друг другу. Мы просто… друзья. Это как массивная мебель в гостиной, такая, что с места не сдвинешь. Дружба — это… некоторая устойчивая исторически сложившаяся расстановка. Им уже никуда от меня не деться. Они — часть моего прошлого, а ведь без прошлого нельзя. Кто ты без прошлого? Откуда?

— Да нет, — говорю я, продолжая смеяться, но уже не так заливисто. — Я серьезно. Я правда женюсь.

Смех резко прерывается, как будто кран перекрыли. Слышно только, как с грохотом проносится автобус да где-то вдалеке звучит регги.

— В сентябре.

Первым приходит в себя Колин. Он спускается с парапета, на котором стоит, наклоняется и немного смущенно обнимает меня. Я не знаю, куда девать руки. Мы с Колином редко прикасаемся друг к другу.

— Это замечательно, Фрэнки. Поздравляю.

Похоже, он искренне рад. Тони и Нодж, напротив, стоят не шелохнувшись. Затем Нодж очень медленно достает пачку сигарет из кармана и вскрывает с чрезмерной даже для него элегантностью и выверенностью движений.

— Здорово. Это здорово, — говорит он тоном, который, возможно, по замыслу должен выражать хоть какое-то одобрение, но на деле звучит не радостнее, чем кольцевая дорога в час-пик.

Тони спрашивает:

— Ты ведь пошутил?

Я качаю головой. Мимо проходит пара, и мы молчим, ожидая, пока они скроются из виду. Тони, поняв, наконец, что я не шучу, качает головой:

— Как-то неожиданно.

— В общем, да.

— И давно это?

— Что?

— Давно ты познакомился с… как ее там?

— Полгода назад.

Нодж прикуривает. Дым скрывает его глаза.

— Как ее зовут? Какая-то Буш? — спрашивает Тони.

— Вероника. Вероника Тери.

— Ну, что ж, — изрекает Тони. — Молодец.

Я чувствую, что атмосфера накаляется до предела. Колин по-прежнему улыбается, но уже заметно, что ему это делать все сложнее по мере того, как напряжение нарастает. Что-то мне уже не так весело.

— А в чем, собственно, дело? Я думал, вы порадуетесь за меня.

Вижу, как Тони трудно скрыть свои чувства. Он подыскивает слова.

— Да мы рады, Фрэнки. Это круто. Просто… просто…

Нодж мрачнее тучи.

— Просто ты нас даже толком *не представил.* Если не считать той встречи в пабе. — Он говорит это с горечью, и мне кажется, я понимаю, почему. Он считает, что я их стыжусь. Что, конечно, пол-

ная чушь, абсолютный вздор и чепуха.

Что, конечно, правда.

Снова наступает тишина. Все уже сказано. Образовавшаяся трещина разрастается до размеров пропасти. Тишину, наконец, нарушает Колин. По голосу чувствуется, что он на грани паники.

— А как же четырнадцатое августа? Ведь скоро четырнадцатое августа.

Тони и Нодж смотрят на меня. Я понимаю, что должен пройти испытание.

— Это святое. Это как всегда, — говорю я.

Совершенно искренне.

Глава пятая
О том, как верная Рут напилась

Как это ни странно звучит, я не был сильно влюблен в Рут, она мне даже не особо нравилась. Просто подвернулся случай, и я им воспользовался. О последствиях я не думал. А ведь они неизбежны, не так ли?

Это случилось как-то вечером, кажется, в 1990-м. К тому времени я уже не раз встречался с Рут: она почти пол года была э-э-э-другом Ноджа (он сказал: «А это мой, э-э-э, *друг»).* Нодж полагал, что некорректно называть ее *подружкой,* хотя она называла всех своих приятельниц подружками, и ничего, хотя эти подружки называли *тех,* с кем они встречались, *бойфрендами,* и ничего, а еще она могла обозвать мужчину *мудаком,* тогда как тебе нельзя было назвать девицу или даже парня *сукой,* нельзя было сказать о девице, по крайней мере, в лицо, *телка,* а они при этом могли называть тебя *жеребцом* и говорить, что у тебя крепкие *ягодицы,* но попробуй *ты* заикнуться, что у *них* аппетитная *задница…*

Я начинаю заводиться.

Казалось, они счастливы. И все-таки меня почему-то не покидало ощущение, что между ними нет гармонии. Они были как бы зеркальным отражением друг друга: достоинства одного сводили на нет добродетели другого, а недостатки, наоборот, преломлялись, удваивались, удесятерялись, множились до бесконечности.

Нодж совершенно потерял голову. Насколько он вообще на это способен. В его случае это выражалось в том, что он довел до нашего сведения факт ее существования, познакомил ее с нами и в ее отсутствие говорил о ней с умеренным восторгом. Все это было очень не похоже на Ноджа, который до, да и после Рут держал свою частную, а в особенности сексуальную, жизнь за семью печатями. И хотя она так и не переехала жить к нему, они однажды ездили вместе отдыхать, что в моем понимании является прелюдией к совместному проживанию — или, по меньшей мере, уничтожением одной из преград, которые предстоит снести на пути к так называемому счастью совместной жизни.

Нодж познакомился с Рут на курсах вождения, разъезжая по Лондону на мопеде, напоминающем автомобиль полным набором рычагов управления. Рут была единственной женщиной

среди учеников. Как и Нодж, она плохо вписывалась в эту компанию, состоявшую в основном из разукрашенных татуировками фашиствующих молодчиков из Бромли, а также небольшой группки меланхоличных евреев. Это их и сблизило. Роман завязался во время совместной зубрежки правил дорожного движения за кружкой кофе в квартирке Рут в Камберуэлле.

Рут была старше Ноджа и принадлежала к числу типичных представительниц поколения 70-х. Как и Нодж, она была пуританкой, но более строгой, вплоть до того, что могла вспылить на этой почве. Нодж в то время еще не стал закоренелым пуританином, и Рут способствовала укреплению уже заложенного фундамента. Появление родственной души убедило его в правильности выбранного пути. Они были как удвоенный наряд полиции, находящийся на страже чистого языка и добропорядочных отношений в обществе. Тони развлекался, доводя их обоих до предынфарктного состояния. Жестоко, конечно, но нельзя не признать, что наблюдать за этим было иногда весело.

Несмотря на весьма посредственную внешность, она, в соответствии с тогдашними убеждениями, не пыталась себя приукрасить, избегая

преклонения перед кукольным идеалом красоты. Это было незадолго до появления Мадонны, которая полностью изменила представления о том, как должна выглядеть женщина. В словаре Рут сексуальность и доступность были синонимами.

Рут особой сексуальностью не отличалась: среднего роста, волосы коротко, но неаккуратно подстрижены, в уголках глаз уже наметились морщинки, ноги коротковаты. Однако все ее недостатки искупала высокая грудь, которую она по обыкновению прятала под просторными черными свитерами или белыми рубашками навыпуск. Не скрою, я жаждал этих скрытых под одеждой шаров еще и потому, что переживал не лучший период в моих отношениях с женщинами, и чем дольше он продолжался, тем болезненнее становился, а женщины нутром чуют, когда мужчина неуверен в себе. Я и не мечтал, что мне что-нибудь обломится, но льстил себе, полагая, что, если такое вдруг случится, я окажусь на высоте.

Я вообще грешу завышенной самооценкой.

Я не сомневался, что Рут испытывала ко мне такую же неприязнь, как к Тони, а ее неприязнь к Тони можно было заметить невооруженным взглядом. Я, естественно, не слишком лез на рожон и, как всегда, старался приспособиться. Но

мне казалось, что, если она так высоко ценила людей с определенной жизненной позицией, имеющих на все свою *точку зрения,* мой нейтралитет должен был вызывать презрение скорее, чем постоянные — и как я тогда считал, забавные — насмешки Тони над голубыми, над женщинами, над провинциалами, словом, над теми, кто был не из Шепердс-Буш, а точнее, хоть чем-то отличался от Тони. Я не мог похвастаться яркостью личности, а в ее системе координат это было равносильно смертному греху. Но что еще хуже, под ее влиянием *я* начал думать, что отсутствие собственного мнения — преступление. А у меня действительно не было готового мнения обо всем. Я зачастую подстраиваюсь под других. Но ведь все так делают, разве нет?

Кроме того, если говорить начистоту, я ревновал. До того, как появилась Рут, мы с Ноджем переживали период взаимной любви: как это бывает у приятелей, болеющих за одну футбольную команду и поглощающих пиво в неимоверных количествах. К тому же с ним я дружил так, как не мог бы дружить с Тони или Колином: один был слишком раздут, другой давно сдулся. А Нодж был в самый раз. Я понял это еще в школе. Мы были неразлучны, блевали в унитазы друг у друга дома,

часами трепались по телефону, как девчонки.

Но когда появилась Рут, все изменилось. Началось: Рут сделала так, сказала этак, Рут думает по-другому. Если я звал его выпить, он приводил с собой Рут, как будто ее приглашали. Приходя в гости вдвоем, они приносили *одну* бутылку вина вместо *двух.* Меня это всегда бесило. В спорах они всегда защищали друг друга, неважно, кто был прав, кто виноват. Если раньше Нодж звонил *мне,* теперь я был вынужден звонить *ему.* Казалось бы, ерунда, на самом деле нет. Это проекция соотношения сил. Это проекция востребованности. И в тот момент я чувствовал себя сильно невостребованным.

Я не замечал, чтобы они проявляли признаки физической любви. При мне Нодж никогда не обнимал и не целовал ее. Но они пребывали в той ранней стадии влюбленности, когда объект любви кажется чем-то необыкновенным. А на самом деле все люди обыкновенные. Все приблизительно одинаковые. И те, кто этого не понимает, вызывают раздражение.

Поэтому когда я как-то позвонил Ноджу и узнал от Рут, что он уехал навестить свою больную тетю в Ранкорн, мне с трудом удалось скрыть свое разочарование. Прежде всего я решил, что они

перешли на стадию, предшествующую совместному проживанию — начинается все с зубной щетки, оставленной в ванной, и пары кроссовок, забытых в шкафу, а заканчивается ипотекой, мазью от ожогов и постепенным крушением надежд — но, помимо этого, мне страшно хотелось выпить пива. Я начинал потихоньку сходить с ума от долгого пребывания в помещении, мне срочно нужно было куда-нибудь пойти.

Вместо того чтобы извиниться и тут же повесить трубку, я почему-то продолжал разговаривать. Пребывая в этом состоянии, я готов был ухватиться даже за разговор с Рут. Удивительно, но Рут охотно поддержала беседу. Это был разговор ни о чем: о Нодже, о футболе (к чести Рут, она болела за «Рейнджерс»), о телесериалах. Но это было лучше, чем пялиться в окно и ждать, пока зазвонит телефон.

И вдруг, ни с того ни с сего, Рут сказала:

— Я ведь тебе не нравлюсь, Фрэнки, да?

Это было очень похоже на Рут, по крайней мере, на Рут в моем восприятии — закамуфлированная под непосредственность бестактность. Ну и что, если даже она мне не нравится? Что толку об этом говорить?

«Да, Рут. Ты права, и, кстати, большинство мо-

их знакомых единодушно считают тебя редкой занудой», — вот что я должен был ответить, но мое обычное стремление уйти от прямого ответа и тут взяло верх.

— Это не так. Да, иногда ты меня раздражаешь, но ведь и я иногда тебя раздражаю. Зато с тобой не бывает скучно.

Ложь с первого до последнего слова. Скучно с ней всегда. Потом я сказал:

— Идеальных людей нет. Но ты удивительный человек. Правда.

— И ты тоже удивительный.

Это было странно. В отличие от меня, она, похоже, говорила искренне. Какое-то мгновение я соображал, не повесить ли трубку, а потом Рут сказала:

— Жаль, что Ноджа нет дома, но у меня сегодня свободный вечер. Может, встретимся, сходим куда-нибудь?

— Конечно. Давай, — услышал я свой голос.

А почему бы нет? Что криминального в том, чтобы пойти с девушкой друга в паб? Я не собирался напиваться. Я думал посидеть, выпить пару бокалов вина, поболтать о погоде.

Век моих иллюзий был недолог, они рассыпались в прах, как только Рут час спустя появилась в

дверном проеме «Эйнжделси армс» — в те времена это была забегаловка, где собирались жалкие типы, смолящие самокрутки. Она не нарядилась, нет, просто я впервые увидел на ней облегающий свитер, подчеркивающий достоинства ее бесподобного бюста. Я впервые наблюдал ее грудь в свободном состоянии, и завораживающее шевеление этих шаров привело меня в восторг. Я с трудом отрывал от них взгляд. Моя физиология упрямо лезла наружу. Это и стало предметом нашей первой стычки.

— Что ты уставился на мою грудь?

— Я не уставился.

— Нет, уставился. Вот и сейчас на нее смотришь.

— Разве? Она сегодня *обращает* на себя внимание.

— Я имею право одеваться, как захочу, но это не значит, что каждый идиот в пабе должен строить мне глазки.

— Я не каждый идиот в пабе. Я вполне конкретный идиот. И вообще, мы друг друга знаем.

— Тем хуже.

...И т. д. и т. п. А ведь она даже присесть еще не успела.

Но это не было похоже на стычки, случавшиеся

в присутствии Ноджа. Это больше походило на наши с ним споры: горячие внешне, но с внутренним сознанием взаимной привязанности, которая позволяла нам не стесняться в выражениях, каждый из нас знал, что другой не будет обижаться из-за пустяков. Рут очень оживилась, тут же предложила купить мне выпить, и я согласился. Она принесла кружку пива и джин с тоником. Джин с тоником предназначался мне.

Мы продолжали спорить, однако споры эти означали не враждебность, а принятую между нами, привычную и удобную форму общения. Как я уже говорил, у меня не было определенного мнения по какому-либо вопросу, но с целью поддержания оживленной беседы я всегда ей противоречил. Время от времени, вместо того чтобы пускаться в пустопорожнее резонерство, она начинала смеяться. Мы еще выпили, потом еще. Очень скоро я почувствовал, что здорово набрался. Состояние опьянения и близость увеличили размеры ее бюста, и я осознавал всю силу моего опрометчивого желания. Желание было столь велико, что Рут мне уже нравилась, но где-то в глубине еще шевелилось чувство вины по отношению к Ноджу. Я утешался тем, что все это фигня. Все равно ничего не будет. Мало ли кому

нравились подружки друзей.

Мы говорили о Тони. И хотя они не общались с глазу на глаз, я был поражен потоками брани, которые Рут на него обрушила.

— Этот парень ненавидит женщин, ненавидит черных, ненавидит голубых. Он профессиональный ненавистник.

— Ты не права. Он просто подначивает. Он бросает идею, чтобы спровоцировать собеседника.

— Он может *срастись* с этой привычкой. То, что было шуткой, может стать его натурой. Я понимаю, что *ему* это кажется шуткой. Так же, как и тебе. Но это не шутка. Совсем не шутка.

Я защищал Тони, хотя не мог не задуматься над словами Рут. Я думал о том, что он всегда пользовался женщинами как туалетной бумагой, о том, как он смеялся над ними у них за спиной. Я думал о том, как он называл негров *ниггерами*, при этом утверждая, что он абсолютно лишен *предрассудков* и может говорить, что угодно, не испытывая политкорректной вины.

А ведь все это были издевательства, насмешки.

— Да.

И тут прозвенел прощальный звонок — Рут допила свое пиво. Она посмотрела прямо мне в глаза и сказала, что опасается ехать домой, по-

скольку слишком пьяна, и нельзя ли ей заехать ко мне выпить кофе, чтобы немного прийти в себя.

Даже тогда я не понял, что в этом крылось нечто помимо искреннего желания развеять хмель, поэтому, когда она набросилась на меня на лестничной площадке и начала целоваться, я был искренне удивлен. Внутренняя борьба длилась не дольше десятой доли секунды, а потом я ответил на поцелуй. Она начала дышать так, как будто только что пробежала лондонский марафон, из чего я сделал вывод, что она возбуждена. И тут же почувствовал, как в штанах вырастает нешуточных размеров конструкция.

Мы вломились в мою квартиру, продолжив целоваться уже внутри. Рут пропахла выкуренными сигаретами и пивом «Директорс Биттер», но за этой не самой ароматной завесой угадывалась необузданная страсть.

В какой-то момент Рут оттолкнула меня и решительно заявила:

— Так нельзя, Фрэнки. Это ужасно.

Однако я понимал, что произнесенные ею слова рассчитаны лишь на то, чтобы в памяти сохранился некий оправдательный момент и наутро не так мучили угрызения совести. Что касается моей нравственности, в обычные дни призраком

витающей надо мной, то в этот раз она была сметена под напором гормонов и наполнявшей пенис крови, и я набросился на Рут, пытаясь стащить с нее свитер и увидеть, наконец, давно вожделенный бюст. Когда спустя несколько секунд мне это удалось, последние мысли о Нодже исчезли без следа, и я, тяжело дыша, навалился на нее. И, наверное, отскочил бы от ее упругих шаров, как на батуте, не прижми она меня с силой к себе, при этом звуки, которые она издавала, наводили на мысль, что она умирает, но умирает радостно. Я счел это, и не без основания, призывом к действию, а потому сразу приступил к вторжению.

Это было поразительно. Это было невероятно. Она кончила раз пять, и каждый раз ее оргазм длился вечность, и я знаю, что это было по-настоящему, потому что кровь приливала ко всему ее телу, от головы до пят, кожа покрывалась чудесным розовым глянцем, спадавшим лишь несколько минут спустя и появлявшимся вновь при следующем оргазме. Это был лучший секс за всю мою прошлую и, возможно, будущую жизнь.

Когда все закончилось, она лежала рядом и, пытаясь оправдаться, объясняла, какой дерьмовый у них с Ноджем секс, как он признается ей

в любви, но при этом в их отношениях страсть полностью отсутствует, и я понял, что ничего не изменилось, что она совсем мне не нравится. А поняв это, уже не в силах был сдержать нахлынувшее раскаяние. Меня мутило от сознания вины и отвращения к себе.

Проснувшись утром, я с облегчением обнаружил, что от Рут осталась лишь вмятина на подушке. Я потянулся, закурил и позвонил Ноджу. Его голос в трубке звучал бодро и весело. Очевидно, Нодж не был в курсе второй части вчерашнего вечера, но я не представлял, что именно ему *известно.* Рассказала ли Рут про выпивку, опустив последующий секс? Я не мог вообще не обмолвиться об этом вечере, знать бы только, что наговорила ему Рут: вдруг я что-то скажу, а она — *нет,* тогда я все испорчу.

— Как ты, Фрэнки? Что нового?

Этого вопроса я и боялся. И начал судорожно искать повод прервать разговор.

— Нодж… подожди, там кто-то звонит в дверь. Я сейчас.

Я закрыл трубку рукой, отчаянно надеясь, что на меня снизойдет вдохновение, но в голове было пусто. Эх, перекинуться бы парой слов с Рут, чтобы понять, что делать дальше. Я подождал

несколько секунд и снова поднес трубку к уху. Я решился. Назад пути нет.

— Нодж, мне надо кое-что тебе сказать.

— Что, Фрэнки? — это уже был голос Рут.

— Рут! Слава Богу! Он еще там?

Я говорил тихо, опасаясь, что меня может услышать Нодж.

— Он пошел в туалет. Скоро придет. Ты как?

— Ужасно, — сказал я уже громко. — Чувствую себя полным дерьмом. Слушай, ради всего святого, ничего ему не говори. Мы никуда не ходили вчера. Сидели дома и смотрели телевизор.

— Да, — приглушенно проговорила она и тут же защебетала в полный голос: — Вчера ночью все было здорово. Правда, так много народу, что не протолкнуться.

Понятно. Про паб он в курсе, но об остальном она промолчала.

— Рут, никогда не рассказывай ему о том, что было вчера. Это разрушит нашу дружбу. И мы больше не должны так делать.

— Ну, я не уверена, что соглашусь с этим. По крайней мере, с первой частью. Вторая и третья — другое дело. С третьей частью я полностью согласна.

— Что?!

— Но я подумаю над твоими словами. Может, расскажу. А может, и нет. Кстати, вот и Нодж. Желаю удачи, мистер Выдумщик.

И она передала трубку Ноджу. Он выразил легкое удивление по поводу нашего с Рут похода в паб, но в целом, похоже, был доволен. Очевидно, ему и в голову не приходило, что я могу оказаться таким дерьмом. Неудивительно, в моей голове это тоже не всегда укладывается.

С тех пор я не видел Рут. Я дергался по поводу того, скажет она Ноджу или нет, но, видимо, не сказала. Мы об этом никогда не говорили. Две недели спустя она бросила Ноджа ради трейдера, помешанного на бодибилдинге, и хотя у него отсутствовал даже намек на мозги или убеждения, зато была куча денег и стальные мышцы по всему периметру тела. Нодж нескоро оправился от этого удара. Казалось, что рухнула его вера не только в Рут, но и во все, что она для него олицетворяла: идеи равных возможностей, протест против дискриминации, права женщин, помощь обездоленным и все такое прочее.

Это не могло не отразиться на его поведении: он стал менее агрессивным в выражении своих общественных взглядов и потихоньку освоил более мягкие формы левацкого безразличия.

После того как Нодж изменился, я стал подсознательно симпатизировать блэровской партии лейбористов. Но уже не верил ни его нападкам на консерваторов, ни разговорам о засилии американской культуры, ни речам в защиту ежиков, погибающих под колесами машин. Казалось, что он говорит все это по привычке. Наверное, так со всеми происходит рано или поздно. Чем-то ведь надо руководствоваться в своих действиях.

Глава шестая
Колин и его наручники

Я звоню в дверь к Колину. Около дома холодно, хотя погода довольно теплая — градусов пятнадцать-двадцать. Но по улице гуляет ветер, пробирающий до дрожи. Ветер приносит с собой весточки и приветы со всего Уайт-сити: запах чипсов и неухоженных младенцев, обрывки порванных и выброшенных лотерейных билетов, дребезжащие жестяные банки, содержимое которых до последней капли было высосано прыщавыми придурками. Уже смеркается; каждый раз, приходя сюда, я ощущаю скрытую опасность. Вот и сейчас вижу, как несколько парней направляются к моему «бимеру», стоящему метрах в пятнадцати от того места, где я нахожусь. Подошли. Один из них плюет на капот. Но машину не трогают. Она стоит под фонарем, как раз рядом с камерой наблюдения.

Я снова нажимаю на звонок и смотрю в щель для понты. Она, естественно, забита. Ничего, кроме металлической решетки, не разглядеть. Но я уверен, что звонок не работает, потому что вижу,

как в закрытом решеткой правом окне маячит чья-то тень. Дома наверняка кто-то есть. Я знаю, Колин меня не подведет. Он не из тех, кого дома не застать.

Я крепко прижимаю лэптоп, который принес Колину в починку, — опасаюсь, что какой-нибудь недоносок с помятым лицом, какой-нибудь живущий на социальное пособие голодранец в белых кроссовках «Рибок», выхватит его у меня. А ведь это не просто лэптоп, у него и встроенный модем, и CD, он обошелся мне в пять тысяч, и теперь вот сломался.

Я разозлился, когда он меня предал. Все меня предают — мое тело, мой компьютер, Нодж — все и вся всегда меня предают. Он взял и вечером уничтожил файл, над которым я корпел целый день. Этот мерзкий, злобный компьютер все уничтожил. Гад поганый. Я так разозлился, что швырнул его (памятуя о цене) на диван. Но он полетел мимо дивана и попал в стену. После этого половина клавиш на клавиатуре печатает не те буквы, и я не могу найти ни один файл. Я принес его Колину в починку. Колин — компьютерный гений. Лучшие компьютерные компании страны предлагали ему заняться разработкой программ для них. Но Колин должен сидеть дома и ухажи-

вать за мамой. Он зарабатывает ровно столько, чтобы хватило на оплату счетов за лечение, размеры которых можно себе представить, зная, что у нее запущенная ипохондрия, застарелый артрит, боли в спине, люмбаго и хроническая депрессия.

Я начинаю стучать в дверь кулаком — звонок, очевидно, сломан. Тут же раздается крик метрах в пяти от двери:

— Слышу, слышу. Подождите… кто там…

Это мама Колина, известная в Уайт-сити мегера. Она целую вечность ползет до двери, шаркая ногами, бормоча что-то и хлюпая носом. Мне кажется, запах, исходящий от нее, проникает даже сквозь щель для почты. Я живо ее представляю: в неизменном халате, с потупленным взглядом. Кожа как у ящерицы.

— Кто там?

— Это я, миссис Берден. Фрэнки Блю.

— Какой Фрэнки?

— Фрэнки Блю. Фрэнсис. Друг Колина.

— Какой Фрэнки?

Оливия Берден. Шестидесяти пяти лет от роду и практически беспомощная старуха. Беспомощности предшествовала депрессия, а депрессии — просто глупость. Мне она никогда не нрави-

лась, даже во времена моего детства. Уже тогда, не будучи слабой, она *изображала* слабость, выковывая наручники для любимого сына. Сначала это были маленькие наручники, но по мере взросления Колина их размер увеличивался.

Ее нынешняя слабость приковала Колина, и спасения не будет, пока она не умрет. Оба брата Колина сбежали от нее в другие страны, и он остался один. Они могли бы переехать, но Оливия не хочет. Ненависть к жизни так же глубоко проникла в эту злобную, упрямую старуху, как угольная пыль в пальцы моего отца. Сейчас, когда разум почти покинул ее, эта ненависть стала более заметной, она проступила наружу.

Я приседаю и снова кричу в щель для почты:

— Это я, Фрэнсис Блю. Я пришел к Колину.

— К какому Колину?

Я вздыхаю и оглядываюсь. «Бимер» цел и невредим. Кто-то шаркает за дверью, я слышу извиняющийся, кроткий голос Колина.

— Мама, это Фрэнки. Фрэнки пришел. Он сломал свой компьютер и хочет, чтобы я его починил.

— Вечно твои компостеры. Чушь какая-то. Ничего не понимаю.

Колин повышает голос на один или два децибела.

— Фрэнки, извини. Я сейчас подойду. Она немного растерялась. Только ключ найду.

— Не торопись.

Я отступаю назад, плотнее запахивая плащ. Ветер усиливается, он уже свистит у меня в ушах. По звуку это напоминает приземляющийся вдалеке самолет. Через пару минут ключ поворачивается в замке, и дверь открывается.

Колин виновато улыбается, мол, что я могу поделать. Его дешевая золотая серьга поблескивает в сумерках прихожей. Глаза размыто-неопределенного цвета. Бледные шрамы от прыщей рельефно проступают на лице — наверное, от холода. В квартире всегда холодно, хотя вряд ли у них нет денег на отопление.

На Колине футболка с символикой «Рейнджерс» и яичным пятном на животе, вытертые черные джинсы и паленые кроссовки «Джордан». Я слышу, как Оливия обиженно ворчит в соседней комнате, и мне приходит в голову мысль намекнуть ему в шутку на эвтаназию, но я тут же отметаю ее. Колин очень щепетилен в отношении всего, что касается Оливии. Это естественно, ведь она его мать, но я бы не удивился, узнав, что иногда он ее ненавидит. Самую малость, чуть-чуть. Но это бы значило приоткрыть

дверь, дверь, за которой аршинными неоновыми буквами светится надпись: «Ну что, неудачник? Жизнь-то прошла».

Запах квартиры не изменился со времен нашего детства: сначала в нос ударяет стойкий аромат пирога с мясом из кулинарии и каких-то молочных продуктов, а потом к нему присоединяются запахи притирок, цветочного освежителя воздуха и окурков.

В дверной проем я вижу, как Оливия Берден раскачивается из стороны в сторону, сидя в старом кресле. Она сосредоточенно смотрит рекламу гигиенических салфеток. Колин бросает на нее нежный взгляд.

— Бедная мама. Она плохо себя чувствует. Да, мам? Хочешь чаю?

Последнее предложение он выкрикивает, но ответа все равно не получает. От нечего делать я рассматриваю прихожую. Чуть выше уровня глаз вижу фотографию, которая наверняка висит здесь давно, но почему-то раньше я ее не замечал. На ней Колин, в возрасте четырех-пяти лет, в чем-то, похожем на школьную форму. Широко улыбаясь, он смотрит в объектив. Нормальный ребенок, счастливый и открытый. Тогда у него еще не было прыщей, тогда его отец еще не пил, а

мать не потеряла рассудок. Лоснящаяся, розовая, вопиюще здоровая кожа. Вполне определенного, иссиня-голубого цвета глаза.

Нынешний, похужевший Колин поворачивается и, кивнув головой, предлагает пройти к нему в комнату. Я следую за ним, задержав дыхание, чтобы не дать мерзкому запаху проникнуть в мои легкие. Грудь от этого сдавило.

Небольшая квадратная комната, метров двенадцать. Низкие потолки, у стены полуторная кровать, над ней, полностью закрывая обои, висят скрепленные скотчем постеры Королевского клуба «Куинз Парк Рейнджерс». Небольшое окно напротив кровати выходит на соседние дома, около окна стоит стол с компьютером и клавиатурой. Повсюду разбросаны диски, книги по программированию, отвертки и — провода, провода, провода. Еще есть шкаф, комод и книжная полка с видеокассетами вместо книг. Некоторые из них надписаны от руки: «Зловещий мертвец», «Крик», «Воскрешение доктора Файбса», «Хэллоуин», «Королевский клуб: сезон 1997–98». В общем, сплошные фильмы ужасов. Интересно, есть ли у Колина порнуха. Пожалуй, нет. Скорее всего, он скачивает ее из Интернета и сохраняет на жестком диске, чтобы потом иметь возмож-

ность придавать своей мягкой плоти жесткость в любое время дня и ночи. Думаю, так. На полу бульварная пресса — «Виз», «Лоадед», несколько комиксов и куча компьютерных книг. Никакой художественной литературы.

На других стенах ничего, кроме огромной фотографии Клаудии Шиффер и прикрепленной четырьмя кнопками афиши фильма «Вторжение охотников за телами».

Колин садится за компьютер, его лицо четко вырисовывается в свете монитора. Я понимаю, что он весь там, что он практически растворился в сети электрических импульсов и микросхем, из которых состоит виртуальный мир. Мне он не предложил ни чашку чая, ни стул.

— Погляди! — восклицает Колин.

Он нажимает указательным пальцем на клавиши клавиатуры, в результате чего на экране появляется фотография известного киноактера, которому делает минет девочка лет двенадцати.

Колин хихикает, потом начинает вертеться на кресле, четверть оборота влево, потом вправо и снова влево. Здесь он в своей тарелке, он может быть самим собой, может дать волю низменным проявлениям. Нога у него дергается так же, как у Тони, когда тот сидит в пабе или обрабатывает

очередную девицу.

— Дикие нравы, — говорю я. Картинка мерзкая. Девочке, вероятно, и двенадцати лет не исполнилось. Но я не распространяюсь на эту тему. В отличие от Ноджа, я друзей не осуждаю.

— Это цветочки. Видел бы ты страничку «Лошадь, осел и другие наездники». Кажется, эйч-ти-ти-пи, три дабл-ю, точка, пони-энд-карт, точка, ком.

— Интересно. Но мне надо еще заехать на работу. Ты можешь быстренько посмотреть мой лэптоп? Он, похоже, совсем сломался. Я его грохнул об стену.

Колин не просто расстроился, его это шокировало.

— Грохнул об стену?

— Да. Он стер файл. Ни с того ни с сего. И я его швырнул.

Колин не может скрыть возмущения. С его точки зрения мой поступок одновременно и глуп — ведь компьютеры делают только то, что им велят, — и аморален. То, что я так обращаюсь с моим лэптопом, возмущает его гораздо больше, чем то, что какой-то шотландский пони вставляет бедной женщине или что девочка отсасывает у киноактера. Он поворачивается на кресле лицом

ко мне. Но смотрит не на меня.

— Модель эр-семь-шесть-восемь-пять-икс. С модемом или без?

— С модемом.

— Тридцать три и шесть?

— Да.

— А какая скорость Си-Ди?

— Кол, не все ли равно? Важно то, что он не работает, а мне нужно, чтобы работал. Ты можешь что-нибудь сделать?

— Хорошая машина.

Он обращается с компьютером бережно, как ласковая мать с ребенком. Включив его, нажимает несколько клавиш и тут же говорит:

— У тебя вирус.

— Что?

— Вирус. Ты наверняка слышал про вирусы. Их запускают, чтобы портить чужие программы. Они могут сильно навредить.

Он хихикает. Именно хихикает, а не смеется; недоброжелательно, отрывисто.

— Конечно, я про них слышал. У нас в «Фарли, Рэтчетт и Гуинн» постоянно какие-то проблемы из-за вирусов. Такое впечатление, что риэлтеры — любимая мишень хакеров.

Колин снова злорадно хихикает.

— Ты что-нибудь скачивал в последнее время?

— Конечно. Я постоянно что-нибудь скачиваю. Из офисной сети, из Интернета, из почты.

— У тебя установлена антивирусная программа?

— Нет.

— Надо поставить. Я напишу что-нибудь для тебя. Думаю, *смогу* восстановить твой файл. Но гарантии не дам. Что касается клавиатуры… — Он нажимает на кнопки: «а» выдает цифру «8», «6» — звездочку. — Клавиатура, похоже, повреждена.

— Это серьезно?

— Да. Но я попробую что-нибудь сделать.

С этими словами он выключает лэптоп, снимает крышку и начинает шуровать крошечной отверткой. Я с восторгом наблюдаю за тем, как рука с отверткой мечется с бешеной скоростью от одной микросхемы к другой. Одновременно он продолжает разговаривать со мной.

— Ты ничего не придумал насчет четырнадцатого августа?

— Пока нет.

Честно говоря, при одном напоминании о четырнадцатом августа я мрачнею, и меня охватывают дурные предчувствия. Колин, как всегда, ждет этого дня с нетерпением.

— Что, если мы сначала выпьем, потом покатаемся на аттракционах в «Торн-парке», а вечером сходим на картинг?

— Такая программа была два года назад.

— А-а-а…

Он опять с головой погрузился во внутренности компьютера. Мне не по себе от наступившей паузы. Я мысленно возвращаюсь к тому неудачному вечеру с Вронки, на сегодняшний день единственной встрече моего женатого будущего и дружеского прошлого.

— А как тебе Вероника?

— Знаешь, компьютер, похоже, поврежден серьезно. Что ты с ним делал?

— Хотел бросить на диван, но промахнулся.

Я ковыряюсь в носу и, достав козявку, скидываю ее на пол. Это вполне соответствует окружающей обстановке, только это ей и соответствует.

— Так что ты думаешь о Веронике?

— Она очень милая.

— Милая, и все?

— Ну… Она потрясающая. У нее обалденные ноги. Я думаю, тебе придется его оставить.

Колин явно предпочитает не говорить о Веронике. Но я тем не менее настаиваю.

— Знаешь, она сказала забавную вещь. Я, по

крайней мере, смеялся.

— Надо же было так изуродовать машину. Боюсь, жесткий диск поврежден.

— Ей показалось, что на самом деле мы не испытываем друг к другу симпатии. То есть я, ты, Нодж и Тони. Глупо, правда?

Колин неожиданно поднимает глаза от компьютера, но по его лицу нельзя ничего прочесть.

— Странно, что она это сказала.

— Глупо, правда?

— Очень странно.

Проходит некоторое время, прежде чем он снова возвращается к компьютеру. Я не могу понять, что у него на уме, но, что бы это ни было, сейчас он целиком поглощен только машиной.

— Не уверен, что мне удастся твой компьютер спасти.

— Но он мне нужен. Там столько всего.

— Ты делал копии?

— Конечно же, нет. Он практически новый, к тому же самый дорогой. С чего бы ему ломаться?

— А что у тебя там?

— Да разное. Но это очень важно. Жизненно важно.

Колин насвистывает, как какой-нибудь слесарь-сантехник.

— Не знаю, Фрэнки. Поломка очень серьезная. Это займет не меньше двух дней. А как насчет гольфа?

— Что?

— Четырнадцатого августа. Мы можем пойти все вместе поиграть в гольф. Например, в Перивэйле. Давай подумаем об этом.

— Отлично. Почему бы и нет. Я поговорю с Ноджем и Тони. Так ты сможешь его починить?

Колин смотрит на меня как на идиота и говорит:

— Конечно, *смогу.* Это вопрос времени. Завтра мне нужно отвезти маму в больницу, потом у нее физиотерапия, потом консультация в Центре психического здоровья…

И тут он замолкает, смутившись. Сквозь безвременно состарившиеся черты вдруг проявляется девятилетний мальчик, живущий в этой комнате. Он устремляет взгляд прямо мне в глаза.

— Знаешь, Фрэнки, она очень больна.

Я не выдерживаю и кошусь на часы. Через пятнадцать минуту меня встреча в Хаммерсмите. На машине еще можно успеть.

— Конечно, знаю. Она давно болеет.

— Нет, Фрэнки. Сейчас она серьезно больна. Рентген что-то показал. Боюсь, если…

Я рассеянно смотрю на Колина, хлопаю его по плечу и одновременно поглядываю на часы.

— Колин, она поправится. Оливия — крепкий орешек. Какая жалость для окружающих, да? Шучу, шучу. Мне правда жаль, старик. Но я должен бежать. Нужно показать квартиру. Если мне удастся толкнуть ее штук за двести, получу приличный бонус в конце месяца. Давай как-нибудь сходим выпить. Я проставлюсь, если ты починишь машину. Так я могу ее оставить? А в пятницу заберу?

Колин задумался, как будто собираясь сказать еще что-то. Но затем медленно кивнул:

— Хорошо, в пятницу.

— Вот и отлично. Ты настоящий друг. Я тебе звякну, ладно?

— Да, звони.

Он произносит это словно автоматически, почти неслышно. Я начинаю пробираться к двери; в проеме по-прежнему видна Оливия Берден, сидящая ровно в том же положении, в каком я застал ее, когда пришел.

Я ору изо всех сил:

— До свидания, миссис Берден.

Потом добавляю про себя: «Скорей бы ты померла!»

Она едва заметно шевельнулась. Попыталась что-то произнести, наконец ей это удалось:

— Какой Колин?

Я смеюсь, я уже за дверью, больше нет этого запаха и этих давящих стен. Перегнувшись через перила, смотрю на «бимер». Он вроде в порядке. Какой Колин? Какой Колин? Бедная безумная старуха.

Подойдя к машине, я обнаруживаю, что номерные знаки и одна из фар откручены. Залезаю внутрь и пытаюсь завести двигатель. Аккумулятор сдох. Выхожу и поднимаю капот. Аккумулятор сняли. Шарашу по стене кулаком и матерюсь в сторону едва различимого вдали здания Би-би-си.

Вызываю аварийку по мобильнику и жду в машине. Может, вернуться к Колину? Нет, лучше не оставлять машину без присмотра. Я знаю, что ждать придется долго. Откидываю сиденье до полулежачего положения. В ушах все еще звенит голос Оливии Берден: «Какой Колин?»

Смотрю на дома, и мне кажется, что я вижу Колина. Нет, это, наверное, тень или скорее бродяга. Он вызывает во мне одновременно и жалость и злость. *Неудачник…* Интересно, всегда ли так было. Думаю, нет. *Знаю,* что не всегда. Когда-то

Колин был моим самым лучшим другом. Когда-то (от этой мысли меня пробирает дрожь) я любил его больше всех на свете.

Глава седьмая
Детская теория игр

Колин не был моим первым другом, но он был первым лучшим другом. И это правда. Его родители… мать — домохозяйка, отец — кто его знает… да разве это могло меня тогда интересовать? Такие вещи не обсуждаются в девять лет, а именно в девятилетнем возрасте мы и подружились. Не обсуждается, чего ты намерен в жизни достичь, чего тебе достичь не удалось, не обсуждается, кто с кем спит, что тебя достало и насколько лучше раньше были программы на телевидении. Мы не говорили о наших разочарованиях, о том, счастливы ли, о том, кто сколько заработал и кто напился вчера до потери сознания.

Мы просто играли в разные игры. В игры с правилами, названиями и установленными ограничениями. Там все было понятно. Ты или выигрывал, или проигрывал, или все заканчивалось ничьей. Это было здорово, это было интересно. И, как мне кажется, без обмана. Это не те невидимые игры, в которые начинаешь играть, когда вырастаешь, в которых осознание

того, что проиграл — что вообще участвовал в некой игре, — приходит слишком поздно. Кровавые игры.

В них нет правил.

Говоря, что мы с Колином были *друзьями,* я подразумеваю под этим словом не то, что привык подразумевать сейчас. Мы были неразлучны, мы как будто слились, став двумя сторонами одного человека. Не знаю, любили ли мы друг друга, мы были выше этого. Я думал — хоть и глупо звучит, но это правда, — думал, что именно такими будут мои отношения с женщиной, на которой я, когда вырасту, женюсь. Думал, что жениться — это найти такого человека, как Колин. Думал, что мы будем с женой так же играть в игры, смеяться, случайно столкнувшись на улице, болтать без умолку о том и о сем, с нами будут приключаться всякие истории. Мы наполним жизнь друг друга, не потеряв при этом себя.

То, что я женюсь, мне предсказали цифры на автобусном билетике. Это тоже была игра: как я говорил, мы придумывали разные игры и находили их во всем. На билетике было пять цифр. Первые две обозначали, сколько ты проживешь (73), следующая — количество жен (4), а последняя — сколько у тебя будет детей (2). Некоторые

все время гадали по билетикам, меняя свое предсказание с каждой поездкой в автобусе. Я сделал это только один раз — ведь в противном случае предсказание теряло смысл. Это было бы подтасовкой. Правила для того и существуют, чтобы им следовать.

По сей день какая-то часть меня верит, что я проживу семьдесят три года и у меня будет двое детей. Насчет четырех жен — сомневаюсь. Честно говоря, моя вера потихоньку улетучивается. К тридцати я, по идее, должен был бы жениться уже дважды. Что же я до сих пор не женат? Не знаю.

Может быть, все эти годы я ждал Колина. Чего-то, напоминающего наши отношения. Может быть, Вероника — это отказ от мечты. Если так, значит, я взрослею.

Раньше я относился к играм серьезно (впрочем, и сейчас тоже). Мы с Колином понимали, что без серьезного отношения не стоит вообще играть. Но это была очень правильная серьезность — честность, а не упертость, легкость, а не легкомыслие.

У каждого из нас был свой конек — игры, в которых чаще всего удавалось выигрывать. Я считался мастером пинг-понга. В гараже моего отца стоял обыкновенный кухонный стол, на

который натянули сетку, и мы пропадали там буквально *часами.*

У меня была квадратная ракетка, покрытая гладкой зеленой резиной, пупырышками внутрь. Я унаследовал ее от отца — в свое время он неплохо играл. Фирмы «Шлезенгер Виктор Варна». У Колина — классическая круглая ракетка, с резиной, приклеенной прямо к дереву, пупырышками наружу. Очень хорошая, надежная, отлично блокирует мяч, защищает и отбивает крученый удар противника. Но моя «Варна» была не просто ракеткой. Она могла послать наш шарик «Халекс Тристар» куда угодно, с ней можно было подавать петлей слева, можно было гасить, делать крученые удары слева и справа. Это была не ракетка, а настоящая волшебная палочка, магический жезл.

Мой тогдашний стиль игры точно отражал выбранную мной впоследствии жизненную тактику: абсолютно честный, агрессивный, не всегда предсказуемый, не всегда продуманный, но всегда подгоняемый волей к победе. Я помню, как разрезал пространство этот матовый шарик, как он отскакивал от ракетки, двигаясь по прямой, будто собирался перелететь через стол, а потом ударялся и *закручивался* на сорок пять, пятьдесят,

шестьдесят градусов. Если Колин отбивал удар, шарик иногда отскакивал от его ракетки со скоростью пули. Я пружинил на согнутых ногах, слегка наклонившись вперед, как боксер. Потрясающе.

А коронной игрой Колина был настольный футбол. Никто из нас не мог сравниться с ним в мастерстве. Там надо было щелчком направлять плоскую фишку, размером с десятипенсовую монетку, с одного конца поля на другой. Колин бил невероятно точно. Он никогда не гнался за эффектными ударами, всегда шел к цели мелкими шажками. Медленно, но верно. Он был черепахой, а я зайцем.

Помню его детское лицо, еще без прыщей, сморщенное от напряжения, когда он готовился к удару, как правило, не покрывавшему больше 5–7 сантиметров, я же бил со всего маху, фишка летела на другой конец поля. У меня всегда были проблемы со стратегией. Он выигрывал 7–8 игр из десяти, и пусть яркими его победы не назовешь, разница в счете всего 1–2 очка, но этого было достаточно. Уже тогда Колин не гнался за внешними эффектами.

Детское лицо Колина. Как жаль, что, пока мы еще не выросли, не начали стесняться, пока это еще было возможно, я не поцеловал его. Помню,

как обнимаю Колина за плечи, прижимаю его худое, хрупкое тельце к груди. Сосредоточенное лицо и четкие удары сердца, раз-раз-раз. Мы смотрели, как падали кленовые листья, кружение которых напоминало винт вертолета, ловили их на лету и пытались придать их падению направление. Мы делились купленной в палатках едой и загваздывали шорты фруктовым мороженым.

В других играх мы были практически на равных. Там, где все построено на везении: «Монополия», «Людо», «Извини!» «Змеи и лестницы». Хотя мне по большому счету везло больше. Я всегда считал, что везение — это врожденное качество, как голубые глаза или привлекательность. Нодж, к примеру, более везучий, чем я. Меня это всегда бесило.

Играли мы и в интеллектуальные игры — нарды, шашки, шахматы. А еще в «морской бой», «виселицу», «крестики-нолики». В газетах и журналах можно было найти кроссворды, в них слова проступали не сразу, но как по волшебству все в конце концов получалось. Еще было «Шпионское кольцо», «Эскаладо», «Формула-1», «Кампания», «Риск», «Побег из Колдитца» и другие. В хорошую погоду мы играли в ножички, которые метали в землю на заднем дворе моего дома. А потом

мерили расстояние, широко расставляя ноги. И, конечно, играли в футбол. Правда, теннисным мячиком. Через раз он терялся в высокой траве, и приходилось выискивать его, ползая на карачках.

А еще были игрушки: у меня — Робот-Чудо-воин, у которого ружье стреляло прямо из раскрывающейся грудной клетки, а у Колина — Робот-динозавр со съемной металлической головой, под которой и прятался динозавр. У меня был пластмассовый игрушечный завод по производству космических кораблей, у Колина — железная дорога и станция для нее. У меня — наборы солдатиков, танков и самолетов. У него — «форд-торино», машина Джеймса Бонда, и фигурки из фильма «Планета Обезьян». Все вместе было нашим общим хозяйством. Мы всегда давали друг другу игрушки, даже самые любимые, не раздумывая и не задавая вопросов. Знали, что отдаем их в надежные руки.

Каждый день мы придумывали новые игры, особенно в длинные летние каникулы, когда почти все время проводили друг у друга либо в моем доме, либо в квартире Колина, — оставались на ночь, писали секретные шифровки, обменивались комиксами.

А еще любили гулять. Например, в августовскую жару мы ходили в Кенсингтон-мемориал-парк, чтобы освежиться в бассейне с зеленовато-синей водой. Мы с Колином плескались, ныряли, устраивали гонки под водой или играли в салочки по периметру бассейна, откуда мамаши руководили своими детьми. Наши отпускали нас одних. Тогда это не казалось опасным. Колин покрывался коричневым загаром, у меня кожа только розовела. Мы смеялись как сумасшедшие, ощущая присутствие каждого дня, каждого часа и каждой секунды. Такая роскошь позволительна только в детстве — никакого прошлого и лишь легкий намек на воображаемое будущее.

Как-то мы даже вместе отдыхали. Колин поехал с нами в Корндолл, по дороге в машине меня вырвало, Колин сидел равнодушно в сторонке и рассматривал журнал о серфинге в тусклом свете автомобильного салона. Он не пытался меня утешить; дети не осознают ответственности, от них этого и не ждут. Каждый понимал, что есть границы, за которые никто не выходит. Я не обиделся.

Чем мы занимались на этом уходящем в бесконечность белом пляже, бродя между дюнами с острой высокой травой, купаясь в зеленом, заросшем водорослями английском море? О чем

мы говорили? Понятия не имею. Тогда мы не нуждались в словах. Ведь мы были очень близки. Сегодня, если я встречаюсь с другом, даже самым лучшим, самым близким, самым преданным другом, мы, сидя в пабе или гуляя по парку, всегда о чем-то говорим, слова становятся талисманами, оберегающими от молчания. Десять-пятнадцать секунд, и молчание перерастает в неловкость. Кому-то надо заполнять эту пустоту, иначе…

Иначе что? Близость, вот что. А близость среди взрослых уже недопустима. Для нас с Колином молчание было разменной монетой. Причем молчать мы могли по-разному: восхищенно, с предвкушением, хмуро, злобно, сосредоточенно. Тогда мы понимали утраченную ныне истину: слова ничего не значат, это просто ширма, за которой можно укрыться. Ведь и молчание бывает увлеченным. Мы чувствовали себя в нем как рыбешки, мечущиеся в мутных прибрежных заводях, где водились крабы, морские звезды и медузы.

Тогда пляжи были пустынными, нас манила непостижимая линия горизонта, и мы бродили туда-сюда по влажному песку, на котором вода пузырилась в углублениях, оставленных крабами-отшельниками. Только мы и размытые

тени чаек на фоне желтых скал. Нефрит, гранит, черный сланец, моллюски на камнях, напоминавшие застывшие брызги пены. Непредсказуемой формы утесы, беспорядочно раскиданные тут и там, словно огромную скалу сбросили с неба на землю, и она раскололась на куски. Набегающее и отступающее море. Переменчивая погода, пронизывающий ветер. Маячащие вдалеке взрослые, представители еще одного загадочного биологического вида, как таинственные анемоны в заводи.

От долгих прогулок ноги потрескались, плавки заляпаны грязью. Колин и я, пляж, тишина и прозрачный звенящий воздух. Мы были где-то далеко, мы могли абстрагироваться от своего физического тела, как умеют делать только дети, и это наполняло наши отношения особой близостью.

В этом было что-то… праведное, я думаю. И знаю, что Колин именно так это воспринимал, буквально. Я уверен. Потому что он перенес это на бумагу. *Нарисовал.*

Колин не был особенно одаренным ребенком. Его родители — Оливия, тогда еще в здравом уме, и Уильям, известный как Билли Б. — усердно следили за тем, чтобы он исправно делал домашнее

задание, и писал доклады, которые мы сдавали один-два раза в неделю, — он всегда выполнял все аккуратно и к сроку. Способности у него были только к математике, а по остальным предметам он обычно получал средние баллы. Колин принадлежал к категории троечников, которым удавалось дотянуться до крепкой четверки исключительно за счет усилий и усердия. При этом у него был патологически аккуратный почерк. Каждый по-своему стремится упорядочить внешний мир, и сегодня мне кажется, что Колин пытался одолеть неопределенность и бесформенность детского существования посредством идеально отточенного почерка. Учителя были в восторге. В системе образования, по непонятной причине считавшей умение красиво писать главным условием выживания во взрослой жизни, для Колина завораживающий учителей почерк стал главным способом укрепиться в среде, которая в остальном проявляла к нему полное безразличие.

Однако столь восхищавшая всех техника письма имела и свою оборотную сторону. Излишне озабоченный тем, чтобы все буквы идеально смотрелись на желтоватой толстой бумаге, которой мы в то время пользовались, он никогда не

успевал закончить контрольную в отведенное время. Кроме того, от напряжения он высовывал кончик языка, и вид у него становился придурковатым, что, как я теперь понимаю, отражает истинное положение вещей. Это было постоянным поводом для насмешек в классе.

В те дни я, естественно, не относился к числу насмешников.

На школу наше с Колином соперничество не распространялось. Как будто вдоволь наигравшись в настольные игры, набегавшись по полям и за теннисным столом, мы избавляли нашу дружбу от конфликтов. Это подкреплялось тем, что я по природе был отличником, но слишком ленивым, чтобы получать хорошие отметки, и скатившимся к тем же четверкам, к которым Колин стремился с таким усердием и упорством. Я всегда соображал быстрее, чем он. Мой разум зайца мчался вперед, пока его, черепаший, осторожно полз, шаг за шагом преодолевая препятствия на пути к постижению той или иной проблемы. Но одинаковая успеваемость — искусственная, как потом выяснилось — позволила еще долгое время поддерживать идею о нашем равенстве вообще.

В действительности я превосходил Колина

почти по всем предметам. Мне лучше давалась физкультура, английский, география, история — список можно продолжить. Факты, интерпретации, запоминание — для меня это было родной стихией, Колин же способностями в этих сферах не блистал. Я всегда без промаха бил пенальти, а Колину, субтильному, худосочному, астматичному, если и поручали пробить одиннадцатиметровый, то заканчивалось это неизменным фиаско, и он пристыженно возвращался к недовольной или равнодушной команде.

Мои футбольные успехи позволили мне преодолеть стеснение, вызванное родимым пятном на лбу, которое выглядывало из-под волос на пару сантиметров. Как часто я загадывал, чтобы эта малиновая отметина, по форме напоминающая австралийский континент, исчезла, — я делал это, когда давился счастливым билетом или проговаривал про себя молитву, задувая ежегодные свечи на именинном пироге. Но помогали только забитые голы. Чем больше голов я забивал, чем больше аплодисментов срывал, тем бледнее и меньше становилось это пятно. Однажды, когда я забил три гола за игру, мне показалось, что оно исчезло вовсе. Но оно всегда возвращалось. Оно было одной из ниточек, связывавших ме-

ня с Колином, оно заявляло о моем отличии от остальных, о моем, казалось, неодолимом предназначении неудачника.

Только в рисовании наши с Колином способности — или, точнее, отсутствие оных — уравнивались. Каждый из нас был по-своему безнадежен. Я — из-за нетерпеливости и небрежности. Какие-то способности у меня имелись — по крайней мере, так говорили учителя, — но, чтобы достичь на их основе мастерства в рисовании, требовалась усидчивость, которой я не обладал. Я был не в состоянии сосредоточенно заниматься, мой разум зайца скакал вперед, увлекая меня за собой. Любая моя попытка перенести что-либо из реальной жизни на бумагу, сколько бы энергии, а порой воображения и красок, я в нее ни вкладывал, была обречена на провал из-за отсутствия техники.

Колин, как всегда, страдал из-за противоположных проблем. Его рисунки и картины были выполнены скрупулезно и с дотошностью, он прекрасно копировал плоские изображения, например, фотографию из журнала или букет цветов, украшавший какой-нибудь календарь. Но если нужно было скопировать что-то объемное, скажем, что-то из реальной жизни, или нарисовать картину на заданную тему, у него ни-

чего не выходило. Карандаш либо кисточка как будто замирали в его руке, ему просто не хватало фантазии. Возможно, сейчас такую чрезмерную буквальность мышления, эту прямолинейность и пунктуальность признали бы слабой формой аутизма. Но именно за эту неспособность притворяться и выдавать себя за другого я его и любил.

Однажды учитель рисования, Вилли Нокер — нелепый человек с говорящей фамилией[27], носивший берет, куривший в школе в нарушение всех правил и инструкций и пытавшийся вести себя как представитель богемы, к чему даже десятилетние мальчишки в Шепердс-Буш относились с презрением — попросил нарисовать картину на тему любви.

Услышав это, Колин остолбенел. Он всегда так реагировал в ситуациях, когда не знал, как себя вести. Я между тем уже наносил на бумагу ярко-красные, оранжевые и бордовые мазки, в которых угадывались сердечки, розочки и прочие символы весьма расплывчатого для подростка чувства — именно таким было мое тогдашнее представление о любви.

Сегодня я бы, наверное, нарисовал наручники.

---

[27] Примечания: 27

Фамилия Нокер (Knocher) в одном из значений переводится как придира.

На работу нам было дано два часа. Время от времени я оборачивался, чтобы посмотреть, как там Колин: на другом уроке я бы подсказал ему дату или помог сделать вычисление. Но на рисовании от меня толку было мало.

Я обнаружил, что столбняк у Колина прошел, и он корпел над натянутым белоснежным листом, приблизив лицо почти вплотную к бумаге и высунув язык, как всегда делал, выводя свои каллиграфические буквы. На щеках у него появился легкий румянец. Когда я встретился с ним глазами и подмигнул, стараясь поддержать, он отвел взгляд и, не ответив мне, снова склонился над рисунком. Я пожал плечами и продолжил свою мазню.

К началу второго часа мое терпение полностью истощилось. Посмотрев на свой рисунок, я увидел, какой кошмар у меня получился — ни идеи, ни системы, ни намека на какую-либо технику. Как будто спелые помидоры перемешали со взбитыми сливками. Рисовать мне надоело, и я начал глазеть по сторонам в поисках развлечения.

Почти все уже закончили и переговаривались шепотом, хихикали, скатывали бумажные шарики, макали их в краску и пуляли в соседей. Но Колин, сидевший в четырех рядах от меня, все

еще рисовал что-то, почти прижавшись узкой грудью к листу. На лице замерла сосредоточенная гримаса. Кривые зубы, взлохмаченная шевелюра, непослушная челка сбилась на сторону. Кончик высунутого языка заострился: верный признак того, что он работает на пределе возможностей. Я хотел подойти и посмотреть на его рисунок, но пресловутая раскрепощенность Нокера на учеников не распространялась. Все должны были сидеть на месте и тихо ждать конца урока.

Наконец прозвенел звонок. Мою работу Нокер уже забрал, скривившись при этом, и теперь заканчивал обход класса. Я вышел из-за парты, но, вместо того чтобы пойти к выходу, направился к Колину, который по-прежнему сосредоточенно, со скрюченной спиной и видом страдальца водил кистью по листу бумаги. Как будто почувствовав мое приближение, он поднял на меня глаза. И тут… его как подменили. Я увидел на лице Колина признаки паники, легкой дрожью пробежавшей по всему его телу. Когда я подошел ближе, он начал затравленно смотреть по сторонам. Я и раньше видел, как он так делал, когда кто-нибудь из хулиганов загонял его в угол, но никогда прежде это не было адресовано мне. Я замешкался. И услышал за спиной голос Вилли Нокера:

— Урок закончен, Блю. Выйди из класса.

— Но, сэр, я…

— Ничего не знаю. Сейчас же выйди из класса.

Колин явно почувствовал облегчение и посмотрел на меня более приветливо. Пока я пятился к двери, он кивнул в направлении спортзала, проговорив одними губами:

— Встретимся там.

Нокер стоял уже около парты Колина. По инерции он продолжал говорить громким строгим голосом, которым обычно выгонял учеников из класса после звонка:

— Давай, Берден. Ты и вправду как тяжелая ноша, камень у всех на шее[28].

И тут случилось необъяснимое. Очевидно, торопившийся Нокер на секунду затормозил около Колина и, увидев рисунок, замер на месте. К этому времени класс уже практически опустел, только я задержался в ожидании Колина. Нокер взял листок с рисунком и повернул его к свету. Промелькнула недобрая улыбка, он взглянул на меня, стоявшего в дверях, потом снова на Колина, непривыкшего к излишнему вниманию и потому начавшего заметно нервничать. Теперь голос

---

[28] Примечания: 28

Фамилия Берден (Burden) переводится с английского как тяжелая ноша, бремя.

Нокера был мягче, от недавней категоричности не осталось и следа.

— Хорошая работа, Колин. Очень неплохо.

— Спасибо, сэр.

Окончательно меня сбило с толку то, что смущение Колина передалось Нокеру. Оно сквозило и в излишней поспешности, с которой он взял рисунок, и в том, что он положил его не поверх стопки, а засунул в середину и тут же ретировался к своему столу, неожиданно вернув голосу прежний тон:

— Ну и чего вы ждете? Что я вас поцелую?

— Нет, сэр. До свидания, сэр.

— Тогда исчезните.

Колин всегда побаивался учителей. Он тихо пошел к двери и тут опять увидел меня. Румянец еще не сошел с его щек. Пальцы у него были измазаны в краске, и он сделал вид, что собирается дотронуться до моих волос. Я засмеялся и увернулся, смахнув при этом краску с пальцев на его кипенно-белую нейлоновую рубашку. Получилось, будто рубашка забрызгана кровью из раны в сердце. Он погнался за мной по коридору, размахивая руками. Кто-то из учителей прикрикнул на нас, и мы, задыхаясь, перешли на шаг. У фонтанчика с питьевой водой Колин остановился,

чтобы смочить горло.

— А что ты нарисовал?

Он поднял голову, не глядя на меня.

— Да так. Ничего. Ерунду какую-то.

— У меня тоже ерунда. Похоже на блевотину.

Колин засмеялся.

— И у меня похоже.

Он провел рукой по моим волосам, измазав мне голубой краской челку и оставив крапинку на родимом пятне.

Всю перемену мы бегали, обливались водой, играли в салки и в футбол, приспособив вместо мяча скомканную газету, и к тому времени, когда прозвонил звонок, я успел забыть о странной сцене с Колином и Вилли Нокером.

Во второй половине дня у нас с Колином было разное расписание. Поточная система, возникшая скорее от недостатка аудиторий, чем от заботы об эффективности образовательного процесса, разлучала нас довольно часто. Поэтому в тот день я проходил в одиночестве мимо кабинета рисования, направляясь на урок… неважно, на какой-то урок. Заглянув внутрь, я обнаружил, что в кабинете никого нет. На столе Нокера лежала стопка рисунков. Я вспомнил о странной сцене, и мной снова овладело любопытство. Открыв

дверь, я вошел. Внутри пахло масляными красками, шоколадом и натопленными батареями.

Когда я протянул руку к стопке с работами, мне показалось, что я совершаю нечто запретное, как будто подсматриваю в замочную скважину за взрослой, закрытой от меня жизнью. Я начал перебирать листы, разыскивая рисунок Колина. Мне было приятно, что остальные работы оказались не лучше моей. Практически все вариации десятилетних художников на тему любви были бесформенны, включали розовые сердечки и плохо нарисованные женские фигурки, торчащие как палки.

Я узнал работу Колина до того, как прочел неизменно безупречную подпись в углу. Вернее, узнал изображенное на рисунке место, хотя он и лежал вверх ногами. Картина была написана яркими, сочными красками: преобладали чистейший желтый, леденцово-голубой и огненно-красный.

Подозреваю, что она была не многим лучше остальных. Но что-то в ней притягивало взгляд, что-то, заставившее Нокера остановиться и задуматься. Я не сразу это понял, мое детское воображение было сковано привлеченным к ней вниманием и смущением автора при моем приближении.

На картине был запечатлен остров — желтое пространство, окруженное водой. На горизонте виднелись холмы, чайки, пляж, все, что соответствует детскому представлению о побережье. В небе светило нелепое солнце, слишком круглое, слишком желтое. Ничего особенного.

Необычными были две маленькие человеческие фигурки на фоне большого острова. Словно две утлые лодочки в безбрежном океане бежали они по песку. На других рисунках люди были большими, нарисованными на переднем плане, в центре. А здесь — огромный, пустынный пляж и на нем две фигурки. Скорее всего, Колин весь урок вырисовывал этих крошечных бледных человечков, утопающих в буйстве окружающих сочных красок. Искривленные конечности указывали на то, что Колин, скорее всего, намеревался изобразить их бегущими. Две палки, торчащие из этих фигурок, соединялись — человечки держались за руки. Может быть, обнимались. У одного волосы были светлые, у другого — темные. Можно было догадаться, что художник пытался изобразить волны, набегающие на их розовые ноги.

Глядя на картину, я понял, что заставило Нокера остановиться. Несмотря на смазанную там и сям краску, на плохо выстроенную перспективу,

на отсутствие объема (я уже говорил, что восприятие у Колина было плоским), картина излучала свет. Дело было не в общем фоне, а в этих фигурках. В них, даже плохо нарисованных, таилась какая-то загадка. Их окружало бледное свечение, как будто они пребывали в своем собственном, обособленном мире. Лиц было не разобрать, но создавалось ощущение, что они выражают радость, это непонятным образом передавалось несколькими грубыми мазками. Черты лица мальчика с темными волосами угадывались с трудом. А у второго — блондина — наоборот, были четко прорисованные глаза, рот, нос…

Я сразу же понял, что блондин — это я (хотя рисунок не имел ни малейшего сходства со мной, Колин просто не сумел бы его передать), но было неясно, почему у меня черты лица четкие, а у Колина смазанные. Только спустя годы я сообразил, что Колин не видел себя со стороны и использовал мое изображение как зеркало, как отражатель звука. Как нить, ведущую во внешний мир.

Я вглядывался в рисунок. Это трудно объяснить. Конечно, с точки зрения живописи, он никуда не годился, но в нем было чувство, проступившее даже на бесчувственной бумаге. Именно то чувство, которое просил изобразить Нокер, — любовь. И

пусть, стоя тогда в классе, я не мог сформулировать все так, как сейчас, но на уровне эмоций ощутил это кожей, не умея выразить словами. И я понял, почему Колин смутился. Даже в десять лет дети — по крайней мере, мальчики — уже знают, что проявления любви нелепы, недостойны и лучше их избегать. У меня не укладывалось в голове, что заставило его нарисовать эту картину — все равно, что раздеться при всех.

Я смотрел на рисунок и чувствовал, как от смущения у меня стягивает кожу. Нокер, конечно, не подозревал, что там изображены мы с Колином, и брошенный на меня взгляд не мог содержать никакого намека. Но смущение — естественная, привычная реакция — прикрывало более глубокое чувство, в котором мне нелегко было признаться, чувство ответной любви, чувство благодарности за рисунок и за сильную искреннюю привязанность Колина ко мне. Я пытался избавиться от этого чувства, стряхнуть его, как собака стряхивает воду, пытался оставить только смущение и нечто вроде возмущения тем, что мое частное пространство было нарушено. Колину я ничего не сказал. Когда на следующей неделе работы раздали, я старался не смотреть в его сторону и ощутил облегчение, увидев, как после

урока он засунул рисунок в портфель раньше, чем кто-либо успел его увидеть. Как всегда, ему поставили четверку.

Дело в том, что в нашем случае — знаю, что так часто говорят применительно к отношениям между детьми и, как правило, беспочвенно, но у нас именно такой, теперь уже почти не встречающийся, случай — дружба была абсолютно искренней, в ней не было хитрости и уловок. Точнее, они были, но снаружи, в строго определенном для них месте и в соответствии с четко выработанными правилами. За игровым столом, на спортивных площадках. Все возможные осложнения происходили только там, и нашей дружбы не касались. Дружба оставалась кристально чистой и незапятнанной. Это может показаться странным, ведь детей (так же, как их загадочных дальних родственников — взрослых) переполняют желания, страсти, потребности и беспричинные недовольства. Сейчас мне уже трудно понять, как нам удалось выстроить стену и оградить себя от всей грязи и нечистот, или мне просто изменяет память.

Но одно несомненно — это было золотое время, дружба без задней мысли, без осложнений и жестокого расчета, дававшаяся нам так же легко,

как умение дышать, любовь, о которой мы не говорили, но которая всегда была с нами и ничем не омрачалась.

Однако ничто не вечно. В конце концов я его предал. Не из-за картины. Просто… просто так сложилась жизнь, не ведающая пощады. Я разбил его сердце: тонкий, нежный панцирь черепашки треснул от одного направленного удара. Конечно, я не хотел. Но это было неизбежно. С друзьями всегда так: независимо от того, насколько глубока любовь между вами, насколько вы близки и дороги друг другу, наступает время, когда вам приходится расставаться, приходится обрубать друзей. Ради того, чтобы не стоять на месте, ради того, чтобы двигаться вперед. Движение по жизни требует некоторой беспощадности, или… или ты, или тебя. Жизнь полна перемен, а они несут с собой боль.

Глава восьмая
Как правильно молиться

В четверг после работы я заехал к Веронике. До нашей свадьбы, которая пройдет в Храме всех святых на Рэйвенскорт-парк, в двухстах метрах от моего дома, осталось два месяца. Вероника скоро должна прийти из морга.

Отличная фраза. Неплохо звучит. «Моя жена вот-вот придет из морга. Да-да. Она, знаете ли, зарабатывает на жизнь, кромсая мертвецов. Зарплата не Бог весть какая, зато огромное удовлетворение от работы. А ведь это самое главное, не так ли?»

Что я делаю? Женюсь на женщине, которую знаю всего несколько месяцев и которая по сорок часов в неделю потрошит покойников как торговка рыбой — скумбрию. Я, наверное, сошел с ума. Тони правильно сказал: мне всего лишь тридцать, в запасе еще как минимум пять лет, пока ставки мои не начнут падать, пока я не начну терять форму, и не нужно будет срочно решать этот вопрос, пять лет до того момента, когда Обязательства окончательно возобладают

над Свободой.

Но она так нужна мне. Сидя в квартире, я представляю, как она едет в машине, тормозит на светофоре, стоит в пробке. Я умоляю светофор переключиться на зеленый, прошу машины расступиться и пропустить ее. Что за таинственная сила руководит мной? Не знаю, нравится ли мне такое развитие событий. Я не предполагал, что любовь подразумевает столь сильную зависимость и… уязвимость.

Да и любовь ли это? Может, просто помехи, исходящие от моих гениталий, искажают реальную картину? Не исключено. На то и существуют наши мужские гормоны, чтобы искажать восприятие. Как можно в этом разобраться? Как можно вообще быть в чем-то уверенным?

Я долго думал и пришел к выводу: предстоящая женитьба меня тяготит. Я ждал подходящего случая, чтобы сказать об этом Вронки, но он так и не подвернулся. В последний момент я всегда отступал. Не то чтобы я передумал. Просто мне трудно переварить масштаб этих событий.

А может, я ищу оправдание. Может, я не хочу, чтобы подходящий случай подвернулся. Господи! Ничего не понимаю. Я хочу, чтобы все разрешилось, так или иначе. Нет ничего хуже

неопределенности. А время идет, и дать задний ход с каждым днем все труднее. Жизнь специально так устроена. Чтобы нельзя было выпутаться. Отлаженный механизм выкручивания рук.

С церковью уже договорились, ресторан зарезервировали, приглашения разослали, машины заказали, медовый месяц оплатили. Сейчас дать задний ход просто… неудобно.

Я бесцельно брожу по квартире, безотчетно оценивая ее наметанным глазом профессионала. Я отговаривал Вронки от этой покупки. И место в северном Кенсингтоне не лучшее, и дом старый, после реконструкции. Кто живет под нами в такой же однокомнатной квартире, мы толком не знаем. Там проходной двор — постоянно кто-то входит и выходит, хлопая металлической дверью под невнятный скулеж дворняги с примесью бультерьера. В моем представлении это означает одно: дом поганый. Но Веронике он безумно нравится.

Главную роль в покупке сыграли *ощущения,* потому что на нее квартира произвела очень приятное, гостеприимное впечатление. Я пытался ей втолковать, что это всего лишь кирпичи и цемент, что она вкладывает деньги в недвижимое имущество, а не покупает плюшевого медведя. А

она о своем, о положительных вибрациях.

Люди все-таки чудные. Я понял это, занимаясь недвижимостью. Вот, например, на книжной полке стоит внушительный том «Анатомии» Грея. Чистая наука. А рядом «Астрология, судьба и будущее человечества». Чистое дерьмо. Как может человек быть таким умным и таким глупым одновременно?

Я часто обнаруживаю подобные противоречия и в самом себе.

Как бы то ни было, подруга Вронки — специалист по фэн-шуй сказала, что квартира замечательная. На том и порешили.

Я слоняюсь по комнате в ожидании Вероники, пытаясь понять, кто же из нас был прав, а кто ошибся. Рассматриваю другие книжки на полках, купленных в «ИКЕА», которые я помогал собрать. Здесь есть все, что пожелаете: буддизм, суфизм, дзен, вудуизм, джайнизм. Еще есть «Дневник Бриджит Джоунз», «Интеллект чувств», «Мужчины с Марса», «Женщины с Венеры». Книги Остин, Бронте, Элиот, Вульф (Вирджинии) и Вульф (Наоми). «Джаз» Тони Моррисона. Непрочитанная «Чудовище и блондинка» Марины Уорнер. Средней паршивости джентльменский набор тридцатилетней женщины. В общем, неплохо.

Гораздо лучше стандартов Шепердс-Буш.

Теперь, собственно, квартира. Конечно, красивые большие окна, деревянные полы, приличного размера кухня, высокие потолки, отреставрированный камин. Все прибамбасы, от которых барышни млеют. Но есть вещи, вызывающие у меня беспокойство. Во-первых, агентство, через которое квартира куплена: «Бартлет и Багл». У меня нет и тени сомнения в том, что БИБ — самые скользкие, ненадежные и сомнительные агенты в Западном Лондоне; в моих словах есть доля восхищения. Грязный Боб — папа римский по сравнению с их домовладельцами. БИБ — или Бамфакен и Биллет, как мы зовем их между собой — выставляют квартиры на полпроцента дешевле, чем остальные агенты. Конечно, есть вероятность, что по чистой случайности среди того, чем они торгуют, попадается приличное жилье, и, возможно, эта квартира как раз тот самый случай. Но мне не нравится сочетание высохших деревьев во дворе и оштукатуренного, свежевыкрашенного подъезда. Уж больно хороший способ прикрыть всевозможные трещины.

Кроме того, я никогда ничего не слышал о домовладельце, хотя занимаюсь недвижимостью в этой части города около десяти лет, а подо-

зрительно низкая плата на содержание дома в последние пять лет наводит на мысль: что-то не так. Все указывает на то, что нас ожидает неприятный сюрприз в виде покосившегося флигеля или протекающей крыши, или поехавшего фундамента. Но мне импонирует, что она поступает так, как ей хочется, покупает квартиру, которая ей нравится. Она очень независима, и я отношусь к этому с уважением. До определенного предела, конечно.

Я вздыхаю и смотрю на часы. Она опаздывает. Не могу сказать, что я в восторге от программы на сегодняшний вечер. Однако, поскольку Тони будет моим шафером, я решил, что надо наладить мосты между ним и Вероникой. Во время встречи в пабе первые полчаса Тони пытался очаровать Веронику. Она упорно не реагировала, он обиделся, и они практически не общались. Сегодня я постараюсь по возможности залатать образовавшиеся бреши.

Правда, с самого начала все пошло не по плану. Мы собирались втроем посидеть в «Эйнджелси». Я хотел, чтобы мы немного выпили, расслабились, и тогда бы я завел разговор о шафере. Потом вдруг Вероника выяснила, что некий Кристофер Кроули, которого ее подруга (та самая, что

одобрила покупку квартиры) считает гением спиритизма, выступает в Кенсингтон-Холле как раз в вечер нашей встречи, то есть сегодня. Это только на час. Так что можно она сходит на выступление, а потом присоединится к нам? Я не был против, но когда я сказал об этом Тони, он решил тоже пойти на выступление. Сначала я решил, что он шутит, но оказалось, нет. И вот мы встречаемся на Черчилл-Армз, и *все вместе* идем слушать гуру, а после этого отправляемся в «Эйнджелси». Я пытался его отговорить, но он уперся. Вероника, наивная дурочка, пришла в полный восторг и даже сказала, что, наверное, ошиблась в Тони. Знала бы она, что у Тони-Бриллиантового есть еще одна кличка: Тони-доведу-до-ручки.

Я слышу, как поворачивается ключ в замке. Дверь открывается, и вбегает Вероника. Выглядит очень элегантно: как будто весь день мирно провела в банке за компьютером. Прическа идеальная, волосок к волоску. Улыбка на лице выражает готовность помочь: приветливая, но не слишком открытая — маленькие зубки почти не видны. На меня едва взглянула. А я невольно посмотрел на ее руки: не осталось ли на них следов крови.

— Привет, малыш, — бросает она на ходу. — Ко-

торый час?

Придаю голосу некоторую суровость:

— Я тоже рад тебя видеть. Малыш.

Она тормозит, разворачивается и приближается ко мне с виноватым выражением на лице. Целует меня в губы, потом еще раз и, отпустив, одаряет очаровательной улыбкой, после чего продолжает прерванный поход в ванную.

— Прости, Фрэнки. У меня был тяжелый день. Уверена, что подробности будут тебе неинтересны. Это не для твоей тонкой организации. Я сама знаю, что опоздала. Можешь посмотреть, который час?

Я заглядываю в кухню, где висят единственные в доме часы. Вероника между тем уже успела снять пальто и туфли и стоит у двери в ванную.

— Семь.

— Хорошо. Значит, у меня пятнадцать минут. Тони не передумал?

— По-моему, нет. Мы встречаемся у Черчилл-Армз.

Из ванной раздаются странные клокочущие звуки. Из-за двери слышен голос Вероники:

— Какой он милый. А ведь я сначала подумала… Боже, что это?

— Что?

— Вода, она… желтая. Нет, *коричневая.* Это невозможно!

— Дай ей немного стечь.

Водопроводный рев достигает апогея. Через минуту-другую до меня доносится звук спускаемой в унитазе воды. Я изучаю тонкие, толщиной с волос, трещины на потолке, они вылезают из-под карниза.

— Ну, как вода?

— Уже лучше, хотя и попахивает тухлыми яйцами. Я все же быстренько приму душ. Ты можешь принести мою книжку? Она в сумочке. Такая красная обложка. «Как правильно молиться».

— Сейчас.

— Положи, пожалуйста, около двери.

Я кладу книгу под дверь и усаживаюсь на кухне. На столе лежит небольшая брошюрка с изображением солнца или какого-то сгустка света на обложке. Надпись внизу гласит: «Кристофер Кроули и Всемирный университет спиритизма: Власть Символа и Зов Мифа».

На маленькой фотографии сам Кроули: симпатичный белый мужчина, загорелый, в хорошо сшитом сером костюме. У него голливудская улыбка, хотя со слов Вероники я понял, что родом он из Центральной Англии.

Я пробегаю глазами по тексту на обложке. Слышно, как сливается вода в ванной. Я продолжаю читать. Оказывается, Всемирный университет спиритизма проводит несколько семинаров в этом месяце.

«**Позитивное мышление. Как позволить сознанию воспринимать мир позитивно. Техника позитивного восприятия (ТПВ). Как обезвредить негатив, исходящий от окружающих. Как научиться мыслить эффективно.*

** Искусство построения отношений. Четыре основных вида отношений. Как избежать осуждения других и не осуждать самому. Десять принципов построения успешных, счастливых и гармоничных отношений.*

** Истинный смысл Лидерства, Познания и Жизни. Истинная сила в умении быть самим собой. Загляните внутрь себя. Найдите руководство к действию не снаружи, а внутри.*

** Уважайте себя. В этом секрет неизменного успеха. Найдите свое скрытое, духовное „я“. Специальные упражнения научат вас принимать себя.*

** Научитесь управлять собой. Невозможно управлять внешними обстоятельствами, но можно научиться приноравливаться к меняющимся обстоятельствам. Этой способностью*

вы сможете управлять».

Я зеваю и откладываю брошюру. Все это кажется достаточно разумным. Не понимаю, почему это так меня раздражает. Наверное, потому, что угрожает моему взгляду на мир, моей философии и религии, которые заключаются в следующем: Никто Ничего Не Знает. Возможно, я ошибаюсь. Возможно. Если никто ничего не знает, то я не исключение. А это значит, что с некоторой вероятностью каждый знает очень много.

Я снова смотрю на часы, иду к двери и кричу:

— Семь пятнадцать. Нам пора выходить.

И тут же из-за двери появляется Вероника, как будто стояла там наготове. Она порозовела, от нее пахнет сандаловым деревом, точнее, так, как, по моему мнению, должно пахнуть сандаловое дерево, хотя я его никогда не нюхал. От пара кончик носа морщится. Эластичная мини-юбка оставляет ноги почти открытыми. Сверху белая блузка из какого-то прозрачного материала. Гель сделал волосы чуть темнее обычного. Она выглядит очень сексуально, припухлые веки несколько отяжелели после душа. В постели Вронки потрясающая, может быть, это компенсация за день, проведенный рядом со смертью. Она улыбается мне мимоходом. По глазам видно,

что думает о чем-то своем, проверяет, все ли на месте. Мобильный телефон взяла? Кошелек не забыла? Тампакс — он может понадобиться. Пару резинок, на всякий случай. Ключи. В руках она все еще держит книгу «Как надо молиться». Это раздражает меня больше, чем то, что я прочел в брошюре Кроули. Вронки направляется к двери. Двигается она несколько скованно, как будто решает, какую ногу куда поставить, прежде чем опустить на пол, как Бемби, делающий первые шаги под руководством кролика Тампера. Не очень изящно, трогательно-неуклюже.

— Ладно. Пошли.

Сверху она надевает красную шерстяную куртку до колен, немного расклешенную книзу, и открывает дверь.

Пока мы спускаемся по лестнице, я спрашиваю:

— Будешь сегодня молиться?

Я говорю это противным тоном. Даже с раздражением. Но остановиться почему-то не могу. Вероника не обращает на меня внимания.

Мы садимся в «бимер», окунаясь в смешанный запах кожаных сидений и того, как, по моим представлениям, должно пахнуть сандаловое дерево. Вронки снимает куртку и бросает ее на

заднее сиденье. На глаза мне снова попадается красная книжечка. Она по-прежнему бесит меня. Я чувствую, что, как никогда близок к конфликту. Вронки достает упаковку жвачки без сахара.

— Ты не помолишься, прежде чем начнешь жевать?

На этот раз она поворачивается ко мне, рот приоткрыт.

— В чем дело, Фрэнки? Тебе плохо оттого, что я взяла с собой книгу? Это оскорбляет твою приверженность идее поросячьего невежества?

Я завожу мотор. Мне одновременно и хочется ссоры и не хочется.

— Вовсе нет. Просто я большой поклонник умных книжек. Тебе это известно.

Ударение на умных.

— Вот как. А эта недостаточно умна для того, чтобы ее читала твоя невеста? Я тебя компрометирую?

Разворачиваюсь по направлению к Лэдброук-гроув. С боковой улицы передо мной пытается вклиниться эскорт, мятый, как будто по нему ходили, но я не пропускаю. Водитель открывает окно и что-то кричит мне. Я показываю ему красноречивую комбинацию из пальцев и упорно продолжаю двигаться по направлению к пере-

крестку, потом резко торможу. Сам не понимаю, из-за чего я так завелся. Просто что-то внутри меня требует выхода.

— Нет. Но мне кажется, молитва — способ успокоиться для тех, в ком надежда преобладает над разумом.

— Ты хочешь сказать, что я тупая?

— Я не говорил, что ты…

— Конечно, я тупая. Именно поэтому я высококвалифицированный специалист. А ты торговец недвижимостью.

Очень долгая пауза. Мы едем вверх по Лэдброук-гроув к развязке с Холланд-парк-авеню. В то время как я пытаюсь понять, что же меня так гложет, Вероника нарушает молчание:

— А ты когда-нибудь молишься?

— Молюсь? — переспрашиваю я, как будто не понимаю, что она имеет в виду.

— Да. Встаешь на колени. Смиряешься. Просишь о помощи.

— Мне помощь не нужна. Я в состоянии сам о себе позаботиться.

Даже удивительно, сколько злобы и противодействия в моих словах. Вероника вжимается в сиденье. Я начинаю суетиться, настраивать радио. Мы поворачиваем на Ноттинг-Хилл-Гейт.

Пора исправлять положение.

— Прости, Вероника. Я сегодня слегка на взводе. Решается вопрос о месячном бонусе, а он был бы не лишним при наших свадебных расходах. Траты предстоят немалые. И ради чего все это? Мы постоянно срываемся друг на друге с тех пор, как решили пожениться. Честно говоря, я срываюсь на всех. Наверное, это стресс.

Вероника молчит. Я продолжаю лепетать.

— Сейчас у нас непростой период. Но он неизбежен. Все через него проходят. Я думаю, это неотъемлемая часть процесса в целом. Просто надо научиться жить в… новых обстоятельствах. Важно пропустить их через себя. То есть, если ты по-другому начнешь смотреть на мир, пройдя через это испытание, значит, ты изменился, так ведь?

Вероника по-прежнему молчит. Теперь уже я не знаю, что еще можно сказать, и тоже замолкаю. Через несколько секунд она начинает говорить все тем же спокойным, мягким тоном:

— Ну, так что?

— Что?

— Ты молишься хотя бы иногда?

— Ты все еще об этом?

— Я только второй раз спросила.

— Конечно, нет. Кому молиться? Санта Клаусу? Рождественской звезде?

— Когда ты последний раз молился?

— Господи, мы можем поговорить о чем-нибудь еще?

Последний вопрос я выкрикиваю, и довольно громко. Вероника снова вжимается в сиденье. Я разозлился не на шутку, внутри словно все оборвалось. Неожиданно для себя я чувствую, как по щеке катится слеза. И злость превращается в нечто другое, гораздо более мягкое и печальное. Я начинаю говорить, когда мы уже подъезжаем к Черчилл. С ходу задом припарковываюсь в небольшое пространство между машинами. Мы продолжаем сидеть в салоне. Мой голос еле слышен.

— Я давно не молился. Наверное, лет десять.

— Не помогло?

— Нет.

— О чем ты просил?

Она еще не успела задать этот вопрос, а я уже бормочу, сухо и бесчувственно:

— Просил, чтобы мой отец умер.

Вероника не шевельнулась. Переплетенные пальцы рук крепко сжаты. Я не хочу продолжать этот разговор. Сквозь окно паба вижу, как Тони

направляется к свободному столику. Хочу выйти и присоединиться к нему, поболтать о футболе. Выпить пива, позлословить о девицах. Я не хочу… выворачивать мозги наизнанку. Но почему-то не могу двинуться с места.

По мере того, как воспоминание всплывает из глубины и вырывается наружу, я чувствую, как внутри у меня что-то сжимается, скукоживается. Отец на больничной койке с розовыми ободками, желтое, напряженное лицо на подушке, рот открыт, из него то и дело вылетают ужасные звуки. Пытаюсь сдержать слова, но это оказывается выше моих сил, как будто их высасывает вакуум через разбитый иллюминатор самолета.

— У него был рак легких. Наверное, из-за угольной пыли. Он никогда не курил. Его мучили боли. Сильные боли. Я не мог на это смотреть.

Зачем-то начинаю включать и выключать радио указательным пальцем. Толку никакого. Наконец продолжаю будничным голосом, словно сдаю белье в прачечную:

— Я пошел в церковь, преклонил колена и стал молить о том, чтобы папа умер. Я долго молился. Привел все доводы в пользу того, чтобы Господь отпустил его. Рассказал, как он старался быть хорошим отцом и что это у него получалось. Хоть

он и не мог дотронуться до меня. Такой был застенчивый. Пообещал, что буду верить в Бога до конца моих дней, если мучения отца прекратятся. Предложил взять что-нибудь у меня взамен. Руку, например. Потому что папе было очень больно.

Вероника кивнула. Я ее не замечал. Голос сорвался и ослаб. Уличные огни окрасили все вокруг в желтый цвет. Ее слова преодолели расстояние между нами:

— Вы с отцом были близки?

Я кивнул.

— Думаю, да.

— Мне бы хотелось с ним познакомиться.

— Мне тоже.

Я смотрел, как светофор переключался с зеленого на желтый, потом на красный. Теперь мой голос уже не звучал буднично.

Не всегда получается контролировать тембр своего голоса.

— Знаешь, он был моим лучшим другом.

У меня такое чувство, будто я сам только что это понял. И осознаю — так оно и есть. Наконец я посмотрел на Веронику.

— Дело в том, что я не знал этого раньше. Мы оба не знали. Пока он не умер. Ведь о таких вещах обычно с отцом не говоришь, правда? По крайней

мере, я. Не говорил.

Вероника собирается выйти из машины, прервать болезненный для меня разговор. Но теперь уже я удерживаю ее за руку. Она сдвинула невидимую плиту внутри меня, словно выпустила из бутылки джина.

— Нет. *Послушай.* Я простоял в церкви целый час. На коленях. До этого я там никогда не бывал. Между прочим, именно в этой церкви мы собираемся венчаться. На Рэйвенскорт-парк. Там были маленькие красные коврики для молитв, но я ими не воспользовался. Хотел, чтобы Бог понял, как это важно для меня. Что мне не нужен коврик под колени. Когда я вышел оттуда, на коленках была кровь. А в одной еще и большая заноза застряла.

Понимаешь, я думал, что это поможет, странно, ведь я не был верующим в обычном смысле слова. Считал, что все это ерунда. Но я так долго молился. Так искренне. Потом я вышел, оглянулся, посмотрел на церковь и подумал: люди построили такое количество этих чертовых церквей — тысячи, миллионы. Не может быть, что за этим ничего не стоит. Они же не дураки были.

Я качаю головой, не могу сменить тему. Не могу смотреть на Веронику. Не могу замолчать.

— Понимаешь, мой отец был хорошим человеком. Всю жизнь работал, никогда никому дурного слова не сказал. Кто как ни он заслужил Божью милость, если на то пошло. И я попросил за него. Я не молил ни о чем *сверхъестественном*, например, чтобы он выздоровел, это было бы чересчур, я просто попросил, чтобы он ушел быстро и безболезненно. И что?! Мои коленки истекали кровью, клянусь тебе. От долгой молитвы разболелась голова. Возвращаясь в больницу, я думал, что он уже тихо скончался. Глупо, конечно, но я был в этом уверен!

Слова душили меня, и я прервался. Мне вдруг расхотелось продолжать.

Вероника заговорила так нежно, с таким участием. Но сказала только одно слово:

— Фрэнки…

Я почувствовал, что по щекам текут слезы. И осознал, что должен закончить рассказ. Выбора не было. Она повторила:

— Фрэнки.

— Я вернулся в больницу, шел по коридору и, когда до отцовской палаты было еще метров сто, услышал этот жуткий вой. Ничего ужаснее в своей жизни я не слышал. Похоже на… стон привидения. Все в коридоре смотрели в сторону

его палаты. Я подошел ближе и понял, что кричит мой отец. А потом разобрал, что он кричит мое имя… — И прошептал очень, очень тихо: — Фрэнсис, Фрэнсис.

Мимо прошла служительница стоянки, заглянула в машину. Кивнув мне, она улыбнулась, я механически улыбнулся в ответ. Потом сказал:

— Он никогда не называл меня Фрэнки. Не знаю, почему. Думаю, это неважно.

Вижу, как Тони курит сигарету у окна в пабе. Он разговаривает с девушкой, кладет ей руку на плечо. Я снова поворачиваюсь к Веронике.

— Он еще что-то кричал, но я не сразу расслышал. А потом разобрал: «Прекратите это! Прекратите! Прекратите!», как будто он был чем-то *возмущен.* Как будто кто-то нарушил его *права.* А ведь Джозеф был на самом деле гордым человеком, очень гордым. Его звали Джозеф. Джо Блю. И знаешь, что я сделал? Можешь себе представить, что я сделал?

Вероника напряженно слушает. Качает головой.

— Я ушел. Развернулся и ушел. Не дойдя нескольких метров до его палаты. А голос звенел в ушах. Больше к нему некому было прийти — его навещали только я и мама. Кроме меня, у него

не было друзей. Но, понимаешь, я не смог этого вынести. Он умирал целую неделю. Но я не мог… я просто не мог… — Я почти прошептал это, а потом злость вернула мне голос. — Я больше ни разу не проведал его. Потому что он уже не был моим отцом. Он был сгустком боли. Боли, старости и одиночества. Вот такая *чертовщина.* Такая обыкновенная *мерзость жизни.*

Я откинулся на сиденье, с трудом приходя в себя. Вероника дотянулась до моей руки и стала водить по ней указательным пальцем. Ощущение очень приятное. Я никогда никому не рассказывал об этом. Ни Ноджу, ни Колину, ни Тони, ни Мартину Баклу, ни Нивену Бендеру. Так почему вдруг рассказал Веронике? И почему именно сейчас?

Потому что она патологоанатом. Потому что она знает, что там *внутри.* Она забирается туда при помощи своих маленьких острых скальпелей.

И тут мы оба подпрыгиваем на месте от громкого стука в окно машины.

Глава девятая
Безжалостная Немезида Кристофера Кроули

— Эге-гей!

Это Тони. Он явно хорошо принял. По запаху чувствуется. К тому же его шатает. По тому, как он сопит, пыхтит и утирает нос, можно догадаться, что он пропустил не одну рюмку и уже готов выяснять, кто кого уважает.

Я тут же беру себя в руки. Мне приходит в голову, что я делаю это каждый раз перед встречей с друзьями. Одно движение лицевых мышц — и я превращаюсь в самоуверенного, крутого, дерзкого всезнайку.

— Тони-Бриллиантовый!

— Фрэнки, чертов Выд… о, простите, просто Фрэнки. Офигительно невероятно честный Фрэнки. Девушка не знает твоего прозвища? Вронки, не надо обижаться. Пошли. Пошли, выпьем пива. У нас еще пятнадцать минут до того, как Махатма Ганди раскроет нам тайну мирозданья. Он осчастливит весь мир. Конец сомнениям и неуверенности. Два пива и «Бейлиз» для тебя,

куколка. Ну хватит тут обжиматься-миловаться. Ненавижу женатиков. Опаньки. Вы ведь еще не того? Не женились?

Он одаряет Веронику одной из своих самых очаровательных улыбок: полумальчик, полусатир. Я вижу, как она замирает, думает, наконец сдается и начинает смеяться. Тони галантно открывает дверцу и протягивает Веронике руку. Расстегнутый ворот рубашки позволяет увидеть золотой амулет с рогами и ладонью, который он никогда не снимает. Вероника сжимает его ладонь — большую, мягкую, с черными островками волос на тыльной стороне, — и Тони начинает, спотыкаясь, продвигаться к входу в паб.

Я прихожу в себя и усмиряю свои эмоции, запихивая их в дальний ящик сознания. С тех пор, как я вышел из машины, мне удалось совладать с собой, теперь все опять под контролем. Я три-четыре раза провожу рукавом пиджака по лицу, пока не исчезает соленая влага, потом вхожу в зал. Тони с Вероникой уже сидят за столиком в углу. При моем появлении Тони начинает размахивать руками и громко звать меня, так что другие посетители паба оборачиваются.

— Фрэнки!

Я подхожу к столику и сажусь, потом залпом

выпиваю пиво, которое Тони уже успел для меня заказать. На нем красивый льняной пиджак шоколадного цвета и (невероятно, но факт) коллекционная голубая рубашка от кого-нибудь типа Версачи. На ногах мокасины от Гучи с квадратными носами. Он как заведенный трещит про свою работу.

— Парикмахер — это не просто человек, который стрижет волосы. Это *гораздо* больше. Вы понимаете, о чем я? Понимаете? Может, звучит претенциозно. *Не знаю.* Но, приходя в салон, люди хотят попасть… в другой мир. И это то, что я им даю. Немного волшебства, милая беседа, новая внешность. На прошлой неделе у меня был Эван Макгрегор, потрясающий мужик, на самом деле он скорее мой приятель, чем клиент. Так вот, он сказал мне: «Я прихожу сюда не для того, чтобы постричься». Дело в атмосфере, в том, *как* это организовано. А я здорово умею создавать атмосферу. Да, и еще Алекс — Александр Маккуин — зашел вчера постричься *наголо.* Вы его знаете? Ну, дизайнер. Да? Он отличный парень, никакой распальцовки, даже намека на это. Так вот, *он* сказал примерно то же самое. Сказал, что ему у нас… *комфортно.* Так и сказал. Комфортно! Вот я и говорю: это одновременно ремесло и творче-

ство. Кстати, Вероника, у тебя чудесные волосы. У кого ты стрижешься? Тебе идет. Разве что чуть-чуть снять на затылке. Можешь повернуться на секунду?

Вероника поворачивается, и Тони кладет руку ей на шею, легким движением поднимает волосы и проводит пальцем по кончикам. Вероника едва заметно вздрагивает.

— Не хочу обидеть того, кто тебя стриг, но здесь немного неровно. Я бы сделал чуть покороче, покомпактнее, что ли. Заходи ко мне. Тебя, красотка, постригу бесплатно.

Все идет хорошо. Вероника чувствует себя гораздо спокойнее, чем в прошлый раз. Движения мягкие, веки полуприкрыты. Я доволен. Внезапная волна уверенности в себе заставляет меня перегнуться через стол поближе к Тони:

— Есть разговор, это важно.

Тони отхлебывает из стакана и ставит его обратно на стол. Начинает теребить золотые рога на шее. Он смотрит на меня и одновременно как будто мимо. Тони вообще часто переключает свое внимание с близлежащих предметов на отдаленные. Он всегда контролирует, нет ли поблизости кого-нибудь более достойного.

— Мы с Вероникой хотели спросить. То есть

нам было бы очень…

И тут Тони переводит взгляд в противоположный конец паба.

— Ричард! Привет!

Опять смотрит на меня. Ясно, что он слушал вполуха.

— Прости, Фрэнк. То есть Фрэнки. Это Ричард Блоук. Из «Биг-Грин-Три-Томатос». Отличный парень. Я сейчас. Вернусь через минуту.

С этими словами он вскакивает и начинает обнимать длинного худого человека, в смущении стоящего около барной стойки, в котором я после некоторых усилий распознаю вокалиста второсортной рок-группы. Какое-то время мы с Вероникой молчим. Потом я говорю:

— Обычное дело. С ним нельзя ни по улице пройти, ни в паб зайти, с ним только с места двинешься, а он уже встретил знакомого. Максимум, на что можно рассчитывать, это на десять минут непрерывного общения.

— Неудивительно. Он боится.

Чувствую, что снова начинаю потихоньку закипать. Я уже успел забыть, как нежна она была в машине.

— Почему ты во всем что-то видишь? Просто он пользуется успехом. *Нравится* людям.

— Нет.

— Что нет?

— *Не нравится.*

— Потрясающе. Я женюсь на докторе Катце.

Доктор Катц — герой моего любимого мультика.

Он психотерапевт. К сожалению, Вероника, похоже, не уловила смысла. Как раз в этот момент возвращается Тони. Он показывает на часы:

— У Ричарда сегодня выступление. Ему надо бежать.

Я бросаю взгляд в сторону столика, за которым сидит этот костлявый тип. Его приятель только что принес ему еще одну кружку пива. Ричард Блоук не торопясь усаживается и вовсе не спешит пить свое пиво. Тони показывает на часы:

— Думаю, нам пора.

Мы встаем. Тони выглядит слегка растерянным и сбитым с толку, но быстро берет себя в руки. Пока мы идем к выходу, он спрашивает Веронику:

— И кто же этот чудо-человек?

Вероника отвечает:

— Кристофер Кроули. Я о нем немного знаю. Он написал несколько книг о мифах и символах. Моя лучшая подруга, Гонория, считает его гением. Но обещать ничего не могу. Просто мне интересны

различные взгляды на мир.

Пока Вероника рассказывает, Тони возится со своим органайзером, потом говорит:

— Ясно.

Когда она отходит достаточно далеко, он с ухмылкой шепчет мне на ухо:

— Любопытно на это посмотреть. Кристофер Кристалломагический, сукин сын из Калифорнии.

Это подтверждает мои подозрения насчет того, что Тони еще не созрел для Духовного Пробуждения.

Мы пришли в Таун-Холл. Лекция проходит в небольшом зале рядом с парковочными службами. Стены, выложенные красным кирпичом, не очень способствуют одухотворенности. Тони отлучается в туалет, я подозреваю, не для того, чтобы отлить. Он уже близок к среднетяжелой стадии опьянения.

В зале расставлено около семидесяти серых стульев. А перед ними — небольшая сцена. Едва заметные следы легкой белой дымки и негромкое, монотонное звучание медитативной музыки. Занято примерно половина мест. Публика самая обыкновенная. Разве что женщин больше, чем мужчин, и они помоложе: мужчинам, похоже,

всем за сорок.

Тони, вернувшийся из туалета и пыхтящий, как проголодавшийся дракон, и я — определенно самые молодые здесь мужчины, при этом наберется пяток женщин моложе нас. Одинокий постер на стене возвещает: «Кристофер Кроули: Власть Символа и Зов Мифа». А под ним краткая биография. Оказывается, последние двадцать лет Кроули провел на западном побережье Штатов, но вырос в Бирмингеме.

В этот момент на сцене открывается боковая дверь. Выходит человек в отвратительном костюме. Дешевый светло-коричневый хлопок, широкие блестящие лацканы, хранящие следы поглощенного завтрака.

Но самой потрясающей деталью костюма является *двойной* ряд штрипок, параллельно пришитых к поясу брюк. И через каждый ряд продет дешевый широкий ремень. На ногах серые ботинки, цветом и формой напоминающие кефаль.

— Это он?

В зале раздаются жидкие аплодисменты.

Человек в дрянном костюме подкручивает микрофон и начинает говорить мягким, несколько женоподобным голосом. Он представляется Джоном Джереми Воном из Всемирного универ-

ситета спиритизма. Поблагодарив публику за проявленное терпение, выражает признательность Комитету по организации досуга, проводит тыльной стороной ладони по лацканам пиджака, оставляя на них еще больше грязи. А затем, между прочим, делает знак рукой в сторону бокового выхода на сцену и с важностью провозглашает в барахлящий микрофон:

— А теперь поприветствуем нашего гостя из Оранж-Каунти, Калифорния. Перед вами Кристофер Кроули.

Из-за кулис появляется высокий, гладко выбритый блондин. Как и на фотографии, выглядит он потрясающе, будто с обложки рекламного журнала — молодой, подвижный, хотя очевидно, ему за сорок. Одежда безукоризненно выглажена. На джинсах почему-то стрелка впереди. Располагающая, легкая, непринужденная улыбка. Странным кажется только то, что на ногах нет ни носков, ни ботинок. Спортивная рубашка с коротким рукавом, ровный загар.

Следы бирмингемского акцента еще различимы, но почти погружены в рокот американской картавости. Голос достаточно звучный, чтобы обойтись без микрофона, поэтому Кроули его выключает.

— Спасибо, Джон Джереми. Добро пожаловать в Таун-Холл, и благодарю всех присутствующих за то, что вы решили провести этот вечер здесь. Надеюсь, не разочарую вас. Думаю, пять баксов за билет я смогу отработать.

Кто-то смеется. Кроули обводит широким жестом зал.

— Сегодня я хочу поговорить о мифах и символах, о их влиянии на нашу жизнь. Но вам потребуется немного терпения. Я собираюсь провести маленький эксперимент, в котором вы будете моими подопытными кроликами.

Он улыбается широкой улыбкой хозяина, припасшего рояль в кустах.

— У кого-нибудь есть пятифунтовая купюра?

В зале поднимается довольно много рук, в том числе и рука Вероники. Я нащупываю кошелек и, обнаружив угол пятифунтовки, выглядывающий из потрепанной кожи, вскидываю руку. Тони следует моему примеру и говорит мне вполголоса:

— Обожаю фокусы.

Произносит он это невнятно, но разобрать можно. Уже около тридцати человек подняли руки, все улыбаются, а Кроули ходит между рядами, собирает пятифунтовки из протянутых рук, складывая их в металлическую коробку размером с

небольшую урну для бумаги. Подойдя к нам, он наклоняется прямо надо мной. От него пахнет океаном. Приятный запах.

Минут через пять у него уже пригоршня банкнот, думаю, фунтов сто пятьдесят. Он возвращается на сцену и садится на стул, коробку с деньгами ставит перед собой. Потом неторопливо достает спичечный коробок, вынимает одну спичку, зажигает ее и бросает в железную коробку. Деньги мгновенно загораются. Из коробки вздымаются языки пламени и валит дым. Несколько человек вскрикивают от изумления, но постепенно аудитория начинает аплодировать дерзости его выходки.

— Итак, что вы сейчас наблюдали? — спрашивает Кроули тихо, но внятно. При этом он как будто замер на стуле.

— Грабеж среди бела дня, — достаточно громко говорит Тони, сидящий слева от меня.

Кроули продолжает. Залив дымящуюся коробку водой, он прижимает ладони к груди и вновь обращается к аудитории.

— Только что вы наблюдали процесс уничтожения *символа.* А эмоции, которые вы испытали — неважно, что это было, смех или ярость, — свидетельствуют о силе воздействия символа на

нашу жизнь. Все, буквально все в нашей жизни — символ. Каждая вещь — всего лишь система значений, которые мы сами задаем и ценность которых сами же потом определяем. Значения — и *есть* ценности.

Я чувствую, как Тони ерзает на соседнем стуле, он явно раздражен. Слышу, как он угрожающе бормочет:

— Дерьмо, а не фокус!

Для Тони деньги — святое. Подозреваю, что именно к этому и ведет Кроули.

Он неплохо придумал с поджиганием денег, но его самодовольство меня раздражает. И потом я не большой поклонник Джона Денвера[29], ковбойских образов и прочей сопутствующей ярмарочной мишуры, особенно учитывая, что во всем этом не меньше двадцати процентов от голливудских штучек Джеспера Кэрротта, актера, который мне никогда не нравился.

— Что такое деньги? Это бумага, которую принято считать эквивалентом ценности. Это сгусток энергии. Это самая святая ценность нашего общества. Однако их ценность — не более, чем нами же принятая условность. И все в мире имеет

---

[29] Примечания: 29

Джон Денвер (1943–1997) — американский кантри-певец и композитор (наст. имя Джон Дойчендорф-младший).

лишь то значение, которое мы ему приписываем. Но мы склонны расширять его, раскрашивать, отделять от первоначального смысла, затем снова возвращать.

И в таком духе минут на пятнадцать. На самом деле это интересно, несмотря на режущую глаз заутюженную складку на джинсах. Смысл его речи сводился к тому, что, по сути, мы ни черта не знаем и создаем что-то из ничего, чтобы заполнить пустоту. По большей части наши творения бессмысленны, но *именно поэтому* мы так страстно в них верим. Ведь если *признать* их бессмысленность, можно свихнуться.

Я уже увлекся ходом его рассуждений и перестал обращать внимание на то, как Тони раздраженно сопит носом. Потом Кроули поворачивается к аудитории и спрашивает:

— Может быть, кто-нибудь уже сейчас хочет задать вопрос?

Краем глаза вижу, как вверх взмывает рука Тони. Он напрягся как струна. Кроули поворачивается к нему, добродушно улыбаясь.

— Да. Пожалуйста, молодой человек в красивом пиджаке.

Тони слегка наклоняется, поправляет воротник.

— Вы можете вернуть мне мои пять фунтов?

Вероника гневно смотрит на Тони, потом на меня.

Я шепчу ей на ухо:

— Не волнуйся. Тони любит разыгрывать.

Вероника, похоже, мне не поверила. И правильно сделала. Все зрители передних рядов сворачивают шеи, чтобы увидеть, кто это сказал. Тони их даже не замечает. Мне знакомо такое его состояние. Сейчас он разделает Кроули под орех. Или будет разделан. Уже стоя он смотрит на пепел от банкнот.

— Простите? — переспрашивает Кроули.

— Я сказал, что хочу получить свои деньги.

Очень спокойно и уравновешенно. Вежливо.

Кроули одаряет Тони улыбкой, светящейся внутренним спокойствием и чистотой, обреченно качает головой. Мне хочется крикнуть ему: «Нет, нет! Отдайте ему деньги».

Но я понимаю, что это уже не поможет.

— Сожалею, что я огорчил вас, мистер… мистер…

— Диамонте. Энтони Диамонте.

Тони громко вдыхает через нос, делая последнюю, неудачную попытку прочистить заложенные ноздри. Он уже завелся не на шутку.

— Мистер Диамонте. Мне жаль, если я разозлил или разочаровал вас. Я вовсе не к этому стремился. Все испытывают злобу. В мире есть множество вещей, способных нас разозлить. Хотя, что такое злоба? Это всего лишь страх.

Кристофер Кроули поднимает загорелую руку и широким жестом приглашает Тони.

— Не хотите ли выйти на сцену? Посидите со мной немного. В конце концов, мы здесь собрались не только ради меня. Давайте поговорим.

Он снова делает знак рукой, как посетитель, подзывающий официантку. Тони пробирается мимо Вероники к проходу. Он в дупель пьяный. Тут же раздаются аплодисменты. Вероника что-то шипит и беспомощно оглядывается по сторонам. Я начинаю волноваться и хватаю Тони за пиджак, когда он проходит мимо меня.

— Тони. Перестань. Я дам тебе пятерку.

— Дело не в *этом*, Фрэнсис. Вероника, извини. Кстати, ты не прихватила свои инструменты? Тут клиент для тебя может образоваться.

И он начинает двигаться по проходу. Когда Тони подходит к сцене, Кроули поднимается и протягивает ему руку, они обмениваются коротким рукопожатием. Зал разражается овацией. В грохоте аплодисментов я различаю знакомый

голос:

— Так вы вернете мне мою пятерку или нет?

Кроули печально качает головой, грустно улыбаясь. Потом садится на пол, скрещивает ноги и обращается к аудитории:

— Однажды к старому учителю Чуан Цзы[30], у которого только что умерла жена, пришел ученик. Каково же было его удивление, когда он увидел, как тот поет, отстукивая ритм по котелку. Он ожидал застать учителя в скорби, в траурных белых одеждах, а потому не мог не спросить, чем вызвано такое неподобающее поведение. Мало того, что на лице учителя не видно слез, пролитых над телом бедной женщины, так он еще поет и веселится. Разве это не кощунство по отношению к умершей? «Нет», — ответил мудрец и после недолгой паузы пояснил: да, его жена умерла, и он ощутил всю тяжесть утраты. Но сейчас ее уже нет, она перешла в другой мир, как времена года, сменяющие друг друга: осень следует за летом, весна за зимой. Продолжая плакать и убиваться, он лишь показал бы, что ему неизвестны законы природы.

История явно озадачила Тони.

---

[30] Примечания: 30

Чуан Цзы — китайский таоист III в.

— И что все это значит?

Кроули немного огорчен, но терпеливо объясняет:

— Это имеет лишь то значение, которое вы привнесете.

Тони изгибает бровь, изображая искреннее изумление.

— А какое значение *вы* в это привносите?

Кроули глубоко вздыхает, как будто он противостоит всему человеческому невежеству и упрямству перед лицом очевидной истины, но по-прежнему мягко говорит:

— А что в этом мире, в конце концов, имеет значение?

Тони задумчиво кивает, словно пораженный глубиной и силой мысли.

— Мысль интересная, — признает он, шмыгая носом и утирая сопли. — Но я-то пытаюсь понять, *какое* отношение это имеет к моей пятерке?

На лице Кроули появляется улыбка.

— Это означает, что вашей пятифунтовой купюры больше нет — символ лишился своей власти.

Тони снова кивает, на сей раз энергичнее, как будто, наконец постиг глубокий философский парадокс.

— Это означает, забудьте о своей пятерке, рас-

станьтесь с ней. Двигайтесь дальше. В самом деле, что вы потеряли? — жизнерадостно вещает Кроули. — Всего лишь символ. Вам осталось только распрощаться с вашей привязанностью к нему. Вы понимаете?

Тони перестает кивать и спокойно произносит:

— Да, я понял. Спасибо.

Волна пробегает по аудитории. Кроули склоняет голову, медленно закрывая глаза, осознавая происходящее.

— Но, мистер Кроули…

— Крис.

— Крис. Я хотел вас спросить. *Вы*-то сами понимаете?

Я издаю стон, теперь мне абсолютно ясно, что произойдет. Тони надвигается на Кроули. Тот по-прежнему безмятежно улыбается.

— Понимаю что, Тони?

— Понимаешь ли *ты*, Крис, что ты *покойник*, ворюга хренов?

И он хватает Кроули за плечи, встряхивает и бьет головой ему в переносицу. Кроули рухнул как подкошенный, из носа хлынула багровая струя. Он задыхается. И вдруг начинает кричать, при этом его американский акцент как ветром

сдуло — зал заполняют сочные, гортанные бирмингемские гласные.

— Ты, козе-оол. Я тебе яйца оторву.

Он приподнимается, чтобы ударить Тони, но промахивается. Тони припечатывает его к полу ударом по ребрам, наклоняется над ним. Я вскакиваю и устремляюсь к сцене, чтобы прекратить драку. Но Тони уже дотянулся до Кроули и держит его за рубашку. Аудитория визжит и вопит.

Слышу, как Тони говорит:

— Спокойно, клоун. Это же всего лишь пустышка, просто символ, и ничего больше. Символ тогочтотытамхочешь.

Большим пальцем он надавливает Кроули на переносицу, отчего тот начинает истошно вопить.

— А *это* имеет только то значение, которое вкладываешь ты.

Еще удар. Теперь Кроули неподвижно распростерт на полу сцены. Тони стоит рядом. Я тяну его прочь. А он, оглядываясь, кричит:

— Попробуй с этим справиться, *мужик.*

В зале полная неразбериха. Я ищу глазами Веронику, но ее нигде нет. Тащу Тони к выходу, опасаясь, что кто-нибудь мог вызвать полицию. Он обхватывает меня. Я понимаю, насколько он

пьян. Пытаюсь разобрать, что он говорит, и тут же жалею об этом — лучше бы не слышал.

— Фрэнки, дружище. Ты мой спаситель. Не женись, Фрэнки. Оставайся с нами. Веселись. У тебя еще много времени осталось. А ты от всего хочешь отказаться. Ради какой-то обыкновенной девчонки.

Он дышит мне прямо в лицо, запах пива и чипсов. И хотя он вряд ли понимает, что говорит, я все равно потрясен.

— Я не ради нее это делаю.

— Тогда зачем? Зачем ты это делаешь?

— Зачем? Потому что хочу… — Я замолкаю на полуслове. — Потому что хочу… наладить отношения. Потому что устал жить сам по себе. Я хочу стать частью чего-то… кого-то… еще.

Вдали уже слышны сирены полицейских машин. Я тащу Тони за воротник по коридору, он волочится сзади, вцепившись в мою рубашку.

Тони закусывает губу, закатывает глаза к белому потолку, потом поворачивается ко мне и говорит лишенным выражения и неожиданно трезвым голосом:

— Ты высокопарный придурок, Фрэнки. Более того, ты заблуждающийся придурок. Послушай, что я тебе скажу. Мы все одиноки. Независимо

от того, кого ты трахаешь и сколько, неважно, женишься ты или нет. Ты сам по себе. С твоей головой и твоим членом. Ты идешь своей дорогой. А все остальное — сказки Уолта Диснея и Стивена Спилберга, и ты это знаешь, все остальное…

Я уже вывел Тони на улицу и пытаюсь увести как можно дальше от места, где он устроил скандал. Костюм Тони покрылся пылью и уличной грязью. Под носом образовалась тонкая пленка с примесью белого порошка — еще одна причина его состояния, так что ему тем более не стоит попадаться на глаза полицейским. Тони наконец удалось подобрать слово, которое он так долго искал.

— Все остальное — миф. То, о чем говорил этот бирмингемский сукин сын.

— Нет, Тони. Я не верю. И я знаю, что это не сказки Уолта Диснея. Я просто хочу жить нормальной жизнью. Хочу быть как все. Я не ищу счастья. Я ищу *перемен.*

Как выяснилось, это была сирена «скорой помощи», а не полицейской машины. Я все еще волоку Тони по улице. Вряд ли он слышал хоть слово из того, что я сказал. Вижу, как вдали Кроули выводят через запасной выход. Я отпускаю Тони, и он медленно оседает на землю. Он слишком пьян,

чтобы на него обижаться.

— Какой же ты злобный ублюдок, Тони, — тихо говорю я.

Но я всегда это знал. И тем не менее был его другом. Более того, именно жестокость Тони и свела нас.

Глава десятая
Ядовитое жало Тони Диамонте

Если хронологически моим первым лучшим другом был Колин, то вторым, соответственно, — Тони. Он вытеснил, затмил и, в каком-то смысле, уничтожил Колина, заморозил его, остановил его развитие, уничтожил его потенциал, способствуя превращению Колина в того, кем он является. Не без моей помощи, конечно.

Хотя в каком-то смысле он просто завершил давно начавшийся процесс. Наши отношения с Колином к тому моменту уже изменились, они стали тускнеть, когда мы перешли в среднюю школу. Многие мои друзья — не такие близкие, как Колин, никто из них рядом с ним не стоял — остались в прошлом, были отсечены, обреченные прозябать в болоте «Голдхокхай» — школы, которую сейчас бы назвали отстойной: грубые, плохо питающиеся дети, ругающиеся матом *в присутствии учителей.* Три четверти моих друзей оказались там, либо попали в такую же районную школу: «Клем-Эттли-Колп» или — хуже ничего не было — Св. Барта, где детям покупали

подержанную одежду, и хулиганы каждый день устраивали драки до крови.

Но мы с Колином относились к так называемым сливкам общества. В районе осталась одна спецшкола, и наши родители отправили нас туда. Как всегда, я прошел легко, а он проскрипел на дополнительном наборе. Может быть, в другой школе ему было бы легче, но здесь он был обречен плестись в хвосте. Его спасал только почерк в сочетании с уникальными способностями к математике и компьютерам.

Школа располагалась в новом здании и имела собственную форму, красивую, с остроконечной фуражкой. Сначала мы с Колином растерялись и держались друг друга, пытаясь зацепиться за старый багаж: за маленький замкнутый мир, в котором кроме наших отношений, нашего без слов понятного молчания, все остальное мало что значило.

Но нас подхватывали приливы и течения; они могут возникнуть и прорваться в вашу жизнь, как я понимаю теперь, в любой момент и с любой стороны, огромные неуправляемые волны, с безразличными, безжалостными гребнями. Мы стали частью чего-то большего, чем мы сами, чего-то, живущего по совсем другим правилам,

чем те, к которым мы привыкли. Я понял, что придется многому учиться, и делать это надо было быстро. А Колин, я знал это уже тогда, избрал другую, пагубную стратегию. Он начал зажиматься, прятаться. А прятаться нельзя. Нигде не спрячешься.

Мы по-прежнему остались черепахой и зайцем. И новой школе удалось более явно и выпукло обозначить эти наши различия, определявшие стиль поведения перед лицом новых сил, ополчившихся против нас.

Тончайшие трещины, испещрившие дамбу, которую мы возвели, защищаясь от внешнего мира, углубились, и вся конструкция развалилась както вечером в четверг. Сейчас я могу вспоминать об этом, а раньше запрещал себе даже приближаться к тому моменту своей жизни, образно говоря, затыкал уши и начинал насвистывать, слишком сильные эмоции это вызывало.

Думаю, именно с той поры я стал сторониться слабых людей.

Как в любом классе, у нас был свой задира. От него не исходило постоянной угрозы, и вообще, все было не так страшно, как может показаться. И задирой был, конечно, Тони. Тогда его не звали еще Тони-Бриллиантовым, даже просто Тони: он

был Энтони Диамонте. (Причем настаивал, чтобы имя произносили на английский манер.) За глаза его называли Тони-Латинос или Маленький Макаронник. Но только за глаза.

На самом деле Тони уже тогда не нужно было никого запугивать. Просто он еще этого не понял. Он был симпатичный, остроумный, сообразительный. Высокий мальчик с хорошей фигурой, коротко стриженный, с ленивыми глазами, которые оценивающе останавливали свой взгляд на каждом предмете. Смуглая кожа. Большие пухлые губы. Томный, неторопливый, грациозный. В глубине глаз, за внешней теплотой, таился холод. Аккуратно подогнанная форма. Брюки подшиты, пиджак заужен по фигуре, красивые плотные льняные рубашки.

Помимо элегантной внешности, в нем была еще какая-то взрослость — некая отстраненность от мира, большее, чем в среднем у детей его возраста, расстояние между стимулом и реакцией. Это наделяло его властью, получив которую он счел, что должен ею воспользоваться. Конечно, сегодня Тони более откровенен в выражении своих чувств. Но это определяется количеством выпитого и выкуренного.

Он был самым сильным мальчиком в клас-

се, и не только физически: он лучше всех мог сориентироваться в ситуации, оценить слабость противника, быстро среагировать. Даже некоторые учителя старались с ним не связываться — у него был талант причинять боль, встроенная поисковая система уязвимых мест человека. Естественно, это делало его неотразимым, и вскоре он уже обзавелся свитой, другими словами, бандой, хотя последнее предполагает более строгую иерархию, чем та, что сложилась в окружении Тони.

Думаю, нет, уверен, что мне хотелось примкнуть к этой свите, меня, как любого ребенка, влекли сила, бесстрашие, жестокость. Но в глазах других я был неразрывно связан с Колином, чью природную застенчивость и мягкость к тому времени усугубили огромные, безобразные прыщи. Вдобавок у меня имелась собственная метка на лице — бордовое родимое пятно, и собственная интеллектуальная непригодность — мой ум. Так что я наравне с Колином был обречен на изоляцию, хотя и не в такой степени, как он: все-таки характер у меня был жестче, чем у моего прыщавого друга, а спортивная подготовка не оставляла сомнений, что, в случае чего, я могу дать сдачи. Но Тони и его окружение не воспринимали ме-

ня всерьез. Хотя хотел я именно этого, и хотел страстно.

Наконец мне представился шанс. Шанс оторваться, вырваться вперед, взлететь. И я им воспользовался, по ходу дела приобретя также прозвище, нового друга и непроходящее чувство стыда.

Это случилось после того, как Тони разделался с учителем. Учителем, славившимся своим беспощадным и жестоким отношением к детям. Тони его изничтожил. Случай был вопиющий и стал практически школьной легендой. А Тони получил статус неприкосновенного. Вот тогда-то и пришлось определяться: или ты с ним, или против него. Именно поэтому, когда Колин…

Однако не буду забегать вперед. Начну с начала. У каждого свидетеля этого события есть своя версия. Я расскажу свою.

Жертвой Тони стал доктор Фред Койнанж, приятной внешности выходец из Южной Африки, получивший образование в Англии учитель богословия, относившийся к ученикам с высокомерным презрением. Впечатление он производил тяжелое, в нем была какая-то подспудная грусть, говорили, что несколько его родственников погибли в борьбе с апартеидом. В частности,

младший брат не выдержал пыток.

Он, конечно, был черный, и хотя дети не предавали этому особого значения — для них учитель прежде всего ассоциировался с властью, а в случае Койнанжа речь шла не только о власти приобретенной, но и о власти врожденной — сам Койнанж осознавал, что это отличие можно с легкостью использовать. Любое отличие — неважно, идет ли речь о высоком росте, об остроте ума, о материальном положении — можно рано или поздно использовать против человека. Дети отлично ориентируются в этом, Тони же и вовсе был выдающимся спецом в подобных делах. Зная о его изощренной жестокости, Койнанж нанес превентивный удар, стремясь в первую очередь подавить именно Тони. Пытаясь обезопасить себя, он задел личные чувства. Это и было его ошибкой.

При всей крутизне Тони у него имелась ахиллесова пята. Он был итальянцем: и по месту рождения — в Калабрии, и по крови — хорошие виноделы, но плохо образованные люди, его родители были выходцами с Сицилии. Я слышал, что когда в пять лет Тони попал в школу, он ничего не умел и практически не говорил по-английски.

С тех пор, по одному ему ведомым причинам,

он возненавидел свои итальянские корни и делал все, чтобы стать настоящим англичанином. Он никогда не говорил по-итальянски и уже в двенадцать-тринадцать лет утверждал, что забыл этот язык. По-английски он изъяснялся, тщательно артикулируя, нарочито по-лондонски гортанно, как какая-нибудь дешевка из Шепердс-Буш.

Койнанж тут же учуял эту слабость Тони. Он был очень артистичен и нещадно эксплуатировал свои способности пародиста, вызывая смех и направляя его в нужную сторону. Именно так он поддерживал дисциплину в классе. Так что когда однажды Тони позволил себе какую-то вольность в его адрес, Койнанж ответил ему с нарочитым итальянским акцентом, а для Тони это было равносильно пытке.

В то время в десятку самых популярных певцов входил какой-то несуразный итальянец по имени Джо Дольче, который только усугубил предвзятое мнение англичан об итальянцах.

Эдакий простофиля, чей мир ограничен мамой, макаронами и мороженым.

Хитом Джо Дольче — первым и последним — была песенка «Меня это достало», и когда Тони попытался спровоцировать Койнанжа, тот вразвалочку подошел к его парте, наклонился

над ним и начал речитативом проговаривать эту самую песенку.

Припев заканчивался словами, совпадающими с названием: «МЕНЯ ЭТО ДОСТАЛО».

На оригинал было не очень похоже, но и этого хватило с лихвой; класс взорвался от смеха, ножом вонзившегося в сердце Тони. Последние слова припева Койнанж произнес с явной угрозой, что добавило эмоционального эффекта всему представлению. Взрыв хохота нейтрализовал строптивого ученика, как и рассчитывал Койнанж. Но нейтрализовал временно — Тони просто затаился, лелея свою ярость. И поклялся отомстить. Его ленивые глаза стали еще холоднее.

Это случилось в один из четвергов, во время спаренного урока. Все было заранее спланировано. Я знаю точно, потому что мы с Колином слышали, как перед уроком Тони хвастался, что «достанет» Койнанжа.

— Этот высокомерный придурок у меня поплясшет. Вот увидите. В следующий раз он крепко подумает, стоит ли со мной связываться. Уже через час он забудет, как его зовут.

Передо мной он не хвастался — мы с Колином были не его круга, слишком мелкая рыбешка. Но он заметил, что я все слышал, и посмотрел на

меня леденящим взглядом, подразумевавшим очевидную угрозу.

В тот день на уроке Койнанжа обсуждалась тема «Есть ли душа у животных?». «Годолфин-Грэмэ» была либеральной школой, а потому богословский курс мы изучали весьма условно. Наши уроки богословия превращались в дискуссионный клуб, где можно было беседовать обо всем на свете. В начале восьмидесятых особой популярностью пользовалась экологическая тематика, включая вопросы прав животных. Тема урока была объявлена заранее, именно поэтому, я думаю, Тони так тщательно все спланировал.

Первым делом Койнанж, как всегда, навел порядок в классе. Две девчонки болтали. Койнанж хранил молчание, выразительно глядя на нарушительниц. Этого было достаточно. Его внутренняя сила заставляла краснеть любого, на ком он останавливал пристальный взгляд. Часто объектом его внимания был Тони, подтверждающий свой статус вожака. В этот раз он, однако, сидел тихо.

Урок начался. Койнанж, несмотря на приверженность к дисциплине, был сторонником современных методов преподавания: он не просто читал с кафедры проповедь застывшим,

безучастным детям, а старался *вовлечь* их в обсуждение.

На это Тони и рассчитывал. Уставившись своими ленивыми глазами на Койнанжа, он сидел и ждал. Койнанж начал урок цитатой из Библии, потом прочел небольшой отрывок из манифеста Фронта освобождения животных. Класс терпеливо слушал, зная, что прелюдия будет недолгой. Затем Койнанж отложил книги и посмотрел на учеников.

— Итак. Что бы мы могли сказать по этому поводу? Какие аспекты нам следует затронуть? Кто-нибудь хочет высказаться?

Рука Тони тут же взметнулась вверх. Уже это могло вызвать подозрение: обычно Тони все делал неторопливо. Но Койнанж подвоха не почувствовал.

— Тони. Va bene. Come sta?[31]

— Сэр, а у вас есть домашние животные?

Это был ловкий ход: с одной стороны, полная наивность, с другой — абсолютная предсказуемость реакции Койнанжа. В отличие от других учителей Койнанж тщательно скрывал подробности своей личной жизни, опасаясь, что

---

[31] Примечания: 31
Хорошо. Как поживаете? (*итал.*).

ничтожная деталь может быть взята на вооружение неутомимыми подростками. Тони знал это и ожидал, что ответа на вопрос не последует — так и произошло.

— Вас это не касается, синьор Диамонте. Моя личная жизнь — не предмет для обсуждения. Capiche?[32] Однако направление мысли верное. Как вы считаете, обладают ли животные индивидуальностью? Способны ли они думать? Чувствовать? Короче говоря, способны ли они понять нас? У кого из вас есть домашние животные?

Четырнадцать человек из тридцати подняли руку. Я — нет, хотя у нас дома было две кошки. Я привык держать руки на парте, потому что к тому времени понял: ум и желание учиться, особенно если на тебе уже стоит отметина изгоя, надо скрывать, причем скрывать тщательнее, чем глупость. Подавляющая серая масса троечников ненавидела и то, и другое.

Тони тоже выразил желание ответить, однако его рука походила на вялый приспущенный флаг, поднятый, но не особенно стремящийся привлечь к себе внимание. Койнанж спросил нескольких

---

[32] Примечания: 32
Понятно? (*итал.).*

учеников, поведавших классу про своих рыбок, кошек и хомячков.

Неожиданно осмелевший Колин рассказал про кролика, которого мама подарила ему на Новый год. Но голос его звучал слишком тихо, чтобы все могли услышать, и пока он говорил, рука Тони продолжала тянуться вверх, по-прежнему без особого энтузиазма. Он выглядел как ученик, которому абсолютно безразлично, вызовут его или нет. Тем не менее, поскольку сидел он — специально? — на одной из первых парт, Койнанж в конце концов его вызвал.

— А у тебя, Диамонте, есть домашнее животное?

— Собака. Лабрадор. Мы его взяли, когда я был еще маленьким.

— Собака. Очень хорошо. Принято считать, что собаки обладают индивидуальностью. Они общаются почти как люди: умеют тосковать, любить, у них есть даже чувство юмора. Но может быть, мы всего лишь проецируем наши чувства на животных? Может быть, мы просто очеловечиваем этих… этих…

— Эту бессловесную скотину, сэр?

— Это, пожалуй, чересчур. Взять, к примеру, твою собаку. Наверняка ты так о ней не дума-

ешь…

— Напротив, сэр. Это очень глупая собака. Она считает себя умной, а на самом деле глупая. Она не слушается ни одной команды. Да к тому же грязная. И гадит на ковер.

Раздались смешки. Но Тони даже не улыбнулся. Койнанж поднял руку, и смех стих.

— Весьма странная собака, судя по твоему рассказу.

— В том-то и дело, сэр. Ее надо усыпить. Она никуда не годится.

Тони сказал это совершенно серьезно. Койнанж был явно удивлен: ведь все дети рассыпались в похвалах своим любимцам. Класс затих. Появилось странное ощущение, что разговор пошел не по тому пути, который был предложен Койнанжем. Учитель пребывал в некоторой растерянности, пытаясь понять, не стоит ли за этим какая каверза.

— Разве так можно? Избавляться от домашних животных? Ты ведь привязался к… как ее зовут?

Именно этого момента Тони ждал. Точнее, сам его подстроил. Но даже сейчас он продолжал действовать по намеченному плану — его изощренный ум все рассчитал заранее. Наступила долгая пауза.

— Я не знаю, сэр.

Койнанж разозлился, решив, что его разыгрывают, издеваются над ним. Но он не был достаточно умен для того, чтобы понять, какую игру затеял Тони.

— Не валяй дурака. Как может быть, что ты не знаешь кличку собственной собаки?

— Я… я просто не хочу говорить, сэр. Это… это секрет.

Разъяренный Койнанж подошел к парте Тони и, нависая над ним, пустил в ход свой итальянский номер с Джо Дольче.

— «МЕНЯ ЭТО ДОСТАЛО».

Затем начал тыкать в Тони пальцем, сначала легонько, потом все сильнее.

— «МЕНЯ ЭТО ДОСТАЛО».

Раздавшийся в классе смех стих, как только Тони заговорил. Без какого-либо выражения, но очень четко, перекрывая издевательскую песенку Койнанжа, он сказал так, чтобы все расслышали:

— Ниггер, сэр.

Койнанжа словно отхлестали по щекам. Он тут же прекратил петь и побледнел. До него дошло, в какой изощренный капкан он угодил; но понимание не помогло, было слишком поздно.

Понимание только усилило его ярость. Когда он заговорил пугающе тихим голосом, его руки едва заметно дрожали. С игровой площадки во дворе раздался свисток.

— Что ты сказал?

Тони невинно посмотрел на учителя и пожал плечами, как бы говоря: «Вы сами *подтолкнули* меня к этому. Вы *заставили* меня сделать это». Но налета презрения скрыть не удалось. Он знал, чего добивался от Койнанжа, и был намерен получить это. Когда Тони заговорил, слова буквально разрубали воздух:

— Я сказал Ниггер, сэр. Мою собаку зовут Ниггер. Это большая глупая собака, грязная, паршивая, черная псина.

Наступил решительный момент; должна была последовать реакция, и Тони знал это. Надо только чуть-чуть подтолкнуть. Он изобразил намек на улыбку, обозначив свое торжество. Этого было достаточно, чтобы закрепить победу.

Койнанж сделал шаг назад, размахнулся и ударил Тони по лицу. Тони упал; даже в этот момент он не потерял самообладания, хотя глаза его наполнялись слезами. Пощечина была сильная, как удар кулаком.

— Но, сэр, вы же сами спросили, как зовут

мою…

Койнанж снова ударил его, на этот раз тыльной стороной ладони, и сильно. Золотое кольцо рассекло Тони губу. Это уже походило на настоящее избиение. Еще два удара, и из носа Тони потекла тонкая струйка крови. А потом Койнанж схватил его за плечи и начал молча трясти. Тони плакал от боли, но гордо улыбался своей дикой, опустошенной улыбкой. Он знал, что победил. До Койнанжа это тоже стало доходить. Он постепенно ослабил хватку и попытался взять себя в руки, глядя на ошеломленных учеников. А затем просто повернулся на каблуках и вышел из класса, оставив дверь открытой.

Тони пальцем не шевельнул, чтобы привести в порядок свою одежду или вытереть кровь с лица. Он выпрямился на полу, встряхнулся. К вернувшемуся абсолютному самообладанию примешивалось самодовольство. Класс загудел. И вдруг, как на заказ, в раскрытой двери появился другой учитель.

— Что здесь происходит? Что за шум? Где доктор Койнанж?

И тут он увидел Тони, все еще сидевшего на полу.

— Боже мой, мальчик. Что с тобой случилось?

Поведение Тони тут же изменилось. Прежняя собранность уступила место громким рыданиям. Он выглядел таким жалким и несчастным. На лице следы ударов — достаточная причина для увольнения любого учителя.

— Сэр, мистер Койнанж, он… я… ой, сэр…

Тони сделал вид, что не может говорить. Учитель повернулся ко мне, потому что я сидел за первой партой. Думаю, в те времена у меня была репутация честного малого, никогда не ввязывавшегося в драку — следствие моей отстраненности и неадаптированности. Будучи умным и честным, я оказался, хотел того или нет, на стороне врага и по той же причине не был допущен в круг посвященных.

— Ты, Блю, расскажи, что здесь произошло.

Именно тогда я понял, что правда может быть не одна, что выбор правды определяется твоей лояльностью, твоими привязанностями, зависит от того, на чьей ты стороне. Койнанж был учителем, а Тони — учеником; и хотя я чувствовал, что это не совсем справедливо по отношению к Койнанжу, ведь он попался в ловушку, сомнений в том, каким путем идти, у меня не было. Я понял, что мне представился случай изменить свой статус, и я им воспользовался.

— Мистер Койнанж ударил его, сэр.

Койнанж скорее шлепнул, чем ударил его, но разница была не велика, так что приврал я самую малость. Как ни странно, мне понравилось произносить эти слова, искажать события. И тут весь класс разразился возбужденными, потрясенными криками:

— Да, сэр, это правда…

— Потому что он…

— Спросил, как зовут…

— Он только…

— Тони не хотел…

Учитель поднял руку, призвав всех к тишине, и снова повернулся ко мне:

— Он ударил Диамонте? Трудно поверить. За что, Блю?

— Тони просто сказал, как зовут его собаку, сэр.

Растерянный учитель на секунду замер. В классе повисло напряженное молчание. Затем он ласково склонился над скорчившимся на полу и продолжавшим скулить Тони.

— Пойдем-ка со мной, Диамонте. И ты, Блю, тоже, похоже, ты знаешь, что случилось. Разберемся во всем у директора.

Он еще раз осмотрел класс:

— И ты, Берден, тоже.

Колина, как и меня, считали честным мальчиком. Он присоединился к нам, трясясь от страха, как заяц, понимая, что ему предстоит сделать ужасный выбор. Когда мы шли по коридору. Тони наблюдал за мной краем глаза.

Директор задал нам несколько простых вопросов. Как выяснилось, Койнанж уже успел зайти к нему до этого и постарался представить дело в выгодном для себя свете. Но одного вида Тони оказалось достаточно, чтобы малейшее сочувствие, если таковое и было, директора к злополучному учителю испарилось. Выглядел Тони ужасно. Лицо в ссадинах и синяках, на щеках размазанные следы крови и слез. Он предусмотрительно не стал приводить себя в порядок.

Конечно, Койнанж попал в эту ситуацию не без моей помощи. Ведь я ни слова не сказал о том, что Тони спланировал все от начала до конца. Но главное, я не был предателем: это правило я начал усваивать, правило одной из новых игр, не имеющих названия.

Директор, признанный либерал, сторонник современных методов образования с вовлечением учеников в процесс обучения, в свое время издал приказ, строжайше запрещающий любые формы физического насилия над детьми, — все прекрас-

но знали это. И Тони, разумеется, тоже. Особенно неприятно директору было то, что жестокость по отношению к ученику проявил темнокожий учитель, ибо, вопреки сильнейшему сопротивлению со стороны более консервативных учителей, он ввел жесткую квоту для этнических меньшинств. Он лично принимал Койнанжа на работу, с трудом выбил для него место в школе, поскольку послужной список темнокожего учителя сильно не дотягивал до стандартных требований «Годолфина». Я видел, что директор страшно зол на Койнанжа, как если бы его предали. В конце разговора он обратился ко мне:

— Блю, мистер Койнанж признал, что ударил Диамонте. Но, по его словам, это была продуманная провокация со стороны Диамонте. Что ты можешь сказать об этом?

Присутствие Тони напрягало меня. Я обратился к своей совести. До сих пор все, что я говорил, было правдой, пусть слегка отредактированной. Родители всегда твердили мне, что обманывать нехорошо. Койнанж тоже внушал нам, что Господь карает за ложь. В конце концов я принял решение.

— Ничего подобного, сэр. Все было совсем не так. Мистер Койнанж просто набросился на То-

ни. Диамонте всего лишь правдиво ответил на вопрос.

Особая изощренность Тони заключалась в том, что у его родителей действительно была собака по имени Ниггер. Сицилийцы особо не церемонятся с вопросами расовой дискриминации.

Директор вздохнул. Он мне поверил. Именно тогда я осознал, насколько могущественна ложь. И красива.

А потом директор пристально посмотрел на испуганного Колина.

— Берден, а что ты скажешь? Это было спланировано?

Колин сглотнул и затравленно огляделся, как будто в поисках двери.

— Скажи мне правду, Берден. Диамонте все спланировал заранее?

Колин съежился, задрожал и, поджав губы, пробормотал:

— Не знаю, сэр.

И Тони, и директор злобно на него посмотрели. Я про себя умолял Колина встать на сторону Тони, сделать все, как надо. А он выглядел неуверенно, подозрительно. Он мог все испортить.

— Что значит, ты не знаешь? Это или было спланировано, или нет. Хотелось бы получить

вразумительный ответ. Так ты знаешь что-нибудь об этом?

— Думаю, да, сэр.

— Что? Что ты знаешь?

Долгая пауза.

— Не знаю.

Это был максимум лжи, на которую Колин оказался способен. Но этого было недостаточно. Директор разочарованно вздохнул, потом махнул рукой, давая понять, что мы можем идти. Нас всех отпустили. Тони не обращал внимания на Колина, но посмотрел с ухмылкой на меня и сказал, обратившись ко мне (по-моему, в первый раз за все время):

— Блю, я думал, мамочка учила тебя никогда не врать.

— А это была не ложь, — пробормотал я, находясь все еще в возбужденном состоянии после того, что произошло. — Это была выдумка.

Тони задрал голову вверх и начал смеяться, громко и заливисто, так что учитель, шедший впереди по коридору, повернулся и шикнул на нас.

— Выдумка! Не ложь, а выдумка! Здорово, Блю. Фрэнсис-Выдумщик! А ты, оказывается, еще тот сукин сын, Фрэнки-Выдумщик!

И он улыбнулся мне своей ослепительной улыбкой. Он принял меня, одобрил, *заметил.* Смущенный, шокированный ругательством — в нашем доме никто не ругался, — но довольный, я улыбнулся в ответ. А потом Тони сорвался с места и побежал по коридору, напевая на ходу:

— Фрэнки-Выдумщик, Фрэнки-Выдумщик.

Так у меня появилось прозвище. Это было лучше, чем Меченый или Чудак. И тогда же я приобрел имидж, можно сказать, индивидуальность. Слово *индивидуальность* я узнал, уже учась в университете.

Там же я узнал, что другое значение этого слова в переводе с латыни означает *маска.* Это я хорошо понимаю. Но непонятно другое: почему, однажды надев, ее потом нельзя снять? Она… прилипает.

В воскресенье за обедом, когда мы разламывали грудную куриную косточку, мне досталась счастливая часть — та, что подлиннее, и я мог загадать желание. Впервые оно не касалось родимого пятна, от которого я мечтал избавиться. Вместо этого я загадал, чтобы Тони стал моим другом. Чтобы меня наконец признали своим. И, к моему изумлению и плохо скрываемой радости, желание начало сбываться. Тони, вожак, предводитель, стал со мной разговаривать.

То, что я не предал — напротив, поддержал его, — имело значение в школьном кодексе чести, в этой первой игре без правил, в которой я принял осознанное участие. На следующее утро, придя в класс, Тони улыбнулся мне, дружелюбно кивнув. Прежде он меня полностью игнорировал. Мне он не очень нравился, я его даже побаивался, но все равно был польщен. В первый раз я почувствовал, что могу что-то *значить.* Могу избегнуть участи невидимки, уготованной мне, как и Колину, потому, что я отличался от других, был застенчив и умен.

Потом какое-то время все шло, как всегда. Мы с Колином по-прежнему держались вместе: вместе возвращались домой, пиная по дороге теннисный мяч, заходили друг к другу в гости.

Все чаще Колин заходил ко мне, а не я к нему. С его отцом было что-то не так я это знал. Колин мне ничего не говорил, но как-то вечером я подслушал разговор родителей. Моя мама раз в месяц играла в бинго с матерью Колина — этим и исчерпывались ее выходы в свет, — к тому же Оливия Берден была младшей сводной сестрой маминого дяди, так сказать, нашей дальней родственницей. То есть получается, что мне она приходилась троюродной полутетей, а Колин

— почти четвероюродным братом. И еще когда-то давно отец Колина работал вместе с моим отцом. Он уже давно перешел на посудную фабрику в Эктоне, но оттуда его уволили за пьянство.

Я знал, что он пьет. Иногда, приходя к Колину домой, я сталкивался с ним — от него неизменно разило спиртным, в основном бренди. С тех пор как отец Колина потерял работу, он стал пить еще больше. Не раз я видел, как он орет и ругается. Не могу даже представить, чтобы мой отец так себя вел. Я был застенчивым потому, что имел перед глазами пример отца, который воспитал меня по своему подобию. Колин был застенчивым (я понял это много лет спустя) потому, что отец затравил его — издевался над ним, угрожал ему, унижал, бил и его, и мать, потому, что он лишил их уверенности в себе, чувств и надежды. Иногда, когда мы переодевались на физкультуру, я замечал на руках и на теле Колина странные синяки. Он ничего об этом не говорил, а если я приставал с вопросами, отвечал, что упал, играя в футбол.

Синяков становилось все больше, и появлялись они все чаще, с тех пор как отец Колина потерял работу. Но Колин по-прежнему молчал. А когда я предлагал зайти к нему домой, он всегда находил объяснения, почему этого сделать нельзя. Зато

у нас задерживался как можно дольше. Бывало даже, что моей маме приходилось вежливо просить его уйти, когда мы уже садились ужинать. Он всегда извинялся и тут же уходил. Я смотрел в окно, как Колин шел домой, медленно и неохотно, как будто невидимой нитью он был связан со мной и моим домом. В каком-то смысле так оно и было; но рано или поздно эта нить должна была порваться.

А в школе моя жизнь начала потихоньку меняться. Я окреп и стал хорошо играть в футбол и крикет, что способствовало моей популярности. Колина по-прежнему не брали ни в одну команду. Тони после истории с Койнанжем стал обращать на меня внимание, здоровался и разговаривал со мной каждый день. Но он был так же пугающе холоден по отношению к Колину, и это настораживало больше, чем прежнее равнодушие.

Его интерес ко мне изменил мою жизнь к лучшему. Другие ребята, раньше не обращавшие на меня внимания, заметили мое существование. Тони уже тогда был престижным другом. Теперь, если затевалась какая-нибудь проказа, я оказывался в числе его соратников. Если рассказывали новый анекдот (что-нибудь жестокое об эфиопах или инвалидах, которых называли *недоумками),*

Тони звал меня послушать и посмеяться, что я неизменно и делал, независимо от того, смешной был анекдот или нет. Еще один ничего не значащий обман, не более того.

Все это сильно повлияло на меня. Казалось, что я будто вырос, стал с меньшей боязнью относиться к внешнему миру. Изменились походка, манера держаться. А Колин, напротив, словно скукожился. Идя в компании Тони и его дружков, я видел, как он маячит в конце коридора. Ждет, когда я отделюсь от компании и присоединюсь к нему и мы будем болтать и играть, как прежде. Но в последнее время он начал меня раздражать. Он не был навязчивым, нет, просто мне становилось все очевидней, что он слабак, а это почти одно и то же.

Между тем слухи об отце Колина начали доходить до школы. Он постоянно ввязывался в драки в местном пабе, да к тому же его, грязного и небритого, не раз видели сидящим в парке около школы с бутылкой пива или сидра в руках. Колин делал вид, что ничего не происходит, но ребята начали шептаться у него за спиной, бросая в его сторону многозначительные взгляды.

Мы с Тони, хотя еще не стали приятелями, но были к этому очень близки. На футбольном поле

из нас получилась отличная связка: он нападал по центру, а я слева в нужный момент делал ему крученые, длинные, с расчетом на его рост передачи. Пасы всегда удавались мне; я умудрялся отправить мяч прямо на его подставленную голову. Это приводило Тони в восторг: иногда на поле, забив очередной гол, он обнимал меня на глазах у всех. Иногда мы выходили вместе из школы, покуривая сигареты, которые он доставал, а Колин шел домой один. Мне нечего сказать в свое оправдание, но тогда это меня, похоже, не беспокоило. Признание — странная вещь, оно появляется незваным и при первом же осознанном усилии удержать его исчезает.

Сначала где-то раз в неделю, но со временем все чаще и чаще я стал избегать Колина. При всей жестокости Тони с ним было весело, и он имел реальную власть и друзей. Он решал, кто будет включен в круг избранных, и если тебя не включали в их число, ты был никем. А я понял, что больше не хочу быть никем. Я хотел, чтобы меня любили. Хотел, чтобы со мной считались.

Тогда я не знал, что за все надо платить. Я узнал это в один из дней накануне летнего семестра. Мне было тринадцать, и я начинал осматриваться вокруг, потихоньку выбираясь из своей

скорлупы, тогда как Колин все глубже забирался в свою. Несмотря ни на что, я почему-то не сомневался в незыблемости моей дружбы с Колином: я вообще верю, что те, кого я люблю, будут моими друзьями всегда, пока жизнь не доказывает мне обратное, а она делает это с завидным постоянством.

Все началось еще до того, как я вошел в класс. Мальчишки собрались в углу, слева от доски. Слышался смех, но не безобидный, не тот, что следует за удачной шуткой или хорошим анекдотом. Этот резал по живому, от него исходила угроза.

В классе было человек пятнадцать. В том числе и Нодж, он стоял поодаль. Как и я, Нодж принадлежал к окружению Тони, но держался обособленно, так что мы мало общались друг с другом. Тем не менее я знал, что он был из числа немногих, кого Тони уважал, потому что уже тогда Нодж отличался упорством и непреклонностью.

И тут за спинами мальчишек я увидел Колина. Он затравленно озирался и был бледный как мел. Вжав плечи, он словно спрятался в свою скорлупу, голова низко опущена, ноги согнуты в коленях. Колин не заметил, как я вошел. Было прохладно, все происходило рано утром, когда батареи еще

не успели нагреть воздух в коридорах и классах. При дыхании даже пар шел изо рта.

Я разглядел, что впереди группы из пяти-шести мальчишек, окруживших Колина, стоит Тони. Ссутулившись, он двигался туда-сюда и при этом покачивался. Сначала я подумал, может, он заболел, но потом понял, что он кого-то изображает. Бормоча что-то бессвязное, Тони споткнулся, упал, снова раздался смех, а Колин практически вжался в угол.

Тони встал на ноги, по-прежнему раскачиваясь и спотыкаясь, имитируя нетвердую походку. Я смог наконец разобрать, что он мямлил заплетающимся языком.

— Чччерт, сукин ты сын, дай мне выпить! Н-ну! Что, у тя нету капли для старины Билли?! Куда ты смотришь, козел? Ты же мой луччий друг!

Тони играл скверно и вовсе не смешно, однако все хохотали. Он обнял Колина, на котором теперь уже лица не было. Я понял, кого он передразнивает. В отличие от Колина, перенявшего говор матери, Билли был уроженцем Глазго и говорил с сильным шотландским акцентом, который Тони бездарно пытался изобразить.

— А, сынооок, дааа… — Он обвил Колина руками и, чуть не рыдая, заголосил: — Как же я тя

люблю, Госсди, чесслово! Но это… тово… я бы еще выпил малек, а там куплю тебе твои чертовы марки на день рожденья или еще какую фигню, чесслово, слышь, ты, сукин сын…

Смех перерос в отвратительное ржанье. Я прекрасно знал, что Колин собирает марки и очень дорожит своей коллекцией. Марки были дешевые, но ему нравились разноцветные картинки, и то, что их можно было разложить по странам, по цветам, по цене. Так же как с почерком, это была его попытка упорядочить хаос окружающего мира.

Колин обвел глазами класс. У меня все сжалось внутри, когда наши взгляды встретились. Я знал, что должен что-то предпринять. И даже дернулся, чтобы что-то предпринять. Но я уже превращался из никого в кого-то. И мне не хотелось от этого отказываться. Вклиниться между охотником и добычей было равносильно предательству. Я понимал, что так не поступают. Физическая боль меня не пугала. Я боялся выглядеть в глазах одноклассников таким же, как Колин.

Когда Колин увидел меня, его лицо изменилось, он догадался, что происходило со мной, вернее, чего со мной не происходило. И сразу же понял, что я не буду ему помогать, что последний чело-

век, на которого он мог положиться в этой жизни, предал его. И лицо Колина мгновенно изменилось, как потревоженная ртуть: набежали волны, и необъяснимые рефлексы сделали рот жестким, сузили глаза, вытянули шею.

— Колли, мальчик мой. Меня что-то тошнит. Дайка мне твою школьную фуражку. Я ее потом вымою, правда. — Тони издал отвратительные звуки, как будто его рвет.

Колин повернулся к нему и окинул тяжелым пристальным взглядом. Я понял, что он близок к роковой для черепахи ошибке. Его кулаки сжались, костяшки пальцев побелели. И тут он ударил, как-то неуклюже, попав Тони не по щеке, а по подбородку. Тони опешил, отступил. Смех тут же стих. А Тони заговорил уже своим обычным голосом — жестким, злым, открыто угрожающим:

— Ну ты, *недоносок!* Ты меня *директору* продал из-за Койнанжа, думаешь, что теперь герой? Да ты никто! Недомерок, сморчок, хрен недоразвитый! Ну-ка, проверим. Давайте-ка посмотрим на его член — небось такой же сморщенный, как он сам!

Словно по команде, все навалились на Колина. Я услышал что-то похожее на визг, а затем

пронзительный крик. Но по-прежнему был не способен двинуться с места. Мне хотелось развернуться и убежать, и в то же время я неотрывно следил за тем, что происходило. Они не били Колина, я знал это. То, что они делали, было гораздо хуже.

Колин отбивался как мог, но слишком неравны были силы. Я увидел, как сняли и выбросили в открытое окно его ботинки. Следом полетели носки. Колин уже не кричал, он только тяжело дышал, сосредоточив все свои усилия на том, чтобы не дать мучителям довести задуманное до конца. Я увидел, как с него сняли брюки, и он остался в одних трусах. Затем и брюки с трусами полетели в окно. Колин начал биться в истерике. Сквозь шум и возню пробивался голос Тони:

— Плакса! Плакса несчастная!

Девчонки нервно хихикали в углу. Колин был без трусов: его жалкий, неоформившийся пенис свернулся червячком в холодном свете неоновых ламп.

— Плакса! Плакса несчастная!

И только тут, увидев Колина лежащим на полу без трусов, я смог развернуться и убежать. Остальные мальчишки стояли и смеялись, а мой друг, мой лучший друг, лежал на полу, пытаясь

прикрыть причинное место руками, дрожа от ярости и унижения.

И в этот момент я услышал голос Ноджа, увидел, как он встал между Тони и Колином.

— Оставь его. Тони. Хватит уже.

Тони посмотрел на него пристально. Но Нодж не шелохнулся, он был тверд и, как я уже говорил, абсолютно непоколебим. Тони сделал несколько шагов назад. Колин продолжал плакать на полу. На какое-то мгновение повисла тишина. Я развернулся и помчался вниз по лестнице, во двор. А в ушах все звучал голос Тони:

— Плакса хренова!

Одежда Колина разлетелась по всему двору, отдельные вещи оказались даже на теннисном корте. Я собрал их и побежал обратно.

Когда я вернулся, Колин уже исчез из класса, а остальные расселись по своим местам в ожидании урока. Тони смеялся, было ясно, что никакого раскаяния он не испытывает, на подбородке у него красовалась ссадина от удара Колина. Нодж стоял у окна и смотрел на улицу, думая о чем-то своем.

Я сразу понял, где Колин. Чуть дальше по коридору был мужской туалет. Я направился туда с жалкой кучкой вещей. Несколько раз в спешке

терял ботинок, и приходилось возвращаться за ним. В туалете шумели трубы, лилась вода из незакрытого крана. Туалет выглядел пустым, но одна из кабинок была заперта. Раздался звук спускаемой в унитазе воды. Сквозь этот шум были едва слышны тихие всхлипывания. Я подошел к запертой двери и заговорил каким-то несвоим, чужим голосом. Помню, что я растерялся, не знал, как произнести, казалось бы, такие простые слова:

— Колин, Колин, это я.

В ответ только всхлипывания и шевеленье за дверью.

— Колин, ты как?

Я заглянул под дверь кабинки. Увидел его икры, иссиня-белые. На полу была маленькая лужица: кто-то промахнулся. Кусок жесткой туалетной бумаги.

— Ты меня слышишь? Я принес твою одежду.

Я понимал, что говорю не то. Сама попытка получить отпущение грехов в обмен на такой незначительный и запоздалый поступок была малодушной. Вступившись за Колина, Нодж дискредитировал меня, ведь это должен был сделать я, его лучший друг. Думаю, именно тогда я стал считать Ноджа лицемерным мудаком. Только так

я мог заглушить свою совесть, защитить себя от собственного стыда.

Шум воды прекратился, и теперь слышно было только наше дыхание, его — с одной стороны поржавевшей металлической двери, мое — с другой. В нос мне ударил запах мочи. «Только бы никто не вошел», — вертелось у меня в голове. Колин по-прежнему молчал.

— Ну ладно, Кол. Я… я…

Я искал слова, способные затянуть рану, склеить то, что разлетелось на куски. Тогда я еще не знал, что внутри каждого человека есть невидимый мир, существующий по своим, не зависящим от наших желаний законам. В этом мире устанавливаются и разрушаются связи, появляются новые возможности, которые либо принимаются, либо отвергаются. По его законам выстраиваются отношения, иногда мгновенно, иногда постепенно. Сдвигаются невидимые тектонические плато, и их нельзя вернуть на прежнее место. Так что слов я не *смог* бы найти, они были бы или фальшивыми, наигранными, или невыносимо правдивыми.

Я услышал, как Колин снова заплакал. И тогда наконец посмотрел правде в глаза. Что бы нас ни связывало с Колином, как бы сильна ни была

наша любовь, все это теперь или в прошлом, или изменилось, или сошло на нет. Я вдруг понял, что произошло это не сейчас, что мое предательство в классе — лишь следствие давно начавшегося процесса. Конечно, я струсил. Но, пропихивая Колину под дверь брюки, трусы, ботинки, носки, я неожиданно осознал, что просто перерос его. Он стал для меня… обузой в моем извечном стремлении нравиться тем, с кем я хотел бы иметь какие-то отношения. Здесь начинается честолюбие. И заканчивается наивность. Таковы правила игры внешнего мира.

Я знал, что Колин не откроет мне дверь. Но теперь также знал, что именно этого я и хочу. Хочу, чтобы Колин оставался внутри своего ограниченного, запертого пространства, а я был снаружи, где есть выход через дверь, а из нее видна следующая, и еще много-много незапертых дверей вдалеке. Я повернулся и пошел в класс. Урок должен был вот-вот начаться. Учитель протолкнулся мимо меня к доске и встал перед классом. Тони подмигнул мне, и я, да простит меня Господь, ответил ему тем же. В классе наконец было тепло. Я посмотрел на пустующую парту Колина и почувствовал… ничего не почувствовал. Ничегошеньки.

Глава одиннадцатая
Нодж, или, точнее говоря, Ножд

Мы сидим в парке с Ноджем, или, точнее говоря, Нождем. Это Джон наоборот, как вы догадались. Он вывел на пару часов детей своей сестры, Флоренс и Дилли, покататься на качелях в Рэйвенскорт-парке. С Дилли пришел ее друг Бен. Нодж любит детей, и одним из многочисленных хорошо развитых у него чувств ответственности является семейный долг. Мы сидим на скамейке и смотрим, как две сестрички, одна трех, другая четырех лет, качаются на качелях. Мы почти не разговариваем, и вдруг Нодж ни с того ни с сего спрашивает своим тихим, бесцветным, никаким, как будто внутренним голосом:

— Так зачем ты женишься?

Нодж всегда задает вопросы напрямую. Это его манера подавать себя: прямолинейный, открытый, без фальши.

Он курит «Крейвен Эй». Как обычно. Сомневаюсь, что он любит «Крейвен Эй»: они очень крепкие, у него от них кашель (я как-то попробовал затянуться — горло обожгло так, будто я

проглотил горящую еловую шишку). Но «Крейвен Эй» — честные сигареты. Ведь это просто завернутый в бумагу курительный табак. Никаких спецэффектов, никаких скачущих по прериям ковбоев в шляпах. Что полностью соответствует имиджу Ноджа.

Сегодня на нем черные брюки, черные ботинки, серый свитер и болотного цвета ветровка. Мне кажется, Нодж никогда не носил никаких ярких цветов. По крайней мере, со времен школы. Даже на недавний маскарад, который я устроил (одеваться, понятное дело, надо было в героев мультфильмов), он явился в хорошо отутюженном сером, с маленьким хвостиком костюме Иа. (Я нарядился Поросенком Корнфредом из «Дакмена», и меня никто не узнал. Из Тони получился потрясающий Джокер из «Бэтмена», Колин тоже выглядел очень убедительно в костюме Батхеда. Или Бивиса?)

Как всегда, все чистое и отутюженное, будто только что из чистки. Нодж отличается точными движениями и умением элегантно — можно было бы сказать, красиво, если бы это не звучало абсурдно — курить. У него красивые руки, с длинными тонкими пальцами, не очень вяжущиеся с широким красным лицом.

У меня в руках банка содовой. Я отпиваю глоток, вытираю рот рукавом, оставляя на нем белую блестящую полоску сантиметров в десять. Кашляю и раздумываю, стоит ли отвечать, и если да, то насколько откровенно. Не знаю, насколько откровенно я могу ответить.

— А что? Тебе не нравится Вероника?

Нодж хмыкает и снова затягивается. Пальцы у него желтые.

— На самом деле нравится. Она очень хороша. И с головой у нее все в порядке. Я не это спросил. Я спросил…

Отгоняю от себя небольшое облачко дыма.

— Да помню я твой вопрос. Глупый вопрос. Почему все женятся?

— Я не спрашиваю, почему все женятся. Я спрашиваю, почему ты женишься.

— Точно так же я могу спросить тебя, почему ты не женишься.

— Это разные вещи. И вообще я первый спросил.

Непонятно, почему, начинаю злиться.

А между тем я по опыту знаю, что Нодж напоминает комнату, где живет эхо. Он сидит неподвижно, курит свои честные сигареты «Крейвен Эй», которые ему, я в этом уверен, совсем не нравятся,

и либо слушает других, либо задает бестактные вопросы. Но попробуйте задать вопрос о *его* жизни, о том, что он думает, что чувствует, он просто пожмет плечами и уйдет от ответа, а дальше его неподвижность и давящее молчание заставят вас, бормоча, рассказать ему все, пока он будет честно дымить, как паровоз.

— ДЯДЯ ДЖОН!

Дилли, племянница Ноджа, бежит к нам и орет как резаная. Нодж не торопясь тушит сигарету и наклоняется к малышке. На лице появляется что-то наподобие нежности. Я удивлен. Не думал, что Нодж способен на подобные чувства. Нежные, я имею в виду.

— Что случилось, солнышко?

Она подпрыгивает и обвивает его шею руками, горько плача. Бен бегает по площадке за какой-то девочкой, которая уже была здесь, когда мы пришли, и с которой до этого никто из них не был знаком.

— Дядя Джон, Бен говорит… Бен говорит… он говорит… — Она не может вымолвить ни слова, задыхаясь от возмущения и злобы. — Он говорит, что не будет со мной дружить. У него теперь новая подружка. Они не хотят со мной играть.

Она снова начинает плакать, и Нодж обни-

мает ее.

— Значит, Бен просто глупый. Потому что ты здесь самая красивая, и если Бен не хочет с тобой играть…

— Мне все равно. Я *сама* не хочу с ним играть.

— Ну, что ты, милая. Это же не так.

— Нет, так! Так! И я больше ни с кем не буду дружить, никогда. Никогда.

Личико Дилли сморщивается. Нодж пожимает плечами, смотрит на меня. Бен радуется жизни, не обращая никакого внимания на горе Дилли, а возможно, и радуясь ее слезам. Он обнимает другую девочку, явно дразня Дилли. Она взглянула на них, потом отвернулась.

— Дилли, смотри. Качели освободились. Иди, покатайся.

Дилли расцветает. Она тут же разворачивается и направляется к качелям, лицо все еще мокрое от слез, под носом сопли. Бен по-прежнему не обращает на нее внимания. А Флоренс играет с еще одним маленьким мальчиком. Они держатся за руки и смеются. Нодж снова поворачивается ко мне, поднимает свои сросшиеся брови, как будто говоря: «Дети, разве их поймешь».

— Тебе все это предстоит, Фрэнки.

— Не знаю. Женитьба еще не означает, что я

начну плодиться.

— Хм…

Мне знаком этот «хм». У Ноджа есть несколько вариаций «хм» на разные случаи жизни. Этот, например, отражает недоверие Ноджа к тому, что я говорю. Нодж считает, что я просто делаю вид, будто дети мне не интересны, поскольку их появление угрожает моей личностной целостности. Все это меня раздражает.

— Совсем не обязательно заводить детей.

— Хм… То есть… — Следует долгая пауза, глубокая, честная затяжка честной сигаретой. — Тогда зачем ты женишься?

Я начинаю ерзать на скамейке. Нодж в конце концов заставит говорить.

— Не знаю, Джон. Если честно, я не перестаю задавать себе этот вопрос с тех пор, как сделал Веронике предложение. И все же, мне это кажется правильным шагом.

Молчание.

Молчание продолжается.

Затяжки следуют одна за другой. На меня молчание действует угнетающе, Нодж к нему привык: он целыми днями крутит баранку в полном одиночестве.

— Понятно, что моложе я не стану. У меня такое

чувство… будто что-то давит, какая-то тяжесть. Не знаю, что это. В конце концов, мне уже тридцать. Я недавно смотрелся в зеркало, у меня в ушах растут волосы, черт побери. Как у старика. И все вокруг женятся. Не то что я поддался стадному чувству. Вероника действительно потрясающая девушка. Я знаю, иногда у нее отсутствующий вид, но это потому, что она работает с мертвецами. Нам хорошо вместе, мы подходим друг другу. И мне надоело чувствовать себя девушкой на выданье. В конце концов, хочется определиться, что ли. Подвести черту.

Он кивает. Я смотрю на площадку. Дилли снова играет с Беном, и новая девочка с ними. В этот самый момент Дилли как раз обняла ее и поцеловала. Флоренс играет с другим мальчиком, хохочет-заливается. Взрослые на площадке — и парами, и поодиночке — не обращают друг на друга никакого внимания. Мне приходит в голову мысль: «С возрастом мы замыкаемся в себе как моллюск в раковине». Отчуждение — один из признаков взросления.

Потом говорю:

— Кроме того, я ни к чему в жизни никогда не был привязан, и возможно, — просто как предположение — это неправильно. Я всегда

перестраховывался, всегда ждал чего-то лучшего. Так жить нельзя. Надо пустить корни, остепениться. Жизнь меняется, и нельзя стоять на месте. Вероника замечательная, из нее выйдет прекрасная жена. Она добрая, она любит меня. Она умная и человечная.

Я пытаюсь удержаться от того, что скажу дальше, но не могу. Это вошло в привычку, укоренилось.

— И в постели она супер.

Такие вещи *надо* время от времени произносить. Подпустить шуточку, подтвердить, что мы по-прежнему те же парни, что наши яйца при нас, что ни к чему на свете мы не можем относиться с излишней серьезностью, по крайней мере, в течение долгого времени. Всему есть предел. Надув шарик до определенного размера, его надо проколоть.

Нодж, пуританин, умеющий и всегда умевший заставить меня заливаться краской стыда, чуть заметно усмехнулся, давая понять, что тактика *«несмотря ни на что, я все тот же»* легла, как и следовало ожидать, на благоприятную почву. Потом он опять кивает, затягивается, снова кивает. Он ждет продолжения. Я позволяю паузе затянуться, но чувствую себя неуютно, слишком

далеко зашел разговор.

— Да нет, я пошутил. Во всяком случае, я не поэтому на ней женюсь. Скорее… чтобы…

На самом деле мне хочется спросить его, зачем он пристает ко мне с вопросами. Почему он не может просто порадоваться за меня, похлопать по плечу и пожелать удачи? Такая забота и расспросы с пристрастием ни к чему. От них исходит холодок.

— Ведь это отличный повод повеселиться?

Еще не закончив говорить, я понимаю, как жалко звучат мои слова. Откуда я это взял? И вдруг ответ высвечивается огромными яркими буквами как реклама на Пикадили-серкус. Глядя на серо-коричневую гамму его одежды, на плохо скрываемое осуждение, я понимаю, но не произношу вслух: «Это из-за *тебя.* Из-за тебя и таких, как ты. Из-за так называемых друзей. Я уже прошел все это со всеми вами. Ваша игра сыграна, чувства перегорели, все пиво выпито, да и „Крейвен Эй“ давно пора потушить. Вы — привычка, от которой мне надо избавиться, жизненный этап, который пора завершить. А Вероника — лестница в саду; ступив на эту лестницу, я поднимусь вверх. Поднимусь и уйду».

Я хочу быть нормальным, но с каждым годом

это все труднее, нормой становится дом, семья. Я хочу быть респектабельным членом общества. Я не хочу выбиваться из окружения. И больше не буду выбиваться.

Но действительно ли мои друзья — прошлое, а Вероника — будущее? Ведь есть еще другие векторы, работа, например. Что это за векторы? Мне хочется поговорить об этом с Ноджем, но он, похоже, не настроен разговаривать. Он настроен говорить, но не разговаривать. Есть четкие границы, за которыми вы натыкаетесь на запертую дверь.

Иногда я вспоминаю, что так было не всегда. «Иногда» — потому что есть вещи, которые я предпочитаю не вспоминать. И дело не в том, что они неприятны. Нет. Просто они выбивают меня из колеи.

Годами я не вспоминал о них, запрещал себе о них думать. Но женитьба — это луч, проникающий в самые темные закоулки. Иногда он освещает то, от чего у меня мурашки идут по коже, и я предпочитаю не смотреть в эту сторону. А иногда то, что он освещает, приковывает взгляд, и не смотреть нельзя. Нодж снова задает вопрос, поглядывая на часы. Я сосредоточиваюсь, надеясь, что это отвлечет меня от вылезающих

на поверхность химер.

— Ты решил, что мы будем делать четырнадцатого августа?

— Колин предложил сыграть в гольф.

— Хорошая идея. А ты как думаешь?

— По-моему, неплохо.

— Ладно. Мне надо отвести детей домой.

— Хорошо. Увидимся.

— Пока.

А химер уже не остановить. Уходя с площадки, я оборачиваюсь, смотрю на профиль Ноджа. Он не замечает этого, а я разглядываю его и не могу понять, что же меня в нем привлекало до сих пор. Как выяснилось сегодня, он может быть нежным, но это… так глубоко зарыто. Не раскопать, не подлезть. А может, меня в нем уже ничего не привлекает. Может, он меня пугает. Но чем?

В это самое место и направлен луч, эти самые химеры и выползают наружу. Я вспоминаю об этом, проснувшись ночью от шума проезжающей машины или от рева мотоцикла. Широко раскрыв глаза, сижу на кровати: я в своей спальне, но в другом времени, пятнадцать лет назад в доме родителей.

Глава двенадцатая
Утренняя слава

Кажется, к этому времени прошло не больше года с тех пор, как я познакомился с Ноджем ближе. Раньше мы не часто общались, даже после того, что случилось с Колином. Мы с Колином и Тони попали в один поток, а он в другой. Но мы оба хорошо бегали, и в пятнадцать лет вместе участвовали в эстафете 4×100. Коренастый, крепкий, без нынешней жировой прослойки, с сильными ногами, он был идеально сложен для спринта. Мы оба бегали за школу; случалось, я ронял эстафетную палочку, и Нодж, чем он и обратил на себя мое внимание, единственный из всей команды относился к этому с сочувствием, а не орал на меня. Я уже говорил, что тогда Нодж был другим. Мягче. Он ведь добрый. Почему-то я часто об этом забываю. А с виду не скажешь. Он скрывает это, как, впрочем, и все остальное.

В те времена он одевался почти кричаще. Я помню, у него был длинный красный свитер из альпаки, какие-то штаны песочного цвета и кеды, предвестники кроссовок. Тогда в нем было много

странного, сейчас это осталось только в манере курить, в остальном он как бы обезличился.

Жил он неподалеку от нас с Колином, так что мы стали ходить все вместе, пиная по дороге пустые банки из-под пива, покуривая втихаря сигареты в грязной ложбине на полпути между домом и школой. Уже тогда курил он неподражаемо. Я пытался копировать его движения, но выходило плохо.

У Ноджа всегда был острый язык; но тогда он шутил, в общем, безобидно, а сейчас его шутки — на грани цинизма. Он по-своему смел и мстителен. Если учитель был несправедлив к какому-нибудь ученику, Нодж подсыпал сахар ему в бензобак. Он никогда не уходил от драки: если кто-то задирался, он вставал, как слон, между нападающим и жертвой и предлагал им схватиться. Он всегда был на стороне слабого. Думаю, поэтому он мне и понравился. И уж точно поэтому вступился за Колина, хотя они никогда не были особенно близки. Но он знал, что значит быть слабым: он знал, какую цену за это надо платить, какой это позор.

И в то же время Нодж был жестким. В нем чувствовалась какая-то твердость, стержень, что ли, и наличие этого несгибаемого стержня с

годами становилось все очевидней. И опять-таки с годами это стало граничить с отстраненностью. Иногда мне кажется, он озлобился из-за чего-то, что произошло в эти десять лет, что стало болезненным разочарованием, вывернув его сильные стороны наизнанку. Но я понятия не имею, что это могло быть. Или не хочу иметь.

В общем, спустя несколько месяцев совместных походов домой и забегов в эстафетах мы начали встречаться по вечерам. Пятнадцать лет — это промежуточный возраст, когда ты уже вышел из детства, но еще не дошел до бара. И поэтому летними вечерами мы просто встречались и слонялись бесцельно, иногда не безобидно: то срывали дорожный знак, то пуляли из пневмонических пистолетов по птицам, нарочно промахиваясь.

Иногда мы звали с собой Колина. Ничего особенного не происходило, но был один случай, связанный с Колином, который я хорошо помню до сих пор. Я обсуждал это с Тони и Ноджем, и мы так и не смогли понять, что кроется за внешне безграничной податливостью Колина.

В тот раз мы с Колином и Ноджем возвращались домой, у меня был пневмонический пистолет, я резко повернулся и выстрелил в голубя — просто

смеху ради. Я, естественно, рассчитывал промахнуться, как всегда, но угодил в крыло. Птица издала странный сдавленный звук, отскочила в сторону и начала истекать кровью. Она шаталась. Ясно было, что ранение серьезное. Летать она больше не сможет.

Я испытал шок, меня тошнило от отвращения, мне было страшно, я чувствовал полную беспомощность. Птица начала пронзительно вопить, больше всего это походило на крик боли. Нодж посмотрел на меня, а я — на него.

— Что будем делать?

— Не знаю. Это…

— Нам придется…

Колин абсолютно спокойно взглянул на нас и сказал:

— Ее надо добить.

Мы с Ноджем в ужасе замотали головами.

— Можно позвонить в ветеринарку.

— Можно наложить шину.

— Надо посоветоваться с твоей мамой.

Но Колин не шелохнулся. А потом снова произнес тем же ровным голосом:

— Нет. Ее надо добить.

Он спокойно подошел к птице, взял один из булыжников, лежавших по периметру лужайки,

и с размаху бросил на голову птицы.

— Готово.

Голубь все еще двигался. Колин продолжал бить камнем, пока вместо головы на асфальте не образовалось кровавое месиво. Затем посмотрел на наши с Ноджем обалдевшие лица.

— Вот теперь все.

И пошел дальше. Мы с Ноджем молча двинулись следом. В первый раз в жизни я был напуган Колином. Меня испугало нечто темное внутри него.

Но это было из ряда вон выходящее событие. Обычно же мы бесцельно и безобидно шатались по улицам, мечтая поскорее оказаться подальше от этих мест. Нодж рассказывал о путешествиях, в которые он мечтал отправиться, я полагаю, в те времена он подразумевал под этим нечто большее, чем вождение такси. Он заходил в турагентства, брал все бесплатные буклеты, садился со мной на скамейку в парке и начинал разглядывать залитые солнцем картинки.

— Смотри, Шри Ланка. Какой пляж белый. А море? Разве такое может быть? Китайская деревня. Сейчас там, наверное, полно туристов. Ты только глянь! Здорово, правда? «Ямайка — жемчужина Карибского моря». С ума сойти! Восточный ост-

ров. Смотри, какие у них странные лица. А этот похож на Колина.

И все в таком духе. Он мог сидеть так часами, мечтая о том, как поедет в то или иное место, будет лежать на этом пляже, ходить по этим джунглям, карабкаться на эту гору, забираться в эту пещеру.

Но одно место привлекало его особенно, не знаю почему. Он был помешан на Фиджи. Он разглядывал в буклете снимки с высоты птичьего полета: яркие, радужные голубые и зеленые цвета. Он смотрел обе версии «Голубой лагуны». У него на стене висел портрет Брук Шилдс в юбке из тростника. У него была вся литература о Фиджи, когда-либо выпущенная.

— Смотри, Фрэнки. Это же… это же рай. Никого вокруг. Голубое небо, синее море. Коралловые рифы. Господи, как бы мне хотелось поплавать с аквалангом вокруг этих рифов. Там водятся акулы. Раньше там были охотники за скальпами.

Про Фиджи он знал все. Что архипелаг состоит из 322 островов, на которых можно жить, а еще там есть тысячи маленьких островков. Что существует семь основных видов кораллов: больше всего ему нравился огненный лосиный рог, с красивыми завитушками и изгибами, который

он видел, конечно, только на фотографии. Он знал про ритуальный напиток кава, про то, как традиционно запекают мясо в яме, про хождение по горящим углям, про то, как охотятся на скатов с копьями, про танец меке. Фиджи был его мечтой, его землей Обетованной, его собственной голубой лагуной.

Но пока Нодж не выбирался дальше Германии на Октоберфест, да еще однажды съездил по дешевой путевке на выходные на Ибицу.

Иногда в этих мечтательных прогулках принимал участие Колин, реже — Тони, у которого уже в те времена знакомых было больше, чем у всех нас, вместе взятых. Но в тот раз, в тот тщательно стертый из памяти и только сейчас пропущенный цензурой раз, мы были вдвоем с Ноджем.

В пятницу вечером мама с папой уехали на выходные и оставили мне ключи. Мы узнали, что Тревор, друг брата Ноджа, который был на три года старше нас, устраивал вечеринку в тот день. Собирались в отдельной комнате бара в одном из самых мерзких мест Шепердс-Буш, рядом с Колином, в Уайт-сити. У брата Ноджа была не лучшая репутация. Его несколько раз подозревали в мелких кражах и торговле травкой, он был шумный и довольно злобный. Но он сказал, что

сможет нас провести, а мы были готовы на все, лишь бы избавиться от скучного шатания по улицам, с киданием камней в кошек и жалобными, безнадежными взглядами вслед удаляющимся девчонкам.

В тот вечер мы долго фантазировали на тему о том, во что все это может вылиться. Пустой дом, грядущая вечеринка. Может быть, случится чудо, и удастся заманить пару девиц, хотя, если бы нам это и удалось, я не уверен, что мы знали бы, что с ними делать. К сожалению, мы оба были девственниками, переполненными до предела неосуществленным сексуальным желанием.

В шесть вечера Ноджа пришел ко мне. На окраинах в то время начала укореняться мода на готический/неоромантический стиль, не обошедшая стороной и Ноджа. В то время это казалось менее несовместимым с ним, чем сейчас. Он осветлил волосы, надел полосатую сетчатую футболку, джинсы, не обработанные снизу, и черные лакированные ботинки на высокой шнуровке. Я постарался не отстать от него: окрашенные разовым шампунем в фиолетовый цвет волосы, черная рубашка и виниловые брюки.

Вечеринка начиналась в половине девятого, нам предстояло убить какое-то время. Брат Ноджа

купил в баре две бутылки дешевого красного вина, которые Нодж и принес с собой, непривычно бережно обхватив их руками. Я открыл бутылку, мы сели за белый пластиковый кухонный стол, достали два стакана для виски и начали пить и слушать музыку. У нас имелось несколько дисков: «Хьюман Лиг», «Джой Дивижн», «Эрэйзер»[33].

Моя мама была усердным, хотя и не очень успешным садоводом. Шестиметровый клочок земли у нас за домом она засыпала торфом и засадила по краям декоративными растениями, вечнозеленым кустарником и многолетними цветами. Цветы на клумбах цвели. Нодж выглянул в окно, потягивая вино, уже слегка затуманенным от выпитого взглядом. Посередине ухоженной полосы земли, с левой стороны клумбы, цвели небесно-голубые цветы. Тяжелые веки Ноджа чуть дернулись, когда он их заметил.

— Видишь эти цветы?

Он нехотя поднял руку и показал широким жестом в сторону сада.

— И что?

Бутылка была пуста уже почти на три четверти. Вязкий, сладкий, омерзительный напиток, но мы

---

[33] Примечания: 33
Рок-группы 70-х и 80-х годов.

все равно пили, хоть и кривились.

— Мне кажется, это ипомея, «Утренняя слава».

Он кивнул, как бы добавляя значимости своему заявлению. Я почувствовал, что должен как-то отреагировать. Комната уже начала кружиться перед глазами. Я смог выдавить только:

— Ну и что?

Музыка закончилась. Я, шатаясь, добрался до проигрывателя и поставил другой диск.

— Они галлюциноге… галлюциногенные. Ты начинаешь видеть всякие вещи. Мне Трев говорил об этом. Как наркотик. Вот мускатный орех, например. Съешь его целиком, и улетаешь. Или банановые корки. А еще есть грибы, которые растут на поле для гольфа. И «Утренняя слава». Цветы небесной синевы. Они так же действуют. В них какая-то кислота. Но съесть надо много.

Я кашлянул.

— Еще чего! Цветы жрать! Я не какой-то там чертов хиппи.

Нодж отмел это возражение, взмахнув тонкой белой рукой.

— Есть надо не цветы, а семена.

Я сморщился.

— Трев сказал, что они очень даже ничего. Вкус поганый, но зато потом начинаются видения.

— Не хочу я никаких видений!

— Ты не понимаешь, — Нодж уже стоял, покачиваясь, на ногах. — Все хотят видений. Это как будто … как будто ты на Фиджи. Все голубое. И плывет. И… огненный лосиный рог. Давай! Где она их хранит? Спорим, в шкафу под лестницей?! Родители всегда хранят там всякий хлам. Под лестницей чего только не найдешь. Выпивка, крысиный яд, клей, щетки для пыли, свечи, совки. Как в лавке старого индюка-пакистанца. Все, что угодно.

Это было еще до того, как Нодж приобрел особо чувствительное отношение к этническим меньшинствам. Я не реагировал. Нодж открыл шкаф под лестницей и начал громыхать его содержимым. Я слышал, как что-то валилось с полок. Несколько минут спустя он появился в темном проеме с улыбкой до ушей.

— Вот, пожалуйста. Две упаковки «Утренней славы». Ну и шкафчик, я тебе скажу. Там наверняка живет какая-то нечисть. Я даже испугался немного. Там ведь темно. Тьма… тьма кромешная.

Я молча смотрел на два пакетика, которые он держал в руке. На обоих были картинки с цветами из сада, казавшимися огромными на фоне

идеально голубого неба. Одним движением он вскрыл оба и высыпал семена в блюдце на столе. Они были размером с булавочную головку, всего штук сто.

— Я это есть не буду. В них могут быть удобрения. Если не умрем, то какая-нибудь гадость в животе прорастет.

— Ни хера. Я попробую, — сказал Нодж. В те времена он готов был пуститься в любую авантюру.

И тут я понял: надо показать ему, что я ничего не боюсь. Он всегда брал инициативу в свои руки, всегда делал первый шаг. Когда он, например, остановил Тони, добивавшего Колина. Мне хотелось показать, что я тоже не лыком шит.

— Ни хера?

Тогда мы часто употребляли слово *хер.* Так мы пытались поскорее расстаться с детством. Нам нравилось его произносить, это запретное, взрослое слово. Когда однажды папа услышал, как я произнес его шепотом — мне было лет десять-одиннадцать, — он ударил меня по лицу. Единственный раз в жизни он поднял на меня руку. Тогда я понял, что буду произносить это слово гораздо чаще.

Я взял с полдюжины семян и проглотил их одним махом, меня передернуло.

— Ничего. Вкуса даже не почувствовал.

Нодж покачал головой.

— Их не глотать надо. Их надо жевать. Вот так.

Он аккуратно засыпал пригоршню семян в рот, а потом начал работать челюстями. Лицо постепенно искривилось, выражая сильное отвращение.

— Говно собачье, ужас какой-то. Вкус земли, смешанной с мелом и навозом.

Но он упорно продолжал жевать, а потом — лицо искривилось еще больше — проглотил. Он тут же отхлебнул вина, запрокинул голову и начал полоскать рот. Проглотил, побелел как полотно, посмотрел на меня и произнес шепотом:

— У меня сейчас кишки вывернет наружу.

И какое-то время я не сомневался, что так оно и будет. Он напрягся, и в глубине его гортани послышалось какое-то урчание. Потом он громко срыгнул и откинулся на стуле, но при этом был явно доволен собой.

— Терпеть можно. Очень даже ничего. Если, конечно, ты любитель всякой тухлятины.

Глядя на него и не желая отстать, я сгреб побольше семян, положил их в рот и начал жевать. Еще одно соревнование, одно из многих. Вкус был действительно мерзкий, семена быстро

превратились в вязкую массу, прилипавшую к нёбу и застревавшую между зубами. Мне совсем не хотелось их пробовать, независимо от того, вызывали они видения или нет; если вызывали, то тем более не хотелось. Но уже тогда началось наше с Ноджем соперничество, началось с беговой дорожки, а оттуда распространилось — хотя мне это было и невдомек — на все остальное. Я не хотел, чтобы он меня обошел или оказался смелее меня. Поэтому я улыбнулся, взял еще пригоршню и сказал:

— Ничего. Напоминает ореховое масло, но более вязкое, как будто добавили торфа и старую жвачку.

Нодж принял вызов и тоже закинул в рот новую порцию семян. Мы сидели друг напротив друга и жевали, пытаясь скрыть отвращение, забивая вкус не менее отвратительным красным вином. Как ни странно, нас не стошнило. Минут через пять-десять тошнота начала проходить.

После этого мы стали наперегонки допивать оставшееся вино — наполняли стаканы и старались проглотить одним глотком. Вторую бутылку мы осушили минут за пятнадцать.

Я почувствовал себя очень странно. Мне казалось, что сидящий передо мной Нодж плывет

и растекается, как будто вода, из которой он на 80 процентов состоит (это я узнал из учебника), наконец возобладала над костями и мышцами. Зрелище было не из приятных, как будто я смотрел на все сквозь толстое стекло замусоленного граненого стакана. Нодж попытался что-то произнести.

— Вось. Час.

— Что?

— Вось. Час. Идем?

— Ага.

Мы попытались встать и пойти на вечеринку. Нодж начал заваливаться, при этом непрерывно хихикал, а я схватил его за руку, пытаясь удержать. Он тянул меня вниз, ухватившись за мое запястье, а я пытался поставить его на ноги. Наконец, когда мне это почти удалось, он стал заваливаться на меня. От него пахло вином и табаком, но отвращения это у меня не вызывало. Мы стояли, покачиваясь и подпирая друг друга. А дальше, словно заевшая пластинка, прокручивается одно и то же…

С этого момента я помню плохо. Я слышал рассказы о людях, которые не помнят, что с ними было после того, как они выпьют. Честно говоря, я в это никогда не верил. Мне всегда казалось,

что они валяют дурака или просто хвастают, что могут напиться до полной потери самоконтроля. Но все, что я способен вспомнить — это то, как мы с Ноджем стоим посреди кухни, я держу его узкую руку, мы топчемся на месте, от вина и пережеванных семян комната кружится, как на детских каруселях, вокруг нас. И все — пластинку заело, дальше без конца одно и то же.

Но что-то все-таки *всплывает.* С того момента, как я сделал предложение Веронике, этот день нет-нет, да и напоминает о себе, хотя каждый раз, когда на мерцающем экране памяти мелькает расплывчатое изображение происходивших тогда событий, я старательно его стираю. Это не полноценный фильм, а скорее набор отдельных снимков, как в камере наблюдения. Кажется, они даже не в цвете. Цветные были бы слишком реальными, неопровержимыми.

А мерцающая камера наблюдения показывает вот что. Я лежу на кровати в своей комнате. Это односпальная кровать, стоящая у дальней стены, в трех метрах от окна. Я чувствую, что веки как будто придавило и голова трещит. Сильная боль пронизывает голову: от глазных яблок по окружности и до самого темени.

Сознание возвращается постепенно, как будто

в темной комнате вдруг зажигают тусклый свет, а потом начинают увеличивать его мощность, неторопливо поворачивая реостат. С улицы слышен гул машин, вой взлетающего самолета. Жара. Я в брюках, но без рубашки. Волосы слиплись от пота.

Какой-то непонятный химический запах, и что-то давит на спину, не тяжело, но неприятно. Сквозь закрытые шторы с улицы проникает слабый свет. Тикающие часы заставляют приоткрыть глаза. Прямо передо мной стоит будильник в виде Большой Птицы из «Улицы Сезам» — подарок тетушки, которая никогда не помнит, сколько мне лет. Пять минут одиннадцатого. Будильник стоит на полу.

Я пытаюсь вытянуться, но что-то мне мешает. Кровать стала как будто меньше. Реостат продолжает медленно поворачиваться по часовой стрелке, и я осторожно встряхиваю головой, но от этого боль возвращается с удвоенной силой. Я заношу руку за спину, пытаясь принять устойчивое положение, и натыкаюсь на что-то теплое, мягкое, влажное. Решив, что это какое-то животное, я вздрагиваю от неожиданности. Но оно не двигается. Я ничего не могу понять и осторожно, чтобы голова не разболелась, поворачиваюсь.

Нодж, закрыв глаза и ровно дыша, спит в одной кровати со мной. Он свернулся калачиком, как маленький, хотя его поза больше напоминает сидящего на корточках волосатого подростка. На волосах следы геля, на лице легкий пушок, мягкий предвестник щетины. Выражение абсолютной невинности, я бы сказал, блаженства. Он глубоко погружен в сон. Сначала я заметил, что на нем, так же как на мне, нет рубашки, но не придал этому никакого значения, потом — что он, прижавшись сзади, давит на меня, наконец, — что рука его лежит спереди на моих штанах. И довольно крепко сжимает мой возбужденный член.

Я замер, пытаясь осознать этот невероятный факт. Я боюсь пошевелиться. Чтобы не разбудить Ноджа, чтобы он не увидел то, что я так старательно пытаюсь забыть. Он вздыхает и начинает ворочаться. Тогда у него было крепкое, накаченное тело. Я каменею, от ужаса, а не от возбуждения. С постера на стене на меня смотрит улыбающийся Пит Бернс, вокалист группы «Дэд ор Элайв». Смотрит с издевкой.

Очень медленно, по миллиметру, затаив дыхание, я начинаю перемещаться к краю кровати. Мне кажется, что прошла целая вечность, преж-

де чем я опустил свою левую руку на пол. Рука Ноджа все еще не отпускает меня. Я начинаю елозить и извиваться, чтобы высвободиться, очень аккуратно, боясь разбудить его. Нащупав рукой ворс ковра, я переношу на нее центр тяжести. Постепенно сползаю в сторону, зависнув над краем кровати. Я уже опустил левую ногу: кончики пальцев касаются пола. Нодж разжал руку.

Нодж снова пошевелился, постанывая во сне. Я замер. Он выпрямил руку и дотянулся до моей икры. Опять не двигается. Я завис между кроватью и полом, опасаясь убрать ногу: это может его разбудить. Еще какое-то время рука и нога выдерживали вес тела, а потом я просто рухнул. Будильник в виде Большой Птицы падает на пол и начинает звенеть:

«Просыпайтесь, просыпайтесь! Солнышко уже встает!»

И хихикать, как Большая Птица.

Я моментально переворачиваюсь и накрываю будильник своим телом. Он по-прежнему звенит, но теперь это сдавленное бормотание, раздающееся из-под моей диафрагмы. Я чувствую его вибрацию: большой желтый пластмассовый клюв больно впивается мне в грудь. И снова, затаив дыхание, я поворачиваю голову и смотрю

на Ноджа. Замечаю, что на какое-то мгновение он приоткрывает глаза. Был ужасающий момент, когда наши взгляды встретились, а потом Нодж снова закрыл глаза. Не знаю, проснулся он или нет.

Чуть погодя мне удается нажать локтем на кнопку, и будильник выключается. Тогда я встаю, как можно быстрее застегиваю брюки, надеваю рубашку. Натянув баскетбольные бутсы, яростно борюсь со шнурками, пытаясь завязать их на ходу. Потом я скатываюсь по лестнице, вылетаю на улицу и бегу, бегу, голова трещит, как будто внутри разрываются миллионы снарядов.

В тот день я не скоро вернулся домой — все утро бродил по улицам и паркам. Выпитое накануне вино и съеденные семена бродили в желудке: я блевал в канавы и урны для мусора, вызывая отвращение прохожих. Видок у меня был, наверное, ужасный: поймав свое отражение в витрине магазина, я увидел болезненные мешки под воспаленными красными глазами.

Когда я с замиранием сердца открывал дверь, опасаясь, что Нодж еще не ушел, мне показалось, будто в доме что-то изменилось, он был заряжен не так, как раньше. Я глубоко вздохнул и пошел наверх, готовясь к худшему. К счастью, от Ноджа

не осталось и следа. Разве что смятая подушка да незастеленная постель.

Неделю мы не виделись. Это были каникулы после первого полугодия, и обычно мы каждый день перезванивались, а тут — тишина. В первый день учебы я вышел утром из дому, повернул за угол и заметил Ноджа на другой стороне улицы. Мы оба тут же остановились, приветственно помахали друг другу и улыбнулись; я перешел на его сторону улицы. О том вечере не было сказано ни слова. Как если бы ничего и не случилось. Уверенности не было ни в чем, но обстоятельства и детали неприятно тревожили подростковое сознание, которое безоговорочно и с удовольствием присоединялось к общему хору насмешек над *гомиками* и *педиками.* Одним словом, о том вечере не было сказано ни слова ни тогда, ни после. Как будто все нам просто привиделось во сне — плод фантазии, не больше. Я и сейчас иногда не уверен, было ли это на самом деле.

Глава тринадцатая
Особый день Вронки

Мы живем у меня. Потому что у Вероники безвыходная ситуация. В ее квартире ремонт. Надо починить протекшую крышу, перенести несущую стену, чтобы все не рухнуло, а кроме того, покрасить семь стен. Но вид из окна во двор по-прежнему отвечает самым строгим требованиям — фэн-шуй в полном порядке. Надеюсь, это остановит поток денег, высосанных ремонтом. Помимо тех двадцати тысяч, в которые это выльется для нее. Для нас.

Какая злая сила заставила Вронки купить эту квартиру вопреки соображениям здравого смысла? Ее собственная глупость. Так же, как моя, Тони, Ноджа или Колина. Но у каждого из нас есть своя индивидуальная зона идиотизма, своя слабая точка. И умные мы тоже по-разному, в разных местах. Именно поэтому нам так трудно друг друга понять.

Я, например, не уверен, кто из нас двоих глупее: я или Вронки, или мы глупы одинаково, и в чем именно наша глупость состоит. Но мы оказались

в ловушке, выхода из которой не хватает ума найти ни у меня, ни у нее.

По тому, как Вронки намазывает масло на поджаренный хлебец, я вижу, что она страшно злится. Она слишком сильно давит на хлеб — слышно даже, как нержавейка карябает хрупкий хлебец. Она делает это слишком сосредоточенно, как будто выполняет какую-то сложную манипуляцию. Доводит масло до самого края. Потом аккуратно разравнивает, чтобы каждый сантиметр был покрыт ровным слоем.

Двадцать алых роз с каплями воды на лепестках (вчера я тайком сунул их в воду), лежат на столе перед ней, а она не обращает на них никакого внимания. Она поблагодарила меня, но формально, сквозь зубы. Одинокий шип вылез наружу, прорвав упаковочную бумагу. Открытку она так и не прочла.

Я знаю, на что она злится. Но теперь уже я и сам начинаю злиться из-за того, что *она* злится, потому что чувствую себя виноватым. Нарочито громко ставлю чашку на блюдце, кажется, оно вот-вот треснет. Я делаю это, чтобы заявить свою позицию. Она поворачивает ко мне голову, при этом кожа на ее шее натягивается и образует узор из ровных, прилаженных друг к другу морщин.

— *Что* с тобой?

Она говорит с полным ртом, из-за ненакрашеных губ на стол вырывается маленький фонтанчик крошек. Она смахивает их на пол не глядя. Они исчезают в стыковых щелях натертого паркета.

Через окно пробивается яркий солнечный свет: идеальная погода для середины августа. Я выпускаю воздух через ноздри. Хотел вздохнуть, но вместо этого фыркнул.

— Ты знаешь, что дело в тебе.

Она возвращает голову в прежнее положение, смотрит в окно, сохраняя многозначительное молчание.

— Мне казалось, что мы обо всем договорились, — продолжаю я, стараясь не заводиться.

Она не двигается. Потом словно уходит в себя. И я слышу даже не шепот, а шипение.

— Это *ты* обо всем договорился. У меня не было даже возможности выбрать.

С этими словами она встает и, по-прежнему не глядя в мою сторону, решительно направляется к выходу. Она не одета, розовая кожа у нее между ног выглядит влажной: мы занимались сексом. Это было полчаса назад. Тогда казалось, что все замечательно. Как же быстро все может поме-

няться. Оглянуться не успеешь.

Она вышла, а я продолжаю сидеть, пытаясь разобраться с этой проблемой. На меня находит приступ фатализма: я прихожу к выводу, что проблема неразрешима. Иду в кладовку и вытаскиваю большую белую сумку, заваленную моими рубашками. Клюшки для гольфа вылезают из-под расстегнувшейся молнии, некоторые цепляются за рубашку.

Металл, застряв в дереве и ткани, лишний раз подтверждает, что все сегодня против меня. Я пытаюсь вытащить клюшку, кажется, это третий номер. Она не поддается. Я опять тяну, на этот раз с силой. Что-то порвалось. Клюшку я вынул. Ее конец обмотан куском тонкой голубой ткани. Моя любимая рубашка. Подарок Вероники на день Святого Валентина. Вероника, конечно, скажет: как это символично, что я порвал ее первый подарок. Она считает, что окружающий мир разговаривает с нами посредством не связанных между собой событий. Она во всем видит смысл.

Я смотрю на клочок голубой ткани и чувствую, что часть моей ярости перешла на эту голубую ткань. А остатки испарились и улетучились. В самом деле, разве мог я рассчитывать на понимание с ее стороны?

Я знал, что беды не миновать, когда она сказала мне, в какой день родилась. Я не *мог* в это поверить. Если Вероника права и окружающий мир действительно ведет с нами разговор, то *что* он хотел сказать, создав *это* противоречие? Но я все-таки не верю, будто он разговаривает с нами, этот самый окружающий мир. Так, случайное совпадение, неудачное стечение обстоятельств. Подобное происходит сплошь и рядом.

Вероника вернулась. На ней бледно-розовый, стеганый, бесформенный халат. По низу орнамент из цветов. На ногах тапочки в виде игрушечных мишек. По задумке они должны быть веселыми, а в реальности какие-то испуганные.

Вероника по-прежнему не смотрит на меня. Снова садится и возвращается к процессу намазывания масла. Желтое масло уже растопилось и превратилось в серебристое.

Я заговариваю, но голос звучит более униженно, чем мне бы хотелось:

— Я порвал свою лучшую рубашку. Клюшкой для гольфа.

И протягиваю ей клочок материи как флаг капитулирующего войска. Она поворачивает голову и внимательно смотрит на материю, будто пытаясь прочесть послание, зашифрованное в

переплетении нитей.

— Хорошо. — Голос твердый, уверенный. — Может, кто-то пытается тебе что-то сказать.

Я задираю голову и закатываю глаза. И тут же понимаю, что выглядит это фальшиво, я видел однажды по телевизору, как нечто подобное делал какой-то тип. Оставив эту затею, опускаю голову так, чтобы увидеть, который час. На часах 9.45. У меня есть еще минут пятнадцать.

Я подхожу к тому месту, где она сидит, слегка согнувшись над обеденным столом. Обнимаю ее за плечи и тихонько сжимаю. Опять не то. Она не двигается, только чуть напрягается. Я убираю руку, чувствуя свою полную беспомощность. Тут она оживает, поворачивается ко мне. Крепко сжатые губы побелели.

— Ведь они тебе даже не больно-то нравятся. Судя хотя бы по тому, как ты о них отзываешься. Ты только и делаешь, что критикуешь их.

— Это не так.

— Ты сказал, что Тони… — Она подвигала челюстями, будто обкатывая слово, прежде чем его выплюнуть. А потом выпалила на одном дыхании, как бы желая поскорее от него избавиться: — Козелебаный. Ты *так* и сказал.

Вероника практически не употребляет крепких

выражений. Она говорит чудак вместо мудак, фигня вместо хуйня. Значит, сейчас она рассердилась не на шутку. Я слегка шокирован, но в глубине души испытываю удовлетворение. Это даже возбуждает. То, как она растягивает губы и прижимает кончик языка к верхним зубам, произнося «н».

— Я сказал, что он *вел* себя как козел ебаный. Тогда, с Оливером Кроули. И с этим трудно не согласиться. Но до этого я говорил, что он мне нравится. Я сказал: «Тони — потрясающий парень, хотя иногда и ведет себя как козел ебаный». Но это же не означает, что он козел ебаный, так сказать, постоянно. А про Ноджа и Колина я вообще ничего не говорил.

— Говорил. Ты говорил, что они утомляют.

Я пытаюсь вспомнить, было ли такое, но в памяти ничего не всплывает. Приходится импровизировать.

— Я лишь упомянул, что им самим иногда кажется, будто их общество утомляет. Иногда, очень редко. И это не значит, что они мне не нравятся. Во всяком случае, я ничего такого не говорил, что не мог бы повторить при них.

Это неправда, и легкое дрожание голоса выдает меня. Но Вероника не слушает. Она начинает

задавать свой вопрос, даже не дождавшись конца моей фразы. Ее голос пузырится, как краска под паяльной лампой.

— Фрэнки, ты знаешь, что бывшие алкоголики становятся самыми праведными трезвенниками? Отрекаясь от своих слов, можно зайти очень далеко.

— А? Да. Насколько я понимаю — поправь меня, если я ошибаюсь, — отрекаться от своих слов, значит, говорить что-то, с чем ты не согласна. Когда же я говорю то, с чем ты *согласна*, это называется правильным взглядом на вещи. Не так ли?

Вероника не обращает внимания на мой сарказм. Я даже не уверен, что она его заметила. Она просто продолжает развивать свою мысль.

— Почему они так важны для тебя? Ты с ними видишься чаще, чем со мной. И почему ты почти никогда не берешь меня на ваши встречи? Ты их стесняешься? Или ты меня стесняешься?

Я сижу рядом с ней за столом. Я не могу ответить на ее вопрос. Как ни парадоксально, и *то,* и *другое* — правда. Я склоняю голову на руки и надавливаю пальцами на лоб, натягивая кожу. По бледно-розовому следу на лбу можно безошибочно определить, что я чем-то расстроен.

— Никого я не стесняюсь. Они мои друзья. Мои

лучшие друзья. Мы знаем друг друга сто лет. Но, понимаешь, отношение к человеку не бывает всегда одинаковым. И это нормально.

Я говорю на слегка повышенных тонах, подчеркивая, что в данный конкретный момент мне не слишком нравится сама Вероника, но намек достаточно тонкий, чтобы при необходимости можно было легко отпереться. Тру лоб. Глаза, до этого закрытые, открываются. Через щелку между ладонями вижу, как Вероника надавливает пальцем на прорвавший упаковку шип. Появляется кровь.

— Я пытался тебе объяснить. У нас существует… как бы это сказать? Традиция. Нет, это не просто традиция, это уговор.

— И никто никогда его не нарушал.

Она произносит это с легкой издевкой в голосе, покачивая головой из стороны в сторону.

— Именно. Никто из нас никогда его не нарушал. Однажды Тони даже специально вернулся из Франции ради этого дня. В другой раз Колин сломал лодыжку и пришел на костылях. Мы планируем свои отпуска так, чтобы они не попадали на этот день. А в нынешнем году это особенно важно, потому что… я не хотел тебе говорить, это секрет, и он касается Тони. — Я закрываю глаза и

замолкаю на время: меня самого шокирует то, что я собираюсь произнести. — У Тони обнаружили какую-то болезнь крови.

От масштаба и неправдоподобности этой лжи у меня перехватило дыхание. Вероника не купилась ни на секунду, даже в первый момент: она повернулась, пристально посмотрела на меня, по лицу было видно, что она совсем мне не верит.

— Полная чушь.

— Это правда! Он может *умереть.* То есть окончательный диагноз еще не поставили. Нужны дополнительные анализы. Возможно — такая вероятность есть, — что все обойдется. А если нет? Как я смогу с этим жить? И потом, меня поражает твое отношение. Мой друг, может быть, *умирает,* а ты думаешь только о том…

— Фрэнки, перестань. Перестань, пожалуйста.

— Нет, не перестану. Ты ведешь себя жестоко и недостойно. — Откуда-то возникает возвышенный пафос оратора, меня окутывают все новые слои *лжи.* — И дело тут не во мне. Дело в Тони. Вопрос бы вообще не стоял, если бы дело было во мне. Я бы с удовольствием провел день с тобой. Ты для меня важнее, тут не может быть никаких сомнений. Я бы и в голову не брал это четырнадцатое августа. Но для Тони это очень важно,

понимаешь?

— Фрэнки, ты такой лгун, такой лгун, такой ЛГУН.

— Я не *лгун.*

— Это тоже ложь. Если ты не лгун, почему тебя зовут Фрэнки-Выдумщиком?

— Я же говорил тебе. Это просто школьное прозвище. Меня уже давно так никто не называет.

— Ну, так с этого момента я буду тебя так звать. Потому что я не встречала еще…

— Хорошо. Послушай. Иногда я *действительно* вру, признаюсь. Но тебе я никогда — *никогда* — не врал.

— Правда?

— Правда.

— Клянешься могилой своего отца?

— Клянусь.

— Ладно.

Она протягивает руку, берет свою сумочку и принимается что-то в ней искать. Мне все это не нравится. Я начинаю нервничать и потихоньку водить пальцем по родимому пятну, накручивая сходящиеся круги.

Спустя несколько секунд она извлекает из глубин сумочки маленький прямоугольный предмет. Какое-то время крутит его перед собой.

Теперь я вижу, что это микрокассета. На секунду мне в голову приходит безумная мысль, уж не жучок ли она установила.

— Что это?

— Твой приговор. Рентгеновский снимок. Это то, что ты есть на самом деле.

— Больше похоже на кассету, вынутую из стиральной машины.

Вронки достает маленький диктофон, вставляет кассету внутрь, нажимает на кнопку. Сначала я слышу громкий звуковой сигнал, а потом вдруг голос Тони:

«Привет, дружище, это Тони. Давно не виделись. Не хочешь выпить пива? Позвони мне. Как тебе „Рейнджерс“? 2–0. Ладно. Мне пора».

Звуковой сигнал.

«Фрэнсис, это мама. Ты не можешь купить мне картошки в супермаркете? Я не очень хорошо себя чувствую. Извини, что загружаю тебя, милый. Не забудь, у бабушки день рождения на следующей неделе. Позвони мне. Пока».

Звуковой сигнал.

«Фрэнки, перезвони мне. Это Нодж».

Звуковой сигнал.

Лицо Вероники напряглось, как сжатые в кулак пальцы. Я по-прежнему ничего не понимаю. Яс-

но, что это пленка — старая, судя по сообщениям — с моего автоответчика, но я не могу себе представить, что именно…

Звуковой сигнал.

«Алло, Джайлз. Привет, это Фрэнки Блю. Да… Нет, я в Олимпии с миссис Тери. Руперта поблизости нет?.. А, есть?.. Ага, давай».

Это мой голос, я оставляю сообщение на собственном автоответчике. Долгая пауза. По-видимому, я с кем-то беседую, но слов не разобрать, однако мне по-прежнему не ясно, в какой момент это происходило. Теперь я снова говорю в трубку.

«Руперт, привет. Я правильно понимаю, что та двухуровневая квартира у Буш-Грин уже ушла?.. Угу… Угу… Да ну? Вот это удача! А ключи у кого? Здорово! Нет… Слушай, а ты не можешь соврать, что их потеряли? Придержи их, хорошо? Я приеду… погоди-ка…»

Теперь я вспомнил. Господи, откуда это у нее? Это наша первая встреча, я показывал ей одну из квартир. Я просто пытался ее раскрутить. Делал вид, что звоню на работу. Теперь я опять говорю издалека. В этот раз разобрать можно.

«Слушай, Вронки, нам, кажется, здорово повезло. Только сегодня утром на продажу выставили

одну квартиру, но кроме нас на нее нацелились „Фаркуорсонс“ и „Бракстон и Хэллидей“. Хозяева хотят продать ее как можно скорее, а у „Фаркуорсонс“ есть покупатель, готовый заплатить все сразу. Из этой конторы уже два раза звонили и просили ключи. Если поторопимся, мы еще успеем их опередить, но только ехать туда надо прямо сейчас».

Из маленького диктофона раздается голос Вероники.

«Я… я не могу. Через полчаса я должна быть на работе».

Я начинаю дергаться, пытаюсь вырвать диктофон у нее из рук. Она тут же отводит руку так, чтобы я его уже не достал.

— Да ладно, Вронки. Это не в *счет.* Ведь это всего лишь работа. Я не люблю обманывать. Но невозможно…

Она прикладывает палец к губам, призывая меня послушать. Я закрываю рот и со злостью отворачиваюсь к окну. Слышу, как из диктофона раздается лающий, развязный смех — мой смех.

«Да нет! Ничего подобного! Просто очень симпатичная девушка… Ну да, и это тоже, если уж тебе так интересно… Хм-м-м… Ладно, ладно! Если хочешь знать, даже у меня душа — не камень».

— Что ж, — говорит Вероника, выключая диктофон. — Это приятно узнать.

Когда я начинаю говорить, в голосе звучит с трудом сдерживаемая злоба.

— Откуда это у тебя?

— Я проверяла сообщение, которое моя подруга должна была оставить на твоем автоответчике, и наткнулась на это.

— И ты ничего мне не сказала. Это ведь тоже своего рода ложь.

— Фрэнки, не льсти. *Мне* до тебя далеко.

Никогда не оправдываться. Только наступление.

Таково основное правило лжецов.

— Когда ты нашла эту пленку?

— Сто лет назад. Через пару недель после нашего знакомства.

— Значит, ты знала, что я лжец. Почему же ты меня сразу не бросила? Почему даже согласилась выйти за меня замуж?

— Иногда я сама задаю себе этот вопрос.

— Так все-таки, почему? Почему ты сказала да? Давай, расскажи. Я помню этот день. В особый восторг ты не пришла. От счастья на стенку не полезла. Что заставило тебя согласиться выйти замуж за такого коварного лицемера, как я?

— Хрен его знает.

Снова ругается. Очевидно, Вронки сильно расстроена. Но я чувствую, что она оправдывается. Надо продолжать наступление.

— Ну, так расскажи мне. Почему ты решила выйти за меня замуж?

— Давай не будем, Фрэнки.

— Почему? Почему? Почему?

Она посмотрела на меня: в глазах недобрый огонь.

— Ты правда хочешь это знать?

— Да, я хочу это знать.

— Ладно. Потому что лампочка перегорела.

— Что?

— Перегорела лампочка на вывеске ресторана.

— О чем это ты, черт побери?

Теперь защищаться приходится мне. Я растерян и сбит с толку. Вероника грустная, но решительная. Мне вдруг расхотелось, чтобы она говорила. Но она продолжает, ровным, тихим, монотонным голосом.

— Когда ты сделал мне предложение, я растерялась и не знала, как реагировать. На самом деле я была почти уверена, что откажу. Мне казалось, ты слишком… молод. Дело не в возрасте. Молод по сути. Ты не видел того, что видела я. В больнице.

Мертвых детей на каталке, с извиняющимися лицами. Изнасилованных и задушенных женщин. Мужчин с отказавшим сердцем и сгнившей печенью. Ты понимаешь, о чем я говорю. И я уже была готова сказать: извини, Фрэнки, не могу выйти за тебя. Но я не была *абсолютно* уверена. Оставалась какая-то легкая тень сомнения. И я оглянулась в надежде, вдруг что-то поможет мне определиться.

— И что это могло быть?

Вероника не обратила внимания на мой вопрос.

— Я внимательно разглядывала все вокруг. И увидела. Прямо передо мной, над твоей головой. Перегорели лампочки. На вывеске ресторана.

— Не понимаю. О чем ты?

— Помнишь, ресторан назывался «Дар Ангела». Ты это помнишь?

— Конечно, помню.

— Так вот, «р» и последняя «а» не горели. Понимаешь? Ты понимаешь?

— *«Р»* и «а» не горели. И что?

— То, что слова уже утратили свое изначальное значение. Они приобрели новый смысл.

Я стал с силой тереть родимое пятно, так что оно начало болеть.

— То есть надпись была «Да Ангел». И что из этого? — И вдруг до меня дошло. — Вывеска говорила «да», ты это имеешь в виду?

— Именно так. Там было написано «Да Ангел».

— «Да Ангел». И ты согласилась выйти за меня, потому что на вывеске не горели две буквы.

— Не только потому, что они не горели. Не только потому, что в результате получилось «да». Но еще и потому, что это был в буквальном смысле *знак.*

— Да, знак, обозначающий всего лишь название *ресторана.* Место твоего пребывания.

— Дело в том, что расположение лампочек организовано так, чтобы передать людям определенную информацию. Именно для этого существуют буквенные значки и составленные из них вывески. Они несут некое послание. И в этот момент я поняла, мне стало ясно: нужно сказать «да». Понимаешь, я верю, что у меня есть ангел-хранитель. Я серьезно. И тут: «Да Ангел». Как я могла ослушаться? Некто передавал мне послание. Окружающий мир разговаривал со мной, Фрэнки. Он и с тобой разговаривает. Я не могу этого объяснить. Я доверяю логике. И я умею рассуждать логически. Но логика — это еще не все.

Я был поражен. Помню, как в ресторане меня

охватила паника: я представлял себе, что она взвешивает все «за» и «против» — ее желания, надежды, ее любовь ко мне, ее страх дать определенный ответ. Я помню это затянувшееся, неловкое молчание.

Оказывается, она согласилась только потому, что перегорели эти чертовы лампочки на вывеске.

Мне кажется, в этот момент у меня буквально отвисла челюсть, так обычно изображают удивление в мультиках. Некоторое время мы молчали, но тишина не угнетала. Потом я снова принял эстафетную палочку.

— Что ж, спасибо за информацию. По крайней мере, теперь стало ясно, что ни моя внешность, ни мои качества не были частями этого уравнения. Но мне непонятно, какое отношение это имеет к нашему разговору. Мы ведь говорим не о том, почему решили пожениться.

— Мы говорим именно об этом, — еле слышно сказала Вероника.

— Мы говорим о том, почему не можем провести сегодняшний день вместе. Ты понимаешь? Я не виноват… что ты родилась именно четырнадцатого августа. Я знаю этих ребят уже сто лет.

С видом победителя Вероника нарочито мед-

ленно кладет кассету обратно в сумку.

— А меня ты знаешь всего лишь полгода.

— Да.

— Так что это простая арифметика.

Про себя я думаю: «Да, это простая арифметика». Но вслух говорю:

— Нет. Однако мне кажется нехорошо бросать всех своих друзей, как только ты… когда… — Я хотел сказать «влюбился», но тут же понимаю, что от этого мое заявление станет только более запутанным. — В тот момент, когда у тебя появляется новая подружка.

Получилось еще хуже. Я пытаюсь загладить сказанное и выкрутиться, но уже поздно. Вероника говорит жестким, одетым в броню голосом:

— Ты опоздаешь.

Нож опять скребет хлебец. Она не ест, просто намазывает масло на хлеб снова, и снова, и снова. Я не двигаюсь. Она права. Если я не выйду сейчас, то опоздаю.

— Я совсем не то хотел сказать. Извини. Понимаю, как это прозвучало. Будто ты просто очередная подружка. Конечно же, это не так. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь.

— Очевидно, не так, как к своим друзьям. Их-то ты любишь.

— Да, но любовь к друзьям — совсем другое.

Когда Вероника снова начинает говорить, голос у нее меняется. В нем есть раздражение и замешательство, но злобы меньше.

— По-моему, это странно… И немножко… грустно. Ты цепляешься за память о прошлом. Это же нелепо, ты пытаешься вернуть или удержать то, чего уже нет.

— Мы ничего не пытаемся вернуть.

— А что же вы делаете?

Я тупо смотрю на Веронику, соображая, что ответить, и с удивлением обнаруживаю, что не могу придумать ответ.

— Так или иначе, — говорит Вероника, — но я уверена, что все было отнюдь не столь радужно, как это тебе рисуется сейчас. Чем дальше уходит прошлое, тем больше люди склонны его приукрашивать.

— Нет, — слышу я собственный голос, и меня самого удивляет, как громко он звучит. — Все было именно так. Мы просто решили, что не будем забывать прошлое, и точка. Это вопрос…

— Вопрос чего? Жизни и смерти?

— Нет. Не совсем. Это вопрос… это…

Мой голос снова выдает неуверенность.

Вероника негромко и презрительно подска-

зывает:

— Вопрос привычки. Не более того. Дурной привычки, от которой ты не в силах отказаться. Это же очевидно.

Заставляю себя отвлечься от темы беседы. Я всегда так делаю, когда хочу отогнать ненужные мысли. Пытаюсь сконцентрироваться на времени. Я не люблю опаздывать. Ключи от машины висят на крючке около окна. Я снимаю их и начинаю вертеть в руках. Раздается несколько звуковых сигналов. Это специальное устройство на брелке, так их можно быстро найти. Сигнал откликается на свист, но иногда звучит просто так. Это начинает меня раздражать.

— Привычкой можно назвать что угодно. И в мире нет ничего очевидного, — говорю я.

Говорю просто потому, что это неплохо звучит, или для того, чтобы что-то сказать, неважно что. И только потом понимаю, что оба заявления — чистая правда, абсолютная истина.

Перекидываю сумку с клюшками через плечо, потом снова подбрасываю ключи на ладони. Я все еще надеюсь, что рана может зарубцеваться. Но между нами по-прежнему невидимое поле обиды и непонимания.

Иду к выходу. Металлические набойки на бо-

тинках ритмично стучат, пока я приближаюсь к свежевыкрашенной входной двери. Понимаю, что нужно подойти к Веронике и попытаться поцеловать ее, но сдерживает уверенность в том, что она оттолкнет меня. Я открываю рот, некоторое время ничего не произношу. Вырвавшиеся слова кажутся нелепыми и совершенно неуместными:

— Ну… с днем рождения.

Ведь сегодня у нее день рождения, ей исполняется тридцать лет, именно 14 августа, в наш священный и неприкосновенный день, который мы поклялись никогда не забывать. Я просил и умолял ее, пытался объяснить, что ничего страшного не произойдет, если отметить день рождения завтра, что я компенсирую все с лихвой, что речь идет о каких-то часах, минутах и секундах. Отметим завтра, а не сегодня. Какая в сущности разница? Но она и слушать не хотела, она ничего не хотела *понимать.*

Вероника молчит и не двигается. Я смотрю на ее затылок, волосы отливают красным, они такие объемные на фоне ее хрупких плеч, увеличенных подплечниками халата. На секунду я готов сдаться. Положить клюшки обратно в шкаф, позвонить Тони, извиниться, показать ей, что она

значит для меня. Но моя слабость длится всего лишь секунду, не больше.

— Лучше тебе не выходить за эту дверь.

— Почему?

Вероника молчит, собирается с духом.

— Если ты сейчас уйдешь, между нами все кончено, — говорит она натянутым, как струна, голосом.

Я понял, что вызов брошен; теперь вопрос в том, хватит ли у меня сил настоять на своем. Меня злит попытка шантажа.

— Ты что, увидела еще один знак?

— Что?

— Твой ангел что-то передал тебе?

— Не говори глупостей.

— Что случилось? Он явился пред тобой во всем своем сиянии, невидимый остальным? «Не упускай момент, сматывайся, дорогая».

Я разворачиваюсь и молча направляюсь к двери.

Когда я дохожу до нее, слышу, как Вероника кричит мне вслед:

— Я серьезно, Фрэнки. Не уходи. — И потом: — Не понимаю. Почему это *так* важно? Почему ты должен отказаться…

Остального я не слышу. Закрыв дверь, иду по

коридору, выхожу на улицу. Оглянувшись, вижу в окно, что Вероника сидит в том же положении, в каком я ее оставил. Почему это так важно? Потому что это 14 августа. 14 августа, 14 августа, чертово, проклятое, долбанное 14 августа.

Глава четырнадцатая
14 августа 1984 года

Я очень хорошо помню этот день. Наверное, я помню его лучше и яснее, чем что бы то ни было в моей жизни. Я могу забыть, что было неделю назад, даже вчера. Но только не 14 августа 1984 года.

А между тем ничего особенного не произошло. Во всяком случае, *со стороны* так могло показаться.

Это была середина наших последних летних каникул. Мы — Тони, я, Нодж и Колин — постепенно начинали понимать, хоть никогда и не говорили об этом, что жизнь, которую всезнающие взрослые характеризовали нам как «настоящую», приближается, — эта неизвестная, захватывающая, преисполненная опасностями, неудачами и падениями, жизнь.

К выпускному классу мы все четверо уже были друзьями. Обнаружив, что обаяние — гораздо более действенная сила, чем угрозы или злоба, Тони в нужный момент с присущим ему обаянием извинился перед Колином за давний

инцидент. Колин был страшно польщен тем, что Тони снизошел до извинения, и стал со временем его верным клевретом. Слабые всегда бесконечно благодарны сильным за обращенное на них внимание, пусть даже мимолетное. Если бы я не был так уверен в преданности Колина, мог бы и приревновать его.

Прыщи Колина с возрастом прошли, появилась некая оборонительная уверенность в себе, которой оказалось достаточно для того, чтобы он нормально чувствовал себя среди… менее уязвимых одноклассников. Отец больше не доставлял ему хлопот: старого алкаша нашли мертвым на клумбе в Рэйвенскорт-парке. С бутылкой «Спешиал Брют» в руках.

В спорте Колин так и не преуспел, но и тут нашел свою нишу. В тот год был очень популярен велосипед BMX, а Колин катался на нем виртуозно. Он выделывал всевозможные трюки: резкие повороты, вертолетики, ездил на заднем колесе, спускался по лестницам. У него было полное снаряжение: ботинки на рифленой подошве, гоночные трико, кожаные перчатки, защита для подбородка с сеткой спереди, чтобы дышать. Колин чувствовал себя почти крутым, в первый и последний раз в своей жизни. Пожалуй, нико-

гда он не был так близок к счастью, по крайней мере, со времени нашего мимолетного детства, проведенного вместе.

Спортивные игры сплотили Тони, Ноджа и меня; бег — меня и Ноджа, футбол — меня и Тони, крикет — Тони и Ноджа (они с неизменным успехом отбивали на пару). Вместе с новоявленным крутым Колином мы были единственной четверкой в классе, болевшей за «Рейнджерс», радовавший нас в тот год успехами. В своем дивизионе «Рейнджерс» разгромил «Арсенал» и «Сперз»[34], «Ливерпуль»... список можно продолжить. Малыш Стиви Викс не мог промахнуться, пробить мимо ворот, даже если очень старался. Ставки нашей команды росли день ото дня. Сумасшедший был сезон.

14 августа выдалось очень жарким. Память сохранила следующий краткий перечень его атрибутов: бегуны Зола Бадд, Коэ, Оветт и Крэм на Олимпиаде 84-го года, Морган Фэрчайлд в «Дороге Фламинго», Аль Пачино в «Лице со шрамом», Ку

[34] Примечания: 34

Сокр. от «Хотсперз» (Сорвиголовы) — разговорное название команды «Тоттенхэм хотспер».

Старк, яппи[35] (до того, как они стали юппи), а также теннисисты Крис Эверт и Джон Ллойд. По телевизору начали показывать сатирический кукольный сериал «Ситтинг имидж», который соперничал по популярности с «Ремингтонской сталью». Торговцы наркотиками сидели за рулем «бимеров». «Подземка», телепрограмма «С добрым утром». Пиа Задора с ее потрясающим бюстом — предел наших мечтаний, несмотря на то, что мы смеялись над ней, да и она сама не раз выставляла себя на посмешище.

В то утро — волны дрожащего от жары воздуха настигли меня сразу, как я проснулся в муниципальном доме с тремя спальнями, к которому мои родители приковали себя почти на всю жизнь — мы решили провести день 14 августа все вместе. Чтобы отметить экзамен по вождению — Тони сдал его первым из нас на прошлой неделе. Он должен был заехать за нами ко мне домой. Нодж

---

[35] Примечания: 35

Термин «яппи» появился в английском языке в начале 70-х гг. Слово yuppie представляет собой аббревиатуру от «young urban professional», что переводится как «молодые городские профессионалы». Это обычно жители крупных городов. Они получили хорошее образование и имеют постоянные достаточно высокие заработки, а также честолюбивые амбиции. Яппи энергичны, прагматичны, воспитаны и, как правило, лояльно настроены политически. Во всем мире именно они и составляют костяк среднего класса, который у нас пока находится в стадии формирования.

и Колин уже пришли, и мы сидели втроем у окна эркера и выслеживали Тони, сдвинув тюль в сторону. Занавески пахли моим домом, моей улицей, запах чистоты, неопределенный запах с легким оттенком искусственного цветочного освежителя. Это один из тех запахов, у которых есть вкус: горьковатый и вязкий одновременно. Вкус прошлого, родителей, ограничений.

Мы услышали на другом конце улицы шум, это было похоже на звук мощного мотоцикла — нарастающий, расширяющийся рев. Я скользнул взглядом по соседним домам, пытаясь разглядеть, что происходит на ближайшем перекрестке. Было только десять утра, но в жару испарения от асфальта искажали предметы, заставляя колебаться и извиваться изгороди из бирючины на противоположной стороне улицы.

Оказалось, что ревела машина: большая двухлитровая «кортина-гиа» с V-образным двигателем — цвета золотистого металлика с затемненными окнами, люком и прикрепленным сзади запасным колесом. Она неслась на угрожающей скорости сквозь плывущий от жары воздух прямо по середине дороги. Голуби бросались врассыпную при ее приближении. Женщина, толкавшая перед собой дешевый детский складной стуль-

чик на колесиках, проводила машину злобным взглядом. К реву мотора примешивалась громкая музыка. Я мог разобрать только басы ударных, этого было недостаточно, чтобы понять, кто играет.

«Кортина» подъехала ближе. Она мчалась с восточной стороны дороги, освещаемая сзади ярким солнечным светом. Сверху по лобовому стеклу шла полоска зеленого полупрозрачного пластика: на одной стороне было написано Винс, на другой — Сью. Краска изрядно пооблупилась, над одним из колес корпус был даже перекрашен сверху фиброволоконкой. На капоте красовались ржавые пятна, но в тех местах, где краска сохранилась хорошо, машина была отполирована до блеска, и солнечные блики вспыхивали то там, то тут на крыше, куда свет струился сквозь листву платанов, выстроившихся вдоль Черчилль-стрит.

Теперь я мог разглядеть Тони, он пригнулся к ветровому стеклу. На нем были большие солнцезащитные очки с желтыми стеклами, и он жал на гудок автомобиля, изображая первые восемь тактов «Colonel Bogey». Я уже понял, что за музыка играла: это был «White Lines (Don’t do it)»

Грандмастера Флеша и Мелле Мела[36]. Сильные, нескончаемые басы.

Тони снова нажал на клаксон и закурил: когда средства позволяли, он курил «Махаваттс» — длинные коричневые турецкие сигареты без фильтра. Лакричная бумага вечно прилипала к его губам и окрашивала их в коричневый цвет. Он держал сигарету между пальцами и покачивал ею в такт бушующих ударных, оравших и вырывавшихся из динамиков стереопроигрывателя «Пионер». Я слез с подоконника, подтянул свои белые «ливайсы», с любовью выстиранные и отглаженные матерью. Она же их и подшила, но недостаточно коротко, так что они волоклись по мостовой, если я их постоянно не подтягивал. Сзади на подпушке, которая часто попадала под каблук моих черных «мартинсов», уже вылезла нитка. На футболке у меня было написано «Like a virgin»[37]. Рукава были длинноваты, а сама

---

[36] Примечания: 36

Грандмастер Флеш — первый ди-джей, придумавший удобный ди-джейский пульт, который позволяет плавно сменять одну мелодию другой, а также — знаменитый «скрэти».

Мелле Мел — лидер «Furious Five», мастер острополитических рифм, увековеченный в золотом рэпперском фонде такими вещами, как «The Message» и «White Lines».

[37] Примечания: 37

«Like a Virgin» («Как девственница») — название альбома Мадонны.

футболка слишком короткая, едва доставала до пояса брюк, — дешевая подделка, грубо контрастировавшая с моей аккуратной стрижкой пай-мальчика.

Я подождал, пока Тони подаст мне знак: улыбка осветила его красивое, загорелое лицо. Свет проникал сквозь листву, и оттого потрескавшаяся мостовая была разрисована тенями.

Именно в этот момент я ощутил вспыхнувший внутри меня свет; не знаю, как объяснить это чувство: мне показалось, будто открылись врата и свет буквально полился из них. Длилось это, кажется, не больше пяти секунд, но отблеск того света был со мной весь день, и я помню его до сих пор, для меня он стал воплощенным осознанием свободы, возможностей, перспектив. А еще я помню Тони в его золотистой «кортине» — с улыбкой на лице, тогда еще искренней и открытой, в окне машины; для меня он по-прежнему неотделим от того ощущения. Спустя годы я не раз переживал все это снова, будто тоскуя по тем светлым мгновениям, рассматривал старую фотографию, навсегда запечатлевшуюся в моей памяти.

Фотография ожила, начала двигаться, и я пошел по тропинке сада к золотистой «кортине», все еще оглашавшей окрестности ревом мотора.

Под машиной поблескивала лужица бензина, расплывавшаяся радужными концентрическими кругами. Тони потянулся, открыл заднюю дверцу, и я влез внутрь. Несмотря на то, что все окна были открыты, обтянутое синтетикой сиденье обжигало. Я переместился: подо мной уже хлюпало болото.

— Машина моего дяди. Он дал мне ее на один день.

— Весьма великодушно.

— Ну, выбора у него особо не было. Он сейчас мало на что может повлиять, угодил на два года в «Скрабс»[38].

Я помню, что Нодж даже не улыбнулся и не подал виду, что машина произвела на него впечатление. Его невозмутимость и абсолютное нежелание проявить хотя бы малейший признак восторга в те времена были напускными: мы все примеряли на себя тот или иной образ, пытаясь найти наиболее подходящий, и Нодж лишь недавно выбрал отстраненность и манеру удивляться сдержанно и спокойно. Ему в каком-то смысле не хватало размаха: способность рассуждать он применял только к узкому мирку

---

[38] Примечания: 38

«Уормвуд-Скрабс» — лондонская тюрьма.

собственной жизни.

Отстраненность в конечном счете переросла в нынешнее отсутствие гибкости. Но тогда возможность выбора и новых перспектив плясала вокруг и внутри как солнечные блики, игравшие на натертом до блеска лобовом стекле «кортины». Тогда мы еще не знали ни о коагуляции, ни о неотвратимом процессе отвердения, что впоследствии станет основной побуждающей силой в нашей жизни.

Нодж очень спокойно подошел к машине. На нем были армейские шорты цвета хаки, какие-то супермодные спортивные ботинки (он копил полгода, чтобы купить их), надетые на босу ногу, сверху — простая белая майка без всяких надписей. Одежда была тщательно отутюжена, даже шорты, на которых неуместно и ханжески топорщилась складка. Сидя сзади, я мог видеть лицо Ноджа в боковое зеркальце — Тони не удосужился приладить его в правильном положении. Когда Нодж не знал, что на него смотрят, лицо его становилось открытым, нежным, предвкушающим что-то и как будто извиняющимся за свою радость.

Тони снова завел мотор. Только тогда Нодж заговорил, точнее, закричал, перекрывая шум

мотора и Моррисси[39], который пел «Никогда не гаснущий свет». Тони поставил эту песню специально для Ноджа. Нодж подпевал Моррисси, красиво и жалостно завывавшему. Перестав петь, он вдруг сказал:

— А колымага-то ржавая насквозь, черт побери.

Мы никогда не говорили друг другу ничего приятного и ободряющего. Никогда не показывали, что поражены или сильно обрадованы чем-то, что сделал один из нас. Не знаю, почему. Таковы были правила. Ведь правила существуют всегда и везде.

Колин, на лице которого еще остались едва заметные следы прыщей, был одет в дешевые застиранные джинсы и полосатую майку. Он выглядел странно, но, с другой стороны, Колин всегда так выглядел. Одежда всегда была чуть велика или мала, и всегда немного устаревшей модели. Его неловкие и зажатые жесты только дополняли картину. Он растянул губы в своей неторопливой, бесконечной улыбке, которая, как губка, впитывала все вокруг. Можно было хвалить Колина, унижать, смеяться над ним, в

---

[39] Примечания: 39
Моррисси — вокалист и автор текстов группы «The Smiths».

ответ вы получали все ту же улыбку, как у одного из героев в «Безумных гонщиках».

Тони включил передачу и слишком быстро отпустил сцепление. Машина заглохла, нас сильно толкнуло вперед. Тони начал смеяться как сумасшедший. Он до сих пор так смеется: громко, высоко, это смахивает на истерику. Волосы у него торчали на макушке, но при этом не были слишком жесткими, он подражал Нику Кершоу или Ховарду Джонсу[40]. Тони завел мотор, а потом закричал, перекрывая шум:

— У меня кое-что есть, — и улыбнулся, обнажив свои крупные, как мозаичные изразцы, зубы.

— Что у тебя есть? — спросил я.

— Увидите, — ответил Тони, демонстративно показывая пальцем на свой карман.

«Кортина» рванула с места. Теперь колонки разрывал «Элиминатор» «Зи Зи Топ»[41], очевидно, для Колина. Тормоза издали жуткий звук, когда Тони повернул за угол.

Никто из нас не знал, куда мы едем, да это и

---

[40] Примечания: 40

Ник Кершоу (р. 1958) — гитарист, композитор и певец, снискавший славу «британского Стиви Уандера»; Ховард Джонс — пианист, композитор и певец, признанный «лучшим английским исполнителем 1983 г.»

[41] Примечания: 41

«Зи Зи Топ» (ZZ Top) — американская хардроковая группа. Альбом «Элиминатор» (Eliminator, 1983) считается лучшим в их дискографии.

не имело, похоже, никакого значения. Все окна были открыты, и горячий ветер гулял по машине. Бесконечная череда домов, выстроенных вдоль улицы, осталась позади, как будто отделившись от нас. Солнце нещадно палило в золотистую крышу.

Я нащупал свою сумку, достал несколько банок пива «Хофмайстер» и раздал их.

— Вперед, за медведем! — воскликнул Колин, сделав неудачную попытку сымитировать рекламный ролик.

Когда я открывал свою банку, пиво выплеснулось фонтаном наружу, замочив сидящего рядом со мной Колина: он взвизгнул от неожиданности, и немудрено, поскольку пиво было охлажденное. Тони с Ноджем не удержались от смеха, и Тони еще сильнее надавил на газ. Хотя мы ехали по переулкам, скорость у нас, по-моему, была не меньше пятидесяти миль в час. Пиво оказалось ничего. Я услышал, как Нодж кричит на переднем сиденье:

— Куда мы едем?

Ответ Тони унес ветер, но довольно скоро мы свернули к Хэрроу-роуд.

— Это же кладбище, — удивился Колин.

— Не просто кладбище. Не какой-нибудь склад

костей. Это некрополь. Город мертвых, — сказал Тони и вдарил по тормозам.

Мы с Колином врезались головами в передние сиденья, а потом нас снова отбросило назад, когда машина остановилась. Я даже вскрикнул от боли:

— Уй-й-й!

— Скоро ты все мне простишь, — пообещал Тони.

Как только мы остановились, зной стал снова подбираться к нам. Тони залез в карман и достал маленький белый сложенный конвертик, сантиметра три в длину и полтора в ширину. Он помахал им перед собой, как веером.

— Сульфат? — спросил Нодж с довольным видом.

Тони покачал головой и достал одностороннее лезвие из верхнего кармана рубашки.

— Это получше любой самогонки. Это Воплощенная Свобода. Это Декларация Независимости. Это высший класс. У нас есть «кортина-гиа». У нас есть пиво «Хофмайстер». Куча банок. У нас есть большое жаркое солнце. И у каждого из нас есть друзья — то есть мы. Наконец, и это самое главное, у нас есть два грамма первосортной дури.

— Что это такое? — спросил Колин. Пятно от

пива на его футболке еще не высохло.

— Кокаин. Это кокаин, — сказал Нодж. Не часто мне доводилось видеть, чтобы Нодж был так искренне поражен.

Колин начал нервничать. Он редко употреблял наркотики, разве что легкие, от которых уже тогда превращался в одержимого параноика.

Мы все вылезли из машины и выстроились в ряд на бескрайнем пустынном кладбище. Был полный штиль. Тони опустился на колени на надгробную плиту со стертым от времени именем. Осмотрелся по сторонам.

— Сейчас дурь не признают. Но лет через сорок или пятьдесят она станет обычным явлением. Поаккуратней. Больше порошка нет.

Он начал медленно высыпать белый порошок на прохладный черный мрамор надгробной плиты, орудуя острым краем лезвия как маленькой лопаткой. Все смолкли. Кокаин в те времена был не так доступен, как сегодня, когда он почти приравнялся к спиртному и его можно недорого купить практически везде. Тогда дурь была в новинку, стоила недешево и считалась неким атрибутом рок-звезды. Мы испытывали трепет и страх одновременно. Вдалеке прозвучала полицейская сирена. Колин дернулся, осталь-

ные не обратили на это никакого внимания, загипнотизированные запретным ритуалом, разворачивавшимся на наших глазах; особую мистичность этому действу придавали окружавшие нас могилы мертвецов.

Аккуратными движениями Тони разделил порошок на четыре части. Один из памятников отбрасывал тень, которая помогала нам переносить жару. Казалось, что время остановилось. Я смотрел, как муравей карабкается по мрамору, потом он исчез в траве.

Тони свернул трубочкой десятифунтовую купюру и нагнулся к плите, практически сложился пополам. Был слышен вдох, затем он выпрямился, шумно шмыгая носом, обслюнявил палец, подобрал то, что осталось от его кучки, и втер это в десны.

Колин выглядел растерянно.

— Зачем ты это делаешь?

— Просто делай так же и не спрашивай. Десен вообще не чувствуешь.

— А зачем тебе нужно их не чувствовать?

Вопрос, на который сегодня ответить так же трудно, как тогда, повис в воздухе. Теперь Нодж проделывал то же, что и Тони, наклоняясь и вдыхая. Он закинул голову, как будто это помогало

порошку добраться до легких.

Я взял свернутую банкноту и вдохнул свою порцию. В носу начался пожар и страшный зуд. Я стал судорожно чесать переносицу, пытаясь избавиться от этих ощущений. Тони уже курил одну за одной свои «Махаваттс», распространяя вокруг аромат лакрицы, смешанный с запахом табака.

Потом банкноту неуверенно взял в руки Колин. Он явно нервничал; я видел, что ему не хочется делать этого, но он боится опозориться перед товарищами. Колин начал наклоняться, выронил купюру, поднял ее с земли и снова свернул, но неаккуратно — с одного конца у нее вылезал уголок, как острие огромного карандаша. Он запихал трубочку в правую ноздрю, потом вдруг наклонился к последней порции кокаина и выдохнул. Порошок взвился в воздух маленьким белым облачком, запорошив Колину и без того бледное лицо. Когда Колин поднялся, он в этой кокаиновой маске походил на Пьеро. Мы с Тони рассмеялись, а Нодж, как обычно, пытавшийся держать себя в руках, расплылся в широкой улыбке.

— Извините… я… я не привык…

Колин покраснел и тяжело дышал. Банкнота, точно хобот, все еще торчала у него из ноздри.

Когда мы пришли в себя от смеха, Тони выделил Колину новую порцию, которую ему удалось наконец вдохнуть, хотя после этого он долго отхаркивался и кашлял.

Вскоре мы пошли назад к машине. Тони завел мотор и включил «Пионер» на полную громкость. Казалось, что машину раскачивает от мощных басов. Тони вырулил на дорогу задним ходом. Мы смеялись, когда машину качало из стороны в сторону.

Было еще только около двенадцати, и солнце стояло прямо над головой. Я начал ощущать действие кокаина: сердце бешено колотилось, настроение становилось все лучше и лучше. Мы хором подпевали кассете.

«Кортина» резко завернула за угол, нас изрядно тряхнуло. Колин захихикал, упав мне на колени, я помог ему сесть на место.

Тони вскрикнул, затормозив около заброшенного футбольного поля с воротами без сетки по обеим сторонам газона и едва заметной разметкой. Он выключил мотор, полез в бардачок, достал еще одну банку пива и прокричал:

— «Челси» против «Куинз Парк Рейнджерс»! Первый дивизион Лиги «Хофмайстер-Буш».

Затем выскользнул из машины, открыл багаж-

ник, достал маленький фотоаппарат и кинул его мне. Я поймал одной рукой. Тони встал в позу, я сделал снимок и положил аппарат в карман. Он достал из багажника черно-белый футбольный мяч и послал его ударом ноги на середину поля. Нодж выпрыгнул из машины и догнал мяч. Кокаин придал ему сил, и он несся по полю как молния. Колин, Тони и я побежали за ним, у каждого в руке была банка с пивом. Мы бросили монетку, чтобы определить, кому придется играть за «Челси».

Тот день был каким-то странным: куда бы мы не пошли, кругом ни души, как будто все происходило в частной, закрытой Вселенной. Улицы были пустыми. И в этом парке, к которому примыкало несколько жилых кварталов, тоже не было никого, кроме маленькой, обезумевшей от жары собачонки, метавшейся по полю.

Готовясь к матчу — мы с Колином играли за «Куинз Парк», а Тони и Нодж — за «Челси», — я чувствовал, что силы мои беспредельны, что я неуязвим. Наркотик и солнце придали мне бешеный заряд, я смотрел на смеющиеся лица своих друзей и втайне восхищался ими: казалось, мы знали друг друга всю жизнь и никогда не расстанемся. Вдалеке гавкала собака, откуда-то

слышался перестук колес на железной дороге.

Создавалось ощущение, что мы можем играть бесконечно, несмотря на жару и на то, что нас всего четверо на огромном поле. Мы сняли футболки: Колин, обнаживший свое бледное тело в оспинах; Нодж — красный и приземистый; долговязый, смуглый, мускулистый Тони; я — среднего роста, обычного телосложения, разве что родимое пятно на лбу покраснело и переливалось на солнце, как бы компенсируя отсутствие выразительности в моей неприметной внешности.

Обычно во время игры нас захватывал дух соперничества, но в тот раз все были почему-то веселыми, чуткими, великодушными. Играли мы хорошо, несмотря на выпитое пиво и наркотик; поле как будто сжималось под ногами, а ворота расширялись. На огромном зеленом пространстве не было никого, кроме нас и собаки, шныряющей по периметру. В какой-то момент, когда счет сравнялся, Нодж пробил в сторону ворот прямо от центрального круга. Мяч приземлился, начал скакать около левой штанги, и вдруг собака выскочила на поле и ткнула его головой точно в середину ворот. Классический пример того, что Ноджу всегда везет. Тони и Нодж свалились на спину от смеха, а Колин стал гоняться

за собакой, крича, что гол не считается. Но это не имело значения. В тот день ничего не имело значения. Мир вокруг был залит ослепительным светом, и мы в центре этого мира чувствовали себя счастливыми, беззаботными, глупыми, всемогущими.

После сорока минут игры под палящим солнцем мы начали потихоньку сдавать и в конце концов уселись вчетвером в центре поля. Волосы у всех были взъерошены, дыхание — прерывистым, мы растянулись на траве на самом солнцепеке. Я повернул голову и наблюдал за преломлением света, за движением воздуха, искаженного зноем. И вдруг вдали, где-то на краю парка, заметил ярко-синее пятно.

— Мне кажется, там бассейн, — сказал я почти шепотом. Слова зависли в воздухе над нами, как туман.

— Не может быть, — откликнулся Нодж.

— Почему? — спросил Тони. Он никак не мог отдышаться. Кожа у него на шее начала облезать. Завтра ему придется несладко.

— Это было бы слишком хорошо, — пояснил Нодж.

Так же, как сейчас, в те времена Нодж верил, что ничего хорошего впереди нет, — и это при

его-то везении!

— Давайте все-таки взглянем, — предложил я.

Мы заставили себя подняться и потащились к тому месту, где виднелось голубое пятно. Когда мы приблизились, стало ясно, что это действительно бассейн, детский лягушатник. С одной его стороны низвергался крошечный водопад, откуда, пенясь, лилась белая вода. В окружении плавящегося асфальта она казалась небесно-голубой. Невероятно, но вокруг тоже не было ни души. Тони первым прошел через ворота, срывая на ходу остатки одежды. Его яйца и член подскакивали на бегу. Он прыгнул с разбега в глубокую часть бассейна, но и там воды ему было по колено. Он тут же лег на спину и погрузился под воду, потом вынырнул, выпустил фонтанчик изо рта и начал петь «Sweet Dreams are made of this»[42] «Юритмикс».

Мы тоже сняли одежду. Колин раздевался последним, стыдливо повернувшись к нам спиной. А потом в полном молчании все погрузились в воду. На нас снизошло почти благостное состояние. Мы полностью расслабились. Наши вытянутые тела оставляли белые следы на поверхности во-

---

[42] Примечания: 42

Это и есть мои сладкие сны *(англ.)*.

ды. Водопад шумел в ушах.

Не знаю, сколько времени мы провели в этом лягушатнике, лишь изредка покачиваясь на волне при порыве ветра и молча, если не считать долгих, удовлетворенных вздохов, время от времени нарушавших тишину. Свет отражался от воды и разрисовывал наши лица причудливыми бликами. Иногда над головой пролетал реактивный самолет. Вдалеке все еще лаяла собака, но это были единственные звуки, раздававшиеся вокруг.

В какой-то момент я достал фотоаппарат и велел всем позировать голышом. Мы подняли наши банки с пивом и начали совершенно искренне смеяться. В воде плавал футбольный мяч. Я установил автоматический режим, и фотоаппарат сработал, разнося щелчок эхом по парку.

И вдруг ни с того ни с сего мне стало грустно. Это длилось всего одну секунду, как маленькая пародия на предшествовавший экстаз, но ощущение было достаточно сильным, чтобы выбить меня из колеи. Появилось странное ощущение. Будто я нахожусь на пике своей жизни. И лучше уже не будет, а эти волшебные мгновенья растворятся в последующей монотонной, будничной жизни. Чувство невосполнимой потери пронзило

меня, как нож мясника, я вдруг увидел себя спустя годы, оглядывающегося назад в недоумении, неспособного понять, что же произошло, почему мне не дано больше пережить такие чудесные мгновенья. Грусть исчезла так же неожиданно, как наступила. Но в любом случае переливающийся шарик нашего приподнятого настроения лопнул от громкого крика:

— И что это вы тут делаете? Это же бассейн для малышей! И оденьтесь, черт побери.

Мы не заметили, как из-за кустов рододендрона вышел сторож. В руках у него была палка с острым наконечником для сбора мусора, которой он тряс в нашем направлении. Несмотря на жару, он был в полной форме, застегнут на все пуговицы и в галстуке. Добрый, старый служитель парка. Я думал, они все уже вымерли.

— Господи, какой ужас! — патетически воскликнул Тони, изображая испуг.

— Надо делать ноги, — подхватил Нодж нашу коронную шутку.

— Это хороший полицейский. Во всем виновато общество, — добавил я, завершая представление.

Мы опять начали смеяться, но все-таки послушно покинули бассейн и, промокнув влагу футболками, оделись. Сторож наблюдал за нами

с возмущением. Ему было лет пятьдесят, лысый, переполненный злобой и разочарованием. Что же жизнь делает с людьми! Как можно довести человека до такого состояния? Мне вдруг стало жаль этого стража порядка, закованного в наглухо застегнутую рубашку и форменную куртку. Мне показалось, что он завидует нам, нашим еще не утраченным возможностям. Одевшись, я подошел к нему.

— Извини, приятель. Мы не знали, что здесь нельзя купаться.

Я посмотрел в его глаза с пожелтевшей роговицей. Они были безразличные, пустые и грустные. Его переполняло какое-то чувство, в котором он не хотел признаваться. Он отвел взгляд и уставился на бассейн.

— Идите домой.

Сказано это было уставшим голосом человека, признавшего свое поражение, от злобы не осталось и следа. Меня охватило необъяснимое желание положить ему руку на плечо, но он развернулся и ушел.

Выстроившись в ряд, на этот раз развернутый вдоль горизонта, как певцы в хоре, мы пошли через парк обратно к «кортине». Хлорка щипала глаза, но я по-прежнему чувствовал себя свежим

и бодрым. На обратном пути мы почти не разговаривали, сшибали на ходу одуванчики и нехотя бросались друг в друга подвернувшимся под руку репейником. Мы были без пяти минут взрослыми, но внутри каждого из нас еще теплились очаги мира детских привычек и представлений. Однако я знал, что этот мир внутри нас угасает, находясь на грани полного исчезновения.

Потом мы зашли в паб: это был огромный старый сарай в двадцати километрах от окраины города — где-то в районе Аксбриджа или Пиннера. В пабе тоже почти не было народу, мы сидели и пили ледяное пиво под тентом в саду и закусывали сыром, луком и хлебом. Часам к трем мы уже клевали носом: футбол, солнце и кокаин сморили нас.

Тогда мы залезли в «кортину», не зная, что делать дальше, но не особенно унывая по этому поводу. Тони завел мотор и, не имея никакой конкретной цели, вырулил на дорогу, ведущую к Шепердс-Буш. В тот вечер «КПР» проводил товарищеский матч перед открытием сезона. До игры оставалось часа четыре. Надо было как-то убить время, решили заехать к Тони, выпить еще пива и прикончить остатки кокаина.

Когда мы уже подъезжали к Шепердс-Буш, я

заметил, что веки у Тони стали тяжелыми. Вдали виднелись огни Лофтус-роуд, огибавшей Уайт-сити. Колин тихонько похрапывал: он практически сполз с сиденья. Нодж тоже закрыл глаза. Тоннель на Хангер-лейн был перекрыт, пришлось ехать в объезд. Меня немного беспокоило смутное ощущение, что Тони слишком резко тормозит на светофорах.

И вдруг послышался звук разбитого стекла. Тони, в состоянии, близком к ступору, посмотрел по сторонам. «Кортина» буквально срезала подфарники черного такси, стоявшего на обочине. Лицо водителя перекосилось от ярости. Он уже вылезал из машины.

Первым пришел в себя Нодж. На него находили иногда приступы безудержного безрассудства, поражавшие полным пренебрежением к последствиям.

— Гони! — закричал он, пока Тони мешкал с коробкой передач.

Я вытянулся как струна, не зная, что делать. Колин все еще спал, полуулыбка блуждала на его губах. Тони вдавил педаль газа, просвистел мимо разворачивавшегося такси, пролетел на красный свет и въехал на круговой перекресток. Я знал, что развязка на Хангер-лейн в этом месте была

похожа на летающую тарелку: над массивным бетонным кругом возвышался прозрачный, невесомый круг из стекла.

Я повернулся, чтобы посмотреть на такси, мчавшееся за нами. И увидел, что водитель переговаривается по рации.

— Он связался с другими таксистами! — закричал я.

Тони заржал как сумасшедший, кружа по периметру развязки. Несмотря на ржавый кузов, у «кортины» был очень мощный движок.

Когда мы свернули на восточное направление А-40, я увидел еще одно черное такси, двигавшееся в противоположную сторону по маленькой дорожке. Наблюдая за ним, я услышал скрежет тормозов и заорал на Тони, включившего музыку на полную громкость:

— Мать твою! Он разворачивается.

Тони оглянулся, и теперь мы оба смотрели на второго водителя такси, который тоже разговаривал по рации. Он находился так близко, что я мог рассмотреть его сквозь лобовое стекло машины: большой, грузный, голова в форме шара. Усталость как рукой сняло.

Колин проснулся и недоуменно смотрел по сторонам, пытаясь понять, что происходит.

— Может, нам лучше остановиться? — тихо сказал он испуганным голосом.

Но Тони уже завелся; было ясно, что он останавливаться не собирается.

Мы выехали на трассу А-40 и помчались по направлению к Джипси-корнер. На светофоре было полно машин, и нам пришлось притормозить и остановиться. От преследователя нас отделяло автомобилей десять-пятнадцать, но черных такси было уже не одно и не два, а целых четыре. Два ближайших остановились на светофоре в двадцати метрах от нас. Я видел, как оба водителя вышли из машин и быстро направились в нашу сторону. Они не бежали. И почему-то именно это вселяло страх. На левой обочине мы заметили знак поворота к Центральной больнице Мидлсекса.

— Это совсем рядом, — сказал Нодж упавшим голосом.

— Черт! Они уже близко, — закричал я, перепугавшись не на шутку.

Водители других машин повернулись в нашу сторону посмотреть, что происходит.

Тони тупо жал на педаль газа. Таксисты приближались: они настигнут нас через десять-двадцать секунд.

— Заблокируйте двери! — заорал Тони, когда первый из них подошел вплотную к «кортине».

Это был огромный мужик с татуировками на руках и лицом, как вымя. Мы его видели, а он нас нет — спасали затемненные стекла. Он рванул со всей силы заднюю дверцу, но мы уже успели заблокировать ее. Тогда он начал колотить по крыше. Второй водитель, с ломиком в руках, был уже в десяти метрах от машины.

— Пожалуйстапожалуйстапожалуйстапожалуйстапожалуйстапожалуйста, — бормотал я, не отрывая взгляда от светофора.

Меня охватило мрачное предчувствие. Колин свернулся калачиком. Даже Тони склонился над рулем, как будто вес его тела мог протолкнуть машину сквозь затор. И только Нодж казался невозмутимым и бесстрашным.

Зажегся зеленый, и три машины впереди нас тронулись с места. Между левым рядом и нами образовалось пустое пространство. Тони рванул вперед, выкручивая руль влево. В панике он слишком быстро отпустил сцепление, и машина заглохла.

— Твою мать!

Он в отчаянии пытался снова ее завести. Послышался звук лома, ударившего по багажнику.

Первый водитель начал выламывать заднее стекло, просунув пальцы в узкую щель в верхней части окна. Его лицо в рамке затемненного стекла напоминало Горгону, переполняемую ненавистью и злобой. Я почувствовал, как мой страх перерастает в ужас; потом машина завелась, и Тони с грохотом рванул через перекресток. Повернул налево. Таксист опрокинулся на спину. Волна облегчения захватила нас, когда «кортина» выехала на пустынную дорогу.

Теперь мы были пьяны ощущением удавшегося побега, а это посильнее кокаина. Мы проехали через промзону, прилегающую к А-40, направляясь к самому отстойному месту в Западном Лондоне — Харлсдену. Тони несся на бешеной скорости, не тормозя на поворотах и не останавливаясь на красный: он пытался уйти. Настроение улучшилось.

— Все будет хорошо? — Колин обратился к нам, как ребенок к отцу.

Пока он говорил, еще одно такси проехало мимо нас в противоположном направлении. И начало разворачиваться.

— О Господи! — выдохнул Тони.

Я смотрел на такси широко раскрытыми глазами.

— Кошмар! Все таксисты Лондона жаждут нашей крови.

— Теперь уже все равно поздно сдаваться, — заметил Нодж беззаботно, как будто был сторонним наблюдателем. А потом добавил с усмешкой: — Они нас прикончат.

— Вот обрадовал! Нам придется бросить машину, — сказал я.

Тони кивнул, соглашаясь, и пробормотал себе под нос:

— Дяде Винсу это не очень понравится.

Нодж продолжал улыбаться.

— Ее все равно не сегодня-завтра отправили бы на свалку.

Мы продолжали двигаться в сторону Харлсдена. Место было пострашнее, чем Голдхок-роуд в дождливую погоду. Сплошные склады, пустынные заправки, железнодорожный мост с одиноким лозунгом «Поддержите шахтеров», унылые пабы, хозяйственный магазин. Тони резко свернул в какой-то переулок, долго петлял и запутывал след в лабиринте жилых кварталов. Спустя некоторое время такси отстало, и Тони взял направление на Хай-роуд. Впереди была Харлсденская башня с часами, справа церковь, а перед ней щит с ангелочком, парящим в позе

дельтапланериста. Когда мы уже выезжали на шоссе, нашим глазам предстало жуткое зрелище. По крайней мере, десять черных такси выстроились на односторонней улице вокруг церкви с выключенными двигателями, водители сновали вокруг.

Мы все вдруг стихли, даже Нодж. Тони тут же крутанул «кортину» вправо в маленький переулок, вымощенный булыжником. По нему могла проехать только одна машина. Переулок петлял по задворкам жилых построек, а потом упирался в тупик, который с дороги видно не было. Тони заглушил мотор, и мы, вывалившись на мостовую, тут же стали перелезать через проволочную ограду. На той стороне были мешки с мусором и всякий выброшенный хлам.

— Бежим! — завопил Тони, и мы, как одно животное о четырех головах и куче ног и рук, рванули по переулку на другую улицу, неотличимую от соседних: те же ряды муниципальных домов, те же гаражи и покатые крыши.

В конце улицы мы перешли на тротуар.

— Ведите себя как ни в чем не бывало, — сказал Колин, и мы стали хихикать над нелепой ситуацией, в которой оказались, и над неуместными инструкциями Колина.

Я заметил, что у Ноджа хватило самообладания прихватить с собой мяч. Он бросил его на мостовую, и дальше мы пошли, перекидывая мяч друг другу.

Вдруг за спиной раздался звук мотора. Я повернулся. Это было черное такси. Мы сразу перестали хихикать. Замедлились и перешли на шаг, старательно изображая беззаботность. Приблизившись к нам, такси снизило скорость. Оконное стекло опустилось, когда машина поравнялась с нами. Внутри сидел человек-орангутан, громивший наш багажник ломиком на светофоре. Я почувствовал, что краска спала с моего лица. В его взгляде враждебности не было, но все понимали, что он может нас заподозрить. Теперь татуировки на руках были отчетливо видны. Одна голубая, неразборчивая: «„КПР“, мы с тобой». Другая — просто две буквы «ФН»[43].

— Привет, ребята. Не проезжала ли здесь «кортина»?

Нодж абсолютно спокойно, даже как-то лениво принял мяч от Тони. Прошло некоторое время, прежде чем он спросил:

— Какого цвета?

---

[43] Примечания: 43

Факинг ниггерс — трахаю ниггеров (от *англ.* fucking niggers).

— Золотистая. С затемненными стеклами.

Нодж поморщил лоб, как бы тщательно переваривая поступившую информацию.

— Да. Кажется, именно интересующая вас машина пронеслась недавно мимо на скорости 100 миль в час и свернула на Харлсден-серкус.

Таксист кивнул, но с места не двинулся. Он будто раздумывал о чем-то. Мы замерли как вкопанные, стараясь вести себя естественно. Затем Нодж нагнулся к окну и показал на татуировку «„КПР“, мы с тобой».

— Пойдете сегодня на матч?

Таксист помолчал, потом, похоже, слегка расслабился.

— Вы тоже за них болеете?

— «Рейнджерс» не победить! — сказал Нодж и распахнул куртку, чтобы показать маленькую голубую эмблему клуба.

Таксист снова кивнул, в меру дружелюбно, как армейский сержант, признавший равного по званию.

— Да, пойду. Должна быть классная игра.

— Жалко, Стейнрода не будет.

Саймон Стейнрод, один из ключевых игроков, потянул сухожилие в предыдущем матче и, по слухам, на сегодняшнюю игру не был заявлен.

— Я слышал, что он поправился. По крайней мере, так по радио сказали.

— Отлично! Тогда мы отделаем их под орех, — Нодж был по-прежнему невозмутим.

Остальные нервничали и вид имели виноватый. Таксист внимательно оглядел нас, все еще с сомнением, и снова спросил (голос у него был под стать уродливому лицу: такой же тупой, жестокий, злобный):

— А вы не заметили, как они выглядели?

На этот раз ответил Тони, пристыженный тем, что Нодж бросился на амбразуру. Он помнил про татуировку «ФН».

— Их было трое: два ниггера и белая девушка. Они ржали как сумасшедшие.

При слове *ниггер* таксист заметно оживился.

— Чернокожие? С белой девушкой?

Тони кивнул. Вид у таксиста был зловещий, но он поднял большой палец на прощание и потихоньку тронулся с места.

— Накачались наркотиками. Или травкой обкурились. Черные подонки. Спасибо, ребята. Вы помогли. Мы их достанем. И проучим этих зверушек из джунглей как следует. Может, еще увидимся на матче.

— Да. Врежьте этим скотам и от нас, — от-

кликнулся Тони, улыбаясь своей неотразимой улыбкой.

Теперь Ноджу стало не по себе. Ему казалось, что Тони зашел слишком далеко. Уже тогда, в 1984-м, не будучи таким политизированным, как сейчас, он участвовал в выступлениях Антинацистской лиги. А Тони всегда нравилось его поддразнивать.

Но всякое напряжение между Тони и Ноджем испарилось, когда мы увидели, как таксист что-то передал по рации и исчез за углом. Мы выдохнули разом и начали улюлюкать и хлопать друг друга по спине, хохоча от счастья и неподдельной радости.

Вернувшись на Хай-стрит, мы увидели, что автобус, идущий на восток, застрял в пробке. Нас впустили. Пройдя через салон, мы поднялись наверх и сели впереди. Внизу сновали черные такси с выключенными зелеными огоньками. Напряжение постепенно спало: глядя вниз на ряды такси, мы пьянели от ощущения своей власти и торжества победы, от того, что все-таки опустили этих уродов. В тот день никто не мог нас одолеть. Мы это чувствовали.

Шепердс-Буш жил своей обычной жизнью, все бары и пабы были уже открыты, и мы пошли

в «Буш-Рейнджерс», где и собирались смотреть игру. На улице сильно похолодало, но в пабе было тепло и уютно. Сквозь широкие окна с улицы струился свет: наш столик на первом этаже щедро освещался солнцем. Тони был на высоте: мы, не переставая, смеялись над его похабными шуточками. Колин почти ничего не говорил, просто улыбался и потягивал горький коктейль из разных сортов пива. Нодж курил, пуская колечки. Все шло как нельзя лучше.

К началу игры все вокруг стали затихать. Мы обгорели на солнце, Нодж больше всех. В баре было сильно накурено, и солнечный свет проникал сквозь дым как прожектор в довоенном кинотеатре. Играла «The Look of Love»[44] группы «ABC», одна из лучших песен, которые я знаю. Я отстукивал ритм пальцами по столу.

Нодж кивнул куда-то влево:

— Смотрите.

В дальнем углу, за маленьким столиком под старыми ходиками, сидел наш ровесник, перед ним стояла кружка с недопитым пивом. Рядом сидела худая женщина с короткой стрижкой, в

[44] Примечания: 44

«The Look of Love» — сингл с самого популярного альбома группы «ABC» «The Lexicon of Love», долгое время возглавлявшего в 80-х годах британские чарты.

облегающем топе. Она была молода, но выглядела старше своих лет. Парочка держалась за руки, однако у обоих на лицах сквозили скука и раздражение. Они молчали и старались не смотреть друг на друга.

— Это же Чушка! — воскликнул Тони.

Мы дружно уставились на дальний столик, впитывая глазами представшую сцену. Чушка Пит бросил школу в прошлом году и начал работать помощником механика у отца в гараже. Учился он неважно, за что и получил свое прозвище. Жирный Чушка Пит, он же Чушка, он же ЖЧП. Я не знал женщину, которая сидела с ним, но мы слышали, что у него с кем-то роман.

Чушка заметил нас, сразу узнал и, улыбнувшись, поднял кружку в направлении нашего столика. Мы, как один, подняли свои кружки в ответ. Чушка не сводил с нас глаз, при этом рука его продолжала держать руку женщины, а узкое, помятое лицо выражало явное желание присоединиться к нам. Сильное до неловкости желание, как у голодного, засматривающегося на запотевшие окна дорогого ресторана. Мы отвернулись все сразу, как если бы стеснялись глазеть слишком долго на дорожную аварию.

Наступила долгая пауза. Тони встряхнул голо-

вой и отхлебнул из своей кружки.

— Бедный Чушка.

Нодж стал напевать мелодию «Спешиалз» «Ты еще слишком молод».

В бар вломилась целая толпа болельщиков «Рейнджерс», заслонив от нас парочку в углу. Они горланили гимн футбольного клуба.

Мы присоединились, чокаясь кружками так, что пиво плескалось через край на пробковый пол. Вскоре пение прекратилось.

Тони окинул нас взглядом и вдруг погрустнел. Когда он заговорил, мы едва могли разобрать слова из-за гула в пабе.

— Сегодняшний день удался на славу, — сказал он.

Мы все кивнули с серьезным видом.

— Но день еще не закончился, — заметил Нодж.

— Нет, я о другом. Этот день… удался, — повторил Тони. — Солнце, бассейн, сторож, кокаин, таксисты. Мне кажется, нам надо… запомнить этот день.

Не забывать. Вот, например, старина Чушка. Он тоже здесь, но по воле судьбы…

— Это с каждым может случиться, — сказал я. — И тогда все забывается. Забывается, какой

жизнь может быть.

Тони посмотрел на меня, его глаза горели.

— Именно так. Именно это я и имел в виду. А мы не должны забывать, какая она — жизнь. Школа заканчивается, начинается работа, появляется девушка. Все это засасывает, вся эта… рутина. Ты и ахнуть не успел, а тебя уже взяли в оборот, как бедного старину ЖЧП. А там город мертвых и… пшик. Все в прошлом. Поздно. Главное, помнить. Не забывать.

Мы снова кивнули.

— Надо быть М, С и Х, — заключил Тони.

И опять мы склонили головы в знак согласия. Это означало — быть молодыми, свободными и холостыми. Нодж закурил и посмотрел в окно на освещенный памятник — военный мемориал. На пьедестале лежало несколько жалких цветочков. Он показал на памятник:

— Нам нужно сделать этот день днем памяти. Как старики отмечают День Победы, что-то в этом роде. Будем собираться раз в год и отмечать его.

Тони грохнул кулаком по деревянному столу так, что аж кружки подскочили.

— Точно! Это идея! У нас будет свой… *день памяти.* И мы будем собираться вместе в этот день каждый год. И когда нас засосет дерьмовая ра-

бота и нами начнут помыкать разные безумные девицы, мы сможем собираться вот так и… и…

— Напоминать друг другу, — закончил я.

— Да, — согласился Колин. Похоже, даже его эта идея захватила.

— Напоминать, что такое настоящая жизнь.

Нодж встал и поднял кружку.

— За четырнадцатое августа, — сказал он.

Мы все тоже встали и со звоном сомкнули наши кружки. А потом молча, торжественно сели на свои места.

Глава пятнадцатая
14 августа 1998 года

Мы встретились, как всегда, в «Буш-Рейнджерс» и пропустили по нескольку кружек. Тони опаздывал по обыкновению. Несмотря на это, мы выпили втроем шампанского за встречу. Погода была хорошая, жаркая и солнечная, как тогда, в наше первое 14 августа. Я сидел и не мог понять, хорошо ли мне, гадал, серьезно ли Вероника сказала, что между нами все кончено. По всему выходило, что серьезно. Потом я пытался понять, хотел ли *я* этого.

Пока мы сидели втроем за столиком в пабе, не зная, о чем говорить, я внимательно изучал их лица, пытаясь припомнить, как они выглядели тогда, четырнадцать лет назад. Я знал, что Тони, который все еще не подошел, мало изменился: немного похорошел, стал дороже одеваться, но волосы не выпали, и единственным признаком возраста были намечающиеся гусиные лапки в уголках глаз. А Нодж стал толще, грустнее, заторможеннее, что ли. В нем появились жесткость и раскаяние, которых раньше, насколько я помню,

не было. Колин, как и Тони, изменился мало: все та же виноватая улыбка, зажатая поза, как будто он готовится к удару. Все та же черепаха.

Про себя я ничего не могу сказать. Я уже давно разучился смотреть на себя со стороны. Может быть, поэтому я и связался с Вероникой. Она была зеркалом, а я отвык от зеркал, давно в них не смотрелся. И теперь, возможно, мне не понравилось то, что я увидел в этом зеркале. То, что Вероника мне показала.

Разговор, потеряв нить, угас. Продолжая выпивать, мы еще полчаса ждали Тони. Все уже начинало плыть перед глазами.

Тони не отвечал по мобильному. В конце концов, мы решили ехать на поле для гольфа без него, каждый на своей машине. Договорились, что сыграем девять лунок, пообедаем там же, а потом поедем ужинать все вместе. Мы не сомневались, что Тони подъедет туда. Он всегда, в конце концов, объявлялся, рассыпаясь в очаровательных извинениях.

Проехав напрямую по Аксбридж-роуд, я попал на объездную дорогу, ведущую к полю для гольфа. На въезде щит с рекламой «сааба». Надпись гласит: «Нет сил, которые Вам неподвластны».

Нодж и Колин уже сидят в кафе. По-прежнему

никаких признаков Тони. Нодж смотрит на часы. В руках у обоих по банке пива. Мы много пьем, чтобы восполнить недостаток общения. Для этого ведь и пьют, не так ли?

Губы Ноджа, и без того узкие, сжались и вытянулись в тонкую нитку, он курит больше, чем всегда: штуки четыре в час против обычных трех. Естественно, «Крейвен Эй». Только что он позволил себе громко вздохнуть, выразив таким образом свой протест. Я уверен, что он уже начинает заводиться.

Почему, интересно, мне это доставляет удовольствие? Я беру сэндвич с яйцом и беконом, его заказал Колин, но есть не стал, и сэндвич уже остыл. Раз Нодж бесится, я готов простить Тони. Я ему все и так прощу, рано или поздно, но в этом случае прощу сразу. Ради удовольствия понаблюдать за разъяренным Ноджем. Я жую хлеб и жирный бекон, вкус которого заглушен острым кетчупом.

Колин, сидящий напротив Ноджа, ковыряется в своем узком, костлявом, обгоревшем на солнце носу. Он достает что-то из темных глубин, а потом щелчком отбрасывает в сторону, там оно теряется среди старых пачек из-под сигарет, крошек и разлитого кофе, украшающих пол заведения. Он

читает «Дэйли миррор».

В кафе жарко. В воздухе как будто висит напряженность, ожидание чего-то. На серой спортивной рубашке Ноджа темнеют под мышками круги от пота. Его это, очевидно, раздражает, но ныть он не будет. Он курит и делает вид, что ему все равно. Его икры, приоткрывшиеся в местах, где кончаются черные хлопчатобумажные штаны, бледны, как листья капусты.

— Они ведь не настоящие?

Колин показывает кивком головы на цветную фотографию в «Миррор». Женщина на снимке широко улыбается, на ней нет ничего, кроме ремня. Ремень совсем узкий. Волосы на лобке сбриты. Высокие, налитые груди выдаются вперед. Соски возбуждены — их явно готовили к съемке. Спина изогнута, на животе ни единой складки.

— Трудно сказать.

Я делаю вид, что разглядываю снимок, щурюсь, как будто пытаюсь поймать фокус на плохой газетной печати.

— Сразу все воспринимаешь по-другому, правда? — говорит Колин с легким сожалением.

Колин, он такой нежный. Этакий маринованный в меде цыпленочек.

— Что ты имеешь в виду? — спрашиваю я.

Меня злит, что из-за Колина разговор может зависнуть.

Я смотрю на часы. Тони опаздывает уже на полтора часа. Это практически его норма.

— Если не знаешь, искусственные они или настоящие, труднее завестись. Потому что поддельные — это… обман. То есть если ты знаешь, что они искусственные, это не так сексуально, как если бы они были настоящие. Когда я узнал, что… та девица… ну, в фильме… как он называется… с Харрисоном Фордом и… Там оказывается, что она не живая, а робот. Она обалденная, но как только узнаешь, что… что она…

— Сборная.

— Да, сборная. Тогда ты задумываешься: если это не *девица,* то как же…

Нодж начинает ерзать на стуле. Он не стал смотреть на фотографию, повернулся и глядит через открытую дверь на освещенную солнцем улицу: ему не нравится, что вместо «женщина» употребили слово «девица».

— Женщина. Она *женщина.*

— В том-то и дело, — говорит Колин, не поняв, к чему придрался Нодж. — Но она не девица. Она бесполая. И как только ты это узнаешь, у тебя все опускается. С грудью то же самое. Если ты не

уверен, что…

— Мне так все равно, — встреваю я. — Какая разница, настоящая она или искусственная. Все равно это возбуждает. Она же не робот.

— Что? Но я думал…

— Это актриса, которая *играет* робота. А на самом деле она живая.

Колин растерялся.

— Да, но границу определить трудно, все очень размыто. Ведь *в фильме* она не настоящая. И когда ты его смотришь, именно фильм кажется тебе реальностью.

Я взглянул на Ноджа. Вид у него страдальческий, в спор он, как всегда, не вступает. Дает понять, что все это кажется ему ребячеством. Я злюсь, не потому, что он не прав — это действительно ребячество, — а потому, что он превращает отстраненность в добродетель. А я пытаюсь угодить Колину, говорю с ним на его языке. Ну и кто из нас хороший? Я, а не он. Я хороший, потому что не боюсь показаться плохим.

— Не гадай. Они искусственные. Я видел, как эта девица давала интервью в утренней программе по телеку. Она сказала, что они ей очень нравятся. И что они придают ей ощущение… как она выразилась? Могущества.

От этого Колин становится еще мрачнее.

— Правда? Значит, она не… они не…

— Это пластическое чудо. Обе. Извини.

Колин закрывает газету и задумчиво берется за чашку с чаем. Кивает головой: мол, я знал с самого начала.

— Это заметно.

— *Что* заметно? — спрашивает Нодж с нескрываемым раздражением.

Отлично. Искусственная, самодовольная неуязвимость дала первую трещину. Но лицо по-прежнему невозмутимо и высокомерно. Ему бы пошла мантия вселенского судьи.

Колин слегка напуган.

— Ну… я не знаю. Наверное, по виду никогда не поймешь.

Колин пытается разглядеть Ноджа сквозь дымовую завесу, он прищурил глаза, защищая их от дыма. Колин всегда от чего-нибудь защищается, тем или иным способом. Он слегка качнул головой и сморщил губы, потом стал смотреть в открытую дверь. Снова наступает тишина.

Явное раздражение Ноджа не обидело Колина. Он поправил свою бейсболку, отвернув козырек вверх. Колина невозможно обидеть. Вдруг он ни с того ни с сего спрашивает, улыбаясь:

— Как вы думаете, есть жизнь после смерти?

Отвечая, Нодж даже не повернул головы:

— А у тебя не возникало вопроса, как Санта Клаус спускается по дымоходу?

Нодж — воинственный атеист, это обломки доморощенного марксизма, оставшегося в далеком прошлом. Колин улыбается. Улыбка становится шире, а глаза все холоднее и отстраненнее каждый раз, что я смотрю на него. Интересно, что это с ним сегодня. Моя мама сказала, что Оливия очень плоха, поэтому я стараюсь не затрагивать эту тему. Не хочу его расстраивать. И не хочу попасть в неловкое положение. Всегда есть опасность, что он расплачется.

— Нет, правда. Как вы думаете? Ведь мы же не можем просто так исчезнуть. Тогда получается, что все бессмысленно.

Он снова улыбается, как будто и сам поражен этим новым умозаключением. Затем берет мобильник и играет с ним, щелкая по антенне пальцем и наблюдая, как она раскачивается. Словно разбуженный этими движениями, мобильник вдруг начинает звонить.

— Держу пари, это Тони.

Колин прикладывает трубку к уху и нажимает на маленькую зеленую кнопочку с буквами

«ОК».

— Алло. А, Тони, привет! Нет, не волнуйся. У нас все хорошо. Да. Нет. Что ж поделаешь. Конечно. Ну, до скорой встречи. Пока.

Колин выключает телефон и кладет его себе на живот. Он играет мышцами, телефон поднимается и опускается. Из-под футболки с пальмами, пляжем и названием места — Канкун, Мексика — где он, конечно же, никогда не был, высовывается узкая полоска розового тела. Он раскачивается взад-вперед на белом пластмассовом раздвижном стуле.

— Это Тони. Будет через пять минут. Извинялся, сказал, что застрял в пробке на Аксбридж-роуд.

Я чувствую, как мое раздражение нарастает. Никаких пробок на Аксбридж-роуд не было, когда я по ней ехал. Но я не собираюсь говорить об этом, если только Нодж не даст себе волю. А Нодж по-прежнему демонстрирует чудеса эмоциональной зрелости — пожимает плечами, изображает всепрощающую улыбку.

— Тони Диамонте! Его не изменить.

Наступает небольшая пауза, как будто Нодж пытается что-то вычислить. А потом он добавляет:

— Удивительно, как это Тони вообще встал

после вчерашнего.

Колин, похоже, ничего не слышал. Мобильник потерял равновесие и скатился на пол, с треском развалившись на две части.

— Ой!..

Колин полез за телефоном, упавшим в лужицу апельсинового сока. Он аккуратно поднимает обе части и вытирает их салфеткой. Переплетя пальцы рук, я начинаю постукивать большими пальцами друг о друга. Вижу нечто, напоминающее удовлетворение, на лице Ноджа, который заметил это мое движение. Он сидит и ждет, пока я задам вопрос. Он уверен, что я это сделаю.

Я демонстрирую полнейшее безразличие.

— Что? Вы вчера с ним выпивали?

Как будто это не имеет никакого значения.

— Мы ходили в «Эйнджелси». Его переделали.

Колин тщетно пытается скрепить две части телефона. Кончик языка у него слегка высунулся между толстыми губами. По щеке размазана слюна.

— Там теперь доски на полу. Гриль на углях.

— Хорошо.

Хотя ничего хорошего. Все плохо. Это… это нарушение *протокола.* Тони — прежде и превыше всего — *мой* друг. Я обладаю приоритетным пра-

вом. Если он свободен, то должен прежде всего позвонить мне, так было всегда. Вчерашний вечер я провел дома в одиночестве, мне хотелось с кем-нибудь поговорить, если уж на то пошло, я предчувствовал, что сегодняшний разговор с Вероникой будет непростым. А Тони позвонил *Ноджу.* Хотя, может, это Нодж ему позвонил. Тогда все не так плохо.

— Я очень удивился, когда он позвонил. Думал, он в Нью-Йорке.

Нодж знает наверняка, на какую кнопку нажать. Это глупо, но я чувствую, как внутри скатывается шарик боли и злобы. Колин все еще возится с телефоном, его терпение не имеет предела. Я подыскиваю слова, не хочу выглядеть нелепо. В конце концов, почему Тони не мог позвонить Ноджу? Но все равно, мне кажется, что меня предали, и я злюсь. Можно проигнорировать Колина. Но не меня, не *меня.* Я не *такой,* как он.

— Ты ничего не сказал в «Буш-Рейнджерс». О том, что вы с Тони встречались.

Нодж пожимает плечами и улыбается. Это особенная улыбка, очень подходящая к случаю: она как бы предлагает помощь, почти сочувствует. Это улыбка не равного, а превосходящего тебя

человека, осознающего свое превосходство. Она словно говорит: «Просто не хотелось сделать тебе больно».

— Да я как-то об этом не подумал. А какое это имеет значение?

Конечно же, никакого, чертов *воришка.*

— Конечно, никакого. Ну, как он?

Я представил себе, как выгляжу со стороны: мрачный, надутый. И понимаю, что уже порядком надрался. Сквозь алкогольную дымку мне вдруг приходит в голову мысль: сейчас расплачусь. Конечно, это неподобающая мысль для тридцатилетнего мужчины. Я хочу быть взрослым, спокойным, большим, добродушным. И не могу. Я все еще ребенок. Мы все дети, дети, играющие во дворе. И Нодж дал мне под дых. Но мы стараемся вести себя как взрослые, не выдаем своих чувств, держим их в тайне. Я отхлебываю пиво из банки, которую мы прихватили с собой.

— Да, все такой же. Тони не меняется.

— Получилось!

Колин сияет от радости. Его телефон издает слабый сигнал, оповещая о возвращении к жизни. Колину невдомек, что произошло между мной и Ноджем. Я замечаю, что у меня сжались кулаки, пытаюсь расслабиться.

С парковки раздаются звуки музыки, такие громкие, что кажется, будто динамики установлены в кафе. Это «Радиохед», «OK Computer». Старики с тележками для гольфа, в пингловских свитерах и беретках с помпончиками, возмущенно поворачивают головы в сторону парковки, всем своим видом демонстрируя презрение.

Дверь кафе открыта в тщетной попытке проветрить помещение, поэтому мне хорошо видно, как его белый «мерседес»-кабриолет 1965 года влетает на узкое парковочное место на угрожающе большой скорости. Тони сидит за рулем и подпевает группе. На нем очки «Рэй-Бэн» с золотой окантовкой, плечи прикрыты от солнца белой футболкой.

Тони поворачивается и видит нас. Улыбаясь, поднимает большие пальцы вверх, с силой жмет на педаль газа, затем глушит мотор. Музыка тут же стихает. Тони издает жуткий возглас:

— Йо-хо! — и катапультируется из машины.

На нем красивые льняные шорты бежевого цвета, сандалии «Биркенсток». Он идет, как будто продолжая танцевать под музыку. Пританцовывая, входит в кафе и тут же бросается перед нами на колени, изображая раскаяние.

— Простите! Простите! Виноват. Я последняя

свинья. Я ничтожнейшее существо. Я подонейший подонок, я дерьмовейшее дерьмо.

Стоя на коленях, он бьет поклоны, молитвенно закатывая глаза. На футболке у него маленький значок «Прады», чуть больший — «Армани» — на шортах. Колин дружелюбно улыбается, Нодж тоже, лицемер несчастный. Я не реагирую.

Тони вскакивает на ноги, протягивает руку Колину. Два золотых кольца с бриллиантами, одно на указательном пальце, другое — на среднем.

— Я прощен? Пожалуйста, скажите, что я прощен. Я бы надел власяницу, но она не *подойдет* к «Армани». И потом все власяницы в летней коллекции раскупили.

Он показывает на шорты, давая понять, что это не просто шорты. И произносит свой монолог очень манерно, слегка покачивая бедрами.

Колин не понимает, о чем речь, но протягивает руку и здоровается с Тони. Бледная, узкая ладонь Колина тонет в смуглой, ухоженной пятерне Тони.

— Всё нормально.

Колин действительно так думает. В отличие от Ноджа, скрывающего истинные чувства.

— Колин, дорогой, я знал, что на тебя можно положиться. Ты просто святой. Нет, ты *Бог.* Нодж,

а ты? Уж тебе-то и вовсе грешно на меня сердиться. Ты сам во всем виноват, парень. — Тони поворачивается ко мне: — Это он во всем виноват, Фрэнки. Если бы он не накачивал меня три часа водкой, я бы услышал будильник. Он просто маньяк какой-то. Ваааау. Они настоящие?

Это он заметил «Миррор».

Колин оживился:

— Забавно, мы только что…

Тони не обращает на него внимания и не дает ему договорить.

— Да ладно, Фрэнки. Хватит дуться.

Я продолжаю хмуриться. Он подходит и начинает меня щекотать, как будто я маленький мальчик. Это злит меня еще больше, но я нахожу в себе силы играть по правилам.

— Ладно. Ладно. Забудь.

— Вот молодец.

— Просто у меня сегодня настроение неважнецкое.

Тони это не интересует. Отношения налажены — можно двигаться дальше. Он достает мобильник. А я продолжаю гнуть свое.

— По-моему, у нас с Вероникой все кончено, — говорю я. Мне хочется добавить: «Я принес ее в жертву. Ради вас».

Смотрю на свои руки, как будто мне стыдно поднять глаза.

— Сегодня у нее день рождения. Она хотела, чтобы я остался. А я объяснил, что не могу. Тогда она сказала: либо она, либо вы. Сказала, что я должен сделать выбор. Так-то вот. Но ни одна девушка не сможет разлучить меня с вами.

Я сижу и жду, какая будет реакция. Я предвкушаю. Однако бури восторга и благодарности не последовало, реакции не было практически никакой.

— Очень жаль, — тихо заметил Колин.

— Обидно. Женщины вообще все чокнутые. А, привет! Полли, милая, прости меня за те выходные. — Это Тони опять разговаривает по мобильному.

Нодж вообще не произнес ни слова. Просто покачал головой. Очень сдержанная реакция. Как будто… как будто… нет, этого не может быть. Неужели им действительно все равно. Получается, я все придумал. И не было никакого выбора.

Эта мысль меня огорошила. Я смотрю на улицу через открытую дверь. На солнце вдруг наползли тучи. Тони закончил разговор по телефону, встал и пошел закрыть люк своего «мерседеса», потом достал из багажника какую-то новую модную вет-

ровку и целую кучу клюшек и прочего инвентаря. Дорогие примочки и аксессуары, электрическую тележку, в общем, полный набор.

Нодж погрузил свои клюшки на его тележку — так себе клюшки, б/у, но при этом вычищены и натерты до блеска — и принялся задумчиво натирать мяч. У Колина есть только половина клюшек, а сумка как будто куплена на распродаже в гараже — эдакий колчан для стрел Робин Гуда, клетчатая холщевка образца приблизительно 1975 года. У одной из клюшек, правда, новомодный деревянный колпачок в форме Дональда Дака. Колин достает короткую клюшку и начинает размахивать ею из стороны в сторону. Она сильно изогнута. Он несет сумку на плече, слегка покачиваясь при ходьбе. Тележки у него нет. Мы все подходим к первой метке. Впереди, как всегда, нетерпеливый Тони, мы втроем за ним.

— Хотите сделать ставки?

Тони размахивает пятидесятифунтовой купюрой. Все молчат.

— А, *боитесь!* Нодж, ну ты-то! Давай для азарта.

Нодж колеблется. Колин отчаянно мотает головой и улыбается. Я смотрю на набор клю-

шек и повозку Тони и сравниваю их с моими собственными, подержанными. Смотрю на его издевательскую улыбку. И вспоминаю о том, что вчера они с Ноджем пьянствовали.

— Давай, Фрэнки! Будь мужчиной! Ты же хочешь мне отомстить?

Тони смеется. Он имеет в виду свое опоздание, а я думаю о его предательстве. Мне неприятно, что он смеется, словно издеваясь над тем, что сам же испортил мне настроение. Тони подходит ко мне. Я чувствую, как моя рука сжимает клюшку.

— Правда, почему бы нет? Если Нодж присоединится.

Нодж качает головой.

— Для меня это слишком большая ставка. Да и вообще, думаю, нам лучше играть без денег. Главное ведь, хорошо провести время. Вы двое просто не можете не соревноваться. И это все портит.

Его менторский тон бесит меня. Но ничего, я заставлю Ноджа сделать ставку.

— Давай, педик чертов.

Глаза Ноджа засверкали от нескрываемой злобы, этого я не ожидал. Но все равно настаиваю на своем.

— Давай один к двум. Согласен?

Нодж сдвигает брови.

— Чего боишься? В случае выигрыша получишь вдвойне.

Нодж слегка напрягся.

— А со мной? — спрашивает Тони.

— С тобой на равных. Это Ноджу я даю фору. Потому что он дерьмо.

Получилось грубее, чем я хотел. Нодж скривился от злобы.

— Идет.

Ставки только усилили напряжение, которое и без того витало в воздухе. Мы жмем друг другу руки с деланным равнодушием, соблюдая ритуал.

— А ты, Колин? Будешь участвовать?

Я знаю, что Колин откажется, но не хочу, чтобы он чувствовал себя изгоем. Я улыбаюсь, хоть на душе у меня кошки скребут. Колин отрицательно трясет головой:

— Нет. — И тут же добавляет: — Это глупо. Разве мы не можем просто поиграть в свое удовольствие?

— Это и есть удовольствие, так ведь, Нодж?

Голова еще гудит от выпитого, но я пытаюсь прочистить ее, сосредоточиться на гольфе. Нодж что-то бормочет. Он явно завелся. И уже весь в игре. Тони бьет первым, удар получается на славу. Нодж попадает где-то в метре от него. Ко-

лин мажет и заезжает мячом в «раф»[45] справа. Теперь моя очередь. В тот самый момент, когда я собираюсь ударить, Нодж кладет свою клюшку обратно в сумку, раздается громкий глухой звук. Я делаю слишком широкий замах и бью мимо. Мяч отлетает метра на три.

— Эй! так *нечестно.*

Нодж пожимает плечами. Колин старается не смотреть в мою сторону.

— Это игра, Фрэнки, — говорит Тони и улыбается, как бы извиняясь.

— *Нет.* Послушайте, Нодж шумел. Это меня отвлекло.

— Ну и не бил бы тогда, — говорит Нодж. Он уже повез свою тележку дальше по проходу.

— Погодите, дайте мне дополнительный удар, ведь это первая лунка. Дайте мне переиграть. Ведь матч же дружеский!

Колин переступает с ноги на ногу, но к следующей площадке «ти» не идет. Тони сложил свои клюшки и натирает себя мазью для загара. Глаза он закрыл.

---

[45] Примечания: 45

«Раф», а также упоминаемые ниже «ти», «фервей», «грин», «паттинг-гринс» — участки поля для гольфа. Суть игры в том, чтобы, начав игру с площадки «ти», через «фервей» и «раф» попасть в расположенную на «паттинг-гринс» лунку минимальным количеством ударов.

Я продолжаю ныть:

— Мы всегда разрешали переигрывать. С тех самых пор, как начали играть.

Нодж останавливает тележку и разворачивается. Тон чересчур ровный, я по опыту знаю, что за этим стоит железобетонная непримиримость. Он явно расстроен.

— Тогда мы играли по-другому. Раньше мы никогда не играли на деньги. И ты не называл меня чертовым педиком.

— Колин, у тебя решающий голос. Могу я еще раз ударить или нет?

Колин отводит взгляд и беспомощно переступает с ноги на ногу. Солнце скрылось за тучами. Чувствую, как холодная капля дождя упала на щеку.

— Не знаю.

Я закусываю губу, совсем как Нодж.

— Хорошо. Раз вы так…

Теперь я злюсь на Колина не меньше, чем на Ноджа и Тони. И это после всего, что я для него сделал, после того, как я столько раз защищал эту маленькую вонючку. Подхожу к своему мячу, широко расставляю ноги и, не раздумывая, бью наотмашь. Клюшка ударяет по земле, и в воздух летят комья грязи. Мяч отлетает метров на де-

сять, не больше.

Бесформенная злоба внутри начинает преобразовываться в нечто более рациональное и направленное. Я хочу во что бы то ни стало выиграть, заткнуть их всех за пояс. Нагнувшись над мячом, я сосредоточиваюсь и чувствую, что прихожу в себя. Клюшка, это все еще третий номер, медленно взмывает вверх и плавно опускается. Нодж стоит на «паттинг-гринс», но я не прошу его отойти. Мяч просвистел в нескольких сантиметрах от его головы, и он шарахнулся в испуге в сторону. А затем, будто зависнув на мгновение в высшей точке своей траектории, мяч упал рядом с лункой. Отличный удар!

Я прижимаю ладони к груди, извиняясь перед Ноджем, — не ожидал, что мяч пролетит так близко. Нодж никак не реагирует на мои извинения.

Ну и черт с ним.

Мне удается забить мяч одним ударом с того места, где он лежит. Колин мажет, как обычно, но мне плевать, я знаю, что он все равно не выиграет, а если и выиграет, то это не будет иметь никакого значения. Мне грустно, я молчу. Внутренний голос шепчет, что нельзя так себя вести, но я к нему не прислушиваюсь.

Проходим еще три лунки. На пятой мы с Нод-

жем бьем так себе. Колин снова мажет, мяч улетает невесть куда, и мы разрешаем Колину перебить. Он все равно проиграет. Но тут и у Тони происходит осечка: он размахивается и не попадает клюшкой по мячу!

— Удар засчитан, — говорит Нодж.

— Ни черта! — огрызается Тони. — Почему это для Колина одни правила, а для меня другие?

— Удар засчитан, — повторяю я твердо. И вспоминаю, что мне так и не разрешили перебить.

Тони поворачивается ко мне, вытягивает руки вперед и начинает разговаривать со мной, как будто я родился от олигофренов.

— Это несправедливо, Фрэнки. Удар без попадания по мячу не считается. Никогда не считался — слышишь, *никогда* — с тех самых пор, как мы начали играть. А сейчас вдруг решили засчитать.

— Это взрослые правила, Тони. Настоящие правила, — объясняет Нодж строгим голосом.

— Но почему вы тогда Колину разрешили перебить, а мне нет?

Мы с Ноджем молчим.

Колин, нервно мусоля клюшку, говорит:

— Да ладно, засчитайте мне тот неудачный удар. И тогда…

— Дело не в *этом*, — шипит Тони, брызжа слюной.

Мы с Ноджем качаем головами, практически синхронно, с нами такое иногда бывает. Тони вытягивается во весь рост — в нем почти метр девяносто, — лезет в карман, достает бумажник, оттуда три купюры, комкает их и бросает на землю. Ветер начинает играть ими, но ни один из нас не двигается с места, чтобы поднять.

— Если вам так важно получить с меня бабки — пожалуйста! — с этими словами Тони запихивает клюшки в сумку и делает вид, что собирается уйти с поля.

— Деньги тут ни при чем, — торопится сказать Нодж. — Дело в принципе.

— Слушайте, — говорит Колин, как всегда некстати. — Я же согласился засчитать тот свой удар.

Его, похоже, никто не слушает. Мне уже жалко Тони: это зашло слишком далеко.

— Тони, не уходи. Давай доиграем.

Но он берет свою тележку и уходит.

У меня все опускается внутри. Тони, в отличие от меня, в состоянии нажать на ядерную кнопку.

— Ну, хорошо, возьми еще один удар.

Нодж молчит. Тони тут же останавливается.

Ему тоже не хочется выходить из игры, ясное дело.

— Черт побери! — кричит Колин.

Мы все в изумлении смотрим на него. Лицо красное. В какой-то момент я с ужасом подумал, что он заплачет.

— Мы что, не можем просто… быть друзьями? К чему все это? Я… я не понимаю… это бессмысленно! Пожалуйста, перестаньте. Пожалуйста!

Ситуация выходит из-под контроля. И, что самое неприятное, — есть опасность конфуза.

Я смотрю на Колина и говорю:

— Ты прав. Колин прав. Это глупо. Тони, сделай еще один удар. Давай. Вперед.

Нодж кивает, очень неохотно. Он тоже предпочитает обойтись без сцен.

— Давай. Какая разница. Бей.

Тони уже почти смилостивился, но только почти. Нам предстоит долгий путь к тому месту, с которого все началось.

— Не нужен мне ваш удар. Я не нуждаюсь в одолжениях. Особенно от какого-то… *плаксы.*

Плаксы. Воспоминания о том, как Колина раздевали — я все эти годы старательно избегал их, — ярко вспыхивают в голове. Колин отшатнулся, как будто его ударили по лицу. Но Тони

остановил тележку и перестал вертеть в руках клюшку. Ясно, что уходить он не хочет, но и лицо потерять не может.

— Послушайте, давайте просто переиграем, — говорю я. — У нас с Ноджем все равно были удары никудышные. Сделаем вид, будто только что пришли к этой лунке, и начнем отсюда заново.

— Давайте, — соглашается Нодж, хотя его удар был лучше, чем мой.

— Ладно, — подумав, произносит Тони, как будто делает нам огромное одолжение.

Колин кивает и снова ставит мяч на площадку «ти».

Мы начинаем игру с пятой лунки. Тони на этот раз делает хороший удар, мяч приземляется на «грин» метрах в двух от края. Нодж тоже попадает в «грин», и даже Колин бьет не очень плохо. Эти три хороших удара давят на меня, и я промахиваюсь — мяч летит по косой прямо в кусты. Мне хочется зашвырнуть туда и клюшку.

— Не повезло, — говорит Тони.

Он смущен, но удовлетворения все равно не может скрыть. Я надеваю маску безразличия на лицо и иду к кустам — моего мяча нигде не видно. Срезанная мертвая пожухлая трава на «рафе» делает задачу практически невыполнимой. Я

обыскиваю все вокруг с помощью восьмой металлической клюшки, но три минуты поисков не дают никакого результата.

Тони и Колин направляются ко мне: хотят помочь. Меня не видно за кустами и разлапистыми ветвями деревьев. Нодж окликает их, они оборачиваются. И тут у меня съезжает крыша: я лезу в карман, нащупываю запасной мяч, секунду-другую сомневаюсь, а потом бросаю его на землю. Это не жульничество, говорю я себе, а восстановление справедливости. Тони не должен был переигрывать свой удар. Когда я поднимаюсь, Тони все еще смотрит в другую сторону, а Колин идет ко мне. Я поднимаю вверх большие пальцы:

— Все в порядке. Нашел!

Тони поворачивается и делает мне знак рукой. Колин останавливается и *смотрит* в мою сторону. Он стоит так несколько секунд, потом медленно разворачивается и возвращается на «грин». Я беру свою металлическую восьмую клюшку, которой пытался искать мяч, встаю сбоку и слегка отклоняюсь назад. Получается отменный «свинг». Крученый мяч взлетает в воздух, замирает, а потом опускается на поле. Он подскакивает и оказывается в десяти сантимет-

рах от лунки. Я легко загоню его одним ударом.

Затем бьют Тони и Нодж, Ноджу удается потрясающий шестиметровый удар, после того как мяч отклонился от курса, упав на непонятно откуда взявшуюся ветку. Колин мажет два раза подряд у меня снова хороший удар. Я иду наравне с Тони, на две позиции отставая от Ноджа, остаются еще две лунки. Атмосфера становится напряженной и враждебной.

Перед следующей лункой течет небольшой ручей. Я, Колин и Тони без труда перебрасываем через него мячи, а Нодж промахивается, и мяч падает прямо в ручей. Небо над нами становится все темней. Вдали слышны раскаты грома.

Мы идем к ручью. Каким-то непонятным образом мяч попал не в воду, а на плоский камень посередине ручья. Ручей не больше полуметра глубиной, но течение быстрое, и очевидно, бить отсюда нельзя.

— Похоже, об этом придется забыть, — говорю я. Хотел сказать с сочувствием, а получилась издевка.

— Не думаю, — упорствует Нодж.

Он наклоняется и начинает снимать ботинки.

— Что ты делаешь?

— Продолжаю игру.

— Ты же не можешь. Мяч на середине этого поганого ручья.

— И что?

Он уже снял ботинки. Закатывает брюки до колен и берет длинную металлическую клюшку. Мимо камня, на котором лежит мяч, метнулась серебристая рыбка. Капельки воды брызнули на поверхность белого мяча.

Нодж осторожно заходит в воду. Мы с Тони обмениваемся недоуменными взглядами.

— Вы двое просто не можете не соревноваться. И это все портит, — говорит Тони с сарказмом, повторяя слова Ноджа у первой лунки.

Нодж молчит. Он недостаточно высоко засучил брюки, так что вода окатывает их, придавая бледной ткани яркость. На неровном дне ручья трудно удержаться. Нодж добирается до камня, на котором лежит мяч, и пытается расставить ноги по обе стороны от него, но теряет равновесие и, пытаясь справиться с течением, роняет клюшку — она тут же идет ко дну. Клюшка лежит на глинистом дне, течение чуть заметно ее колеблет. Нодж наклоняется, достает ее и начинает вытирать о свою майку. На майке остаются широкие полоски грязи. По лицу Ноджа видно, что он собран и сосредоточен до предела. Все молчат:

мы боимся его разозлить.

Он снова широко расставляет ноги около камня — на этот раз его положение кажется более устойчивым — и пытается примериться к мячу, делая короткие, неуклюжие пробные замахи. Мне вдруг приходит в голову, что у него может получиться, что ему на выручку может прийти его всегдашнее везение.

Наконец он замахивается для настоящего удара. Майка и брюки намокли и все в грязи. Течение слегка покачивает Ноджа из стороны в сторону. Он заносит руку не слишком далеко назад. Не отрываясь, смотрит на мяч, который иногда шевелится под порывами легкого ветра.

Теперь Нодж замахивается сильнее, собираясь сделать «свинг». Глаза отрываются от мяча, смотрят вверх. Но замах слишком широк, на противоходе Ноджа отбрасывает назад, и клюшка лишь едва касается мяча. Нодж, пошатываясь, валится в воду. Судорожно пытаясь удержать равновесие, он размахивает клюшкой в воздухе, но это его не спасает. Голова перевешивает, и он чуть ли не кувырком летит в ручей, ноги торчат над водой. И тут же выныривает, отплевываясь грязью и речным планктоном.

Всех охватывает ступор, а Тони вдруг не вы-

держивает и начинает смеяться, поначалу тихо, потом все громче. Не так громко, как обычно, ведь все произошло неожиданно, но достаточно громко для того, чтобы спугнуть окрестных птиц. Это было настолько заразительно, что и я заржал, чуть не захлебнувшись смехом, затем к нам присоединился Колин со своим идиотским девчачьим хихиканьем, и наше дружное трио заливалось до тех пор, пока мы не стали задыхаться. Я сложился пополам. Тони сел на траву, чтобы отдышаться, а у Колина хихиканье перешло в громкие всхлипы, напоминающие истерику.

Наконец мне удается сосредоточиться, и я вижу, что лицо Ноджа сковала маска обиды и неприступности. Я наблюдаю, как мышцы его лица примеряют разные выражения, одно сменяет другое, а потом, вслед за предыдущим, также растворяется под натиском нового. Сначала это шок от холодной воды, в которую он упал, шок исчезает, словно слизанный невидимым языком, и на смену ему приходит нечто вроде стыда от перенесенного унижения. Во время этих трансформаций по лицу стекают капельки воды и жидкой грязи.

Унижение очень скоро сменяется откровенной, неукротимой яростью. Грудь вздымается, рука

сжимает клюшку, лицо наливается краской. Как будто сдерживая силы, что могут вырваться наружу и всех нас смести. Но это продолжается несколько секунд, Нодж не может позволить себе подобного чувства: оно не вяжется с его образом зрелого, мудрого, в высшей степени здравомыслящего мужчины. Он подавляет его с видимым усилием, и лицо принимает нейтральное выражение.

И, наконец, на нем появляется улыбка. Довольно убедительная, широкая и спокойная, объявляющая, что этот нелепый инцидент снимет напряженку и двусмысленность ситуации. Символично, что в ту же секунду из-за туч выходит солнце, заставляющее Ноджа прищуриться. От этого надетая на лицо улыбка слегка перекашивается, и я вижу, как он усилием мышц придает ей прежний вид. Все это время я молчу. Нодж, похоже, окончательно пришел в себя и теперь притворяется, что смеется сам над собой.

— Клюшка подвела, — только и говорит он.

Колин с Тони снова заливаются смехом, Тони протягивает ему руку, чтобы помочь выбраться. Я недоверчиво улыбаюсь. Я знаю Ноджа лучше, чем Тони и Колин, и думаю, что он по-прежнему злится. Более того, злится он именно на меня,

хоть я и не понимаю, за что. Скорее всего, он подозревает… я, конечно, не вижу его насквозь, но иногда мне и самому *кажется*, что я вижу его насквозь. Вот от этого-то он и бесится.

Теперь Нодж отстает, в лидерах я и Тони, мы идем вровень, опережая Ноджа на одно очко. Еще три лунки, и конец игре. На восьмой лунке Нодж догоняет нас, так что все должна будет решить последняя — девятая.

Внешне падение Ноджа в воду разрядило атмосферу. Мы спокойно разговариваем друг с другом, обсуждаем удары, направление ветра, какой клюшкой бить. Но это только видимость. Сделанные ставки давят все сильнее, злоба клокочет внутри. Мы трое напряжены до предела, а Колин и вовсе сник, хотя ему-то терять нечего: он уже вне игры. Просто его парализует любой конфликт — отпечаток детства с орущими друг на друга родителями.

Колин первым готовит мяч к удару. Это не по правилам — обычно первым бьет тот, кто набрал больше очков, — но, поскольку он не претендует на победу, для него сделали исключение. Он долго возится с мячом, как будто не может сосредоточиться, потом умоляюще смотрит на нас троих и говорит:

— Может, закончим, пусть будет ничья?

Все молчат.

А Колин добавляет, предпринимая последнюю попытку спасти ситуацию:

— Ведь это всего лишь игра, в конце концов.

Мне хочется взвыть. Тони и Нодж смотрят в сторону, переминаясь с ноги на ногу.

— Колин, — говорю я, доставая из сумки деревянную клюшку номер три. — Кто сказал тебе эту глупость?

— Но это же правда, — настаивает он, словно надеясь, что именно его слова сделают это правдой.

— Ничто в жизни не является игрой, — расставляю я точки над «i».

Девятая лунка — самая далекая на поле, до нее не меньше 400 метров, с кучей препятствий на пути и лесом справа и слева. Она рассчитана на пять ударов, но мне удалось забить мяч за пять ударов только однажды. Если Тони сделает грамотный «свинг», он получит большое преимущество, но здесь многое зависит от везения, а это уже по части Ноджа. Я надеюсь, что в экстремальной ситуации мне удастся сохранить спокойствие и собранность. Сейчас никак нельзя позволить себе проиграть. Меня достали оба — и

Нодж, и Тони, — и я смогу им ответить. Это *взрослая* игра. Под названием дружба. Продолжение «казаков-разбойников», «Монополии», «пряток», то же самое, просто в другой форме.

Я бью. Мяч безнадежно отклоняется от нужной траектории и замирает в сантиметре от зияющей заячьей норы.

— Вот черт!

Я швыряю клюшку на землю, она втыкается вертикально в грунт. Тони пытается сдержать улыбку, лицо Ноджа ничего не выражает. Колин обдирает кору с поваленного дуба метрах в двадцати от меня.

Следующий — Тони, у него удар получается великолепный, мяч метра на три перелетает «бункер». Нодж бьет чуть хуже, но тоже неплохо. Колин отчаялся и играет кое-как.

Я пытаюсь вторым ударом поравняться с Ноджем, для этого мне нужно закинуть мяч на двадцать метров влево. И вот мы уже на одной линии. Когда я подхожу к своему мячу, Нодж мучительно решает, какой клюшкой бить. В конце концов выбирает металлическую: она надежней и ею бить легче, чем деревянной, но, опасаясь близости «бункера», он задевает клюшкой землю. Удар получается слабый. Нодж что-то недовольно

бормочет.

В двадцати метрах от меня Тони делает очередной удар, вроде неплохой, однако ветер резко меняет направление мяча, посылая его направо в соседний перелесок. Он поник головой. Теперь ему уже не выиграть.

Мой следующий удар удается на славу: прямой, через центр «фервея» ко второму, последнему заграждению. Нодж тоже бьет отлично, мяч приземляется метрах в двадцати от моего, где-то в двухстах метрах от края «грина». По огорченному возгласу справа я понимаю, что Тони опять промазал. Это значит, что он вышел из игры.

Четвертый удар я делаю своей любимой металлической клюшкой номер четыре. Удар получается отменный. Мяч обходит все препятствия, взмывает в воздух и приземляется неподалеку от лунки, в двадцати метрах от флажка. Нодж опять ворчит. Не примеряясь, он делает следующий удар. Его мяч приземляется в метре от моего. Нам обоим предстоит непростой последний удар.

Мы молча идем к «грину». Тони уже нас нагнал. Я не сомневаюсь, что он сделал пару ударов вместо одного, спрятавшись за деревом. Тони и Колин встают по обе стороны от наших мячей. Мой мяч ближе к лунке, значит, Нодж бьет первым.

Тучи снова сгустились. Подняв голову, я вижу, что небо почернело. На горизонте сверкает молния. Начинается ливень: из-за сильного, неистового проливного дождя видимость падает практически до нуля, ливень хлещет по щекам маленькими ледяными жгутиками.

Все молчат и продолжают делать свое дело. Нодж, еще раньше промокший насквозь после падения в ручей, подходит к мячу. Когда он нагибается для удара, с кончика носа у него капает вода, он не очень широко расставил ноги, крепко сжал клюшку в руке. Колин дежурит у флажка, готовится вынуть его в нужный момент. Несмотря на дождь, мы не двигаемся с места, представляя собой размытую, блеклую картину, как на черно-белом снимке.

Наконец Нодж замахивается и ударяет по мячу. Минуту назад он бы попал в лунку, но дождь сделал землю более мягкой, и мяч, летящий в правильном направлении, не долетает и останавливается в тридцати сантиметрах от лунки. А ведь это был практически беспроигрышный вариант.

Я тоже промок насквозь, но почти не замечаю холодного проливного дождя. Я сосредоточен на правильном ударе: он не должен быть слишком

жестким, но и мягко бить нельзя, не должен быть слишком быстрым, но и медлить опасно, короче — не слишком сильно, но и не совсем вяло. Главное в этом деле — равновесие. Нельзя долго прицеливаться. Однако и быстро бить тоже плохо. Я навис над мячом, как будто спрашивая у него, какой удар нужен. В последний раз прикидываю, как изменилась почва, помня о неудаче Ноджа, и решаю ударить чуть посильнее. Еще секунда, и я делаю медленный замах, возвращаюсь глазами к мячу, убеждаюсь, что все рассчитал правильно, и бью.

Мяч отскакивает от клюшки, пролетает над промокшими ромашками, как маленький, незаметный гонец. Он обходит мяч Ноджа, направляясь в сторону лунки. Я затаил дыхание. Он летит быстро, слишком быстро. Мне кажется, я перемудрил: он далеко от лунки, может, метрах в трех. Он не попадет в нее. И тогда я проиграл.

И вдруг мяч меняет направление, наткнувшись на небольшой бугорок, сворачивает влево, не сбавляя скорости, начинает крутиться и летит прямо к лунке. Какое-то мгновение кажется, что он ее проскочит, но вместо этого он подпрыгивает на месте, теряет скорость и, как бешеный, вертится на месте. Раз, два, три раза. Наконец ему

надоедает мельтешить, и он плюхается в самый центр уже заполненной водой лунки.

Я тут же падаю на колени, подбрасываю клюшку в воздух и начинаю вопить от восторга.

— Вашу мать! Педики несчастные, *слабаки!* Я победил! Я выиграл! Ва-ууу!

Нодж, слегка ссутулившись, лениво ударяет по мячу, загоняя его в лунку, хотя теперь это уже бесполезно. Он попал, но поздно. С мрачным видом он направляется к лунке, чтобы достать мячи.

— Неплохо, — выдавливает он из себя.

— Отличный удар, сукин сын! — восклицает Тони. Шуткой это можно назвать только наполовину.

Колин ничего не говорит. Я не понимаю, почему у него такой страдальческий вид. Ему-то что?

Нодж достает из лунки оба мяча. Он подходит ко мне, протягивает руку, и мы обмениваемся рукопожатием. Он уже собирается вернуть мне мяч и вдруг передумывает.

— Погоди. У тебя ведь был «Данлоп» номер один. А это «Титлайст» номер три.

Я нервно вытираю мокрое лицо левой рукой.

— Я поменял мячи. Испугался. Наверное, становлюсь суеверным.

— И где же «Данлоп»?

Мне не по себе. Говорю:

— Я его выбросил. Он все равно старый был.

— Так в чем все-таки дело? В том, что он старый, или в том, что ты стал суеверным?

К нам подошел Тони. Колин по-прежнему стоит в стороне. Дождь льет как из ведра. Остальные игроки спрятались или под крышей клуба, или под зонтами. Дождь и вправду сильный, но мы не двигаемся с места.

— Ты считаешь, что я мухлевал?

— Нет, — говорит Нодж спокойно, осторожно. — Я просто хочу знать, где «Данлоп».

— Я же сказал, что выбросил его. Ты психуешь, потому что тебе не обломилось.

— По крайней мере, мне не обломилось только в гольфе, — бормочет Нодж едва слышно.

— Что?

— Ничего. Какая разница?

— Раз спрашиваю, значит, есть разница. Что ты сказал?

— Я сказал: по крайней мере, мне не обломилось только в гольфе.

— Нет, ты сказал: по крайней мере, *мне* не обломилось только в гольфе. Ты сделал ударение на *мне.* Подразумевая, что *кое-кому* не обломилось что-то другое, посущественнее.

Нодж пожимает плечами.

— Если тебе так показалось…

— Мне не показалось. Давай, договаривай, если тебе есть, что добавить.

— Ничего из того, что бы тебе хотелось услышать.

Мы уставились друг на друга, как боксеры перед боем. Колин пытается разрядить обстановку. С лица у него капает вода, он весь промок. Порывы ветра заглушают его голос.

— Перестаньте. Пойдемте лучше выпьем кофе.

Мы оба, воспользовавшись моментом, слегка расслабляемся. Та часть меня, которая стремится избежать столкновения, которая не хочет смотреть правде в глаза, радуется этому. А другая моя часть хочет забить Ноджа насмерть тяжелой металлической клюшкой, а потом сверху пройтись катком. Чуть погодя мы оба, как по команде, разворачиваемся и медленно направляемся в кафе вслед за Колином, на приличном расстоянии друг от друга. Тони плетется позади.

Подходим к входу. Мы с Ноджем садимся друг против друга, как обвинитель и обвиняемый в полицейском участке. Тони слева от меня, Колин пошел за кофе. Нодж достает из кармана и протягивает мне подмоченную пятидесятифунтовую

банкноту, я молча беру. Тони отдает две двадцатки и десятку. У меня возникает мимолетное желание вернуть деньги. Победа уже почти не доставляет мне радости. Враждебная атмосфера все портит. Голова трещит от похмелья, черепушка раскалывается.

Тони начал разбор полетов: он всегда это делает.

— Ведь все началось с того короткого удара на седьмой лунке. Если бы я не промахнулся, а ты бы не взял эти три метра…

— Ну да, если бы я не промазал на пятой, а Нодж не упал в ручей… так можно продолжать до бесконечности, — говорю я.

Произнося эти слова, я все еще веду воображаемую беседу с Ноджем о том, что же мне такое не обломилось. Он закурил, смотрит на меня с улыбкой. С недоброй, издевательской улыбкой, как будто считает, что я ушел от конфликта на девятой лунке из страха. Меня это бесит, и, как только Колин возвращается с кофе, я чуть-чуть отхлебываю, многозначительно смотрю на Ноджа и спрашиваю:

— Так что мне все-таки не обломилось?

Тони закатывает глаза, а Нодж не медлит с ответом, словно только и ждал, когда я задам этот

вопрос, и давно был готов к нему.

— Ты сам знаешь, что тебе не обломилось. Единственная приличная женщина среди тех, что у тебя были. В первый раз тебе попалась не телка. Ты бросил Веронику, хотя сам и мизинца ее не стоишь. И ради чего? Ради партии в гольф.

Нодж ухмыляется. Все это сведет меня с ума. Я бросил Веронику ради *него,* ради них всех. А он теперь мне выговаривает. Голова раскалывается от похмелья. Я промок и замерз. Вместо радости победы чувствую горечь поражения. Нодж пыхтит своей чертовой «Крейвен Эй»: пых, пых, пых. Он уже пятнадцать лет так пыхтит.

— Я не знаю, что мне *не* обломилось, но я знаю, что мне *обломилось*.

Нодж слегка скривил рот, типа: «Кого это колышет?» Это уже слишком. Я чувствую, как слова перекатываются на языке, им не терпится выплеснуть желчь наружу. Я пытаюсь удержать их, но слишком поздно, они сочатся изо рта.

— Рут. Твоя Рут, которую я трахал.

На мгновение Нодж замирает, а потом, к моему искреннему изумлению, начинает смеяться.

— Ты хотел причинить мне боль? Думал, я не в курсе? Ты не представляешь себе, насколько мне это фиолетово. Ты меня совсем не знаешь,

Фрэнки. Или делаешь вид, что не знаешь.

Наступило молчание. Тони с Колином притихли. Я не говорил им, что трахал Рут.

— Мы с Рут были просто друзьями. Не более того, — продолжает Нодж.

— Да ладно. Чего же ты тогда твердил все время, что она и есть, так сказать, единственная и неповторимая?

— А ты попробуй понять. Хотя ты слишком *туп,* чтобы это понять.

Похоже, никто не знает, как прервать наступившее молчание, а оно все длится и длится. Тони делает попытку:

— Выпить никто не хочет?

И достает упаковку из четырех банок лагера.

Нодж, не поворачивая головы, говорит:

— Мне, пожалуйста, коку. Предпочитаю легкие напитки.

— Ты что, голубой, черт возьми? — не выдерживает Тони.

На этот раз Нодж поворачивается, смотрит Тони прямо в глаза, и я вижу впервые в жизни, как самообладание покидает его и он начинает орать, не говорить, не спокойно рассуждать, а орать, да так, что все в кафе оборачиваются.

— Да, голубой! — орет Нодж. — Самый *насто-*

ящий педик. Уже пятнадцать лет как педик. Голубее не бывает. На самом деле я большая толстая девочка. И стал таким четырнадцатого мая восемьдесят второго года, мне понравилось то, что сделал тогда со мной Фрэнки. Помнишь, Фрэнки? Не думаю, что ему это тоже понравилось. Во всяком случае, с тех пор он никакого интереса к этому не проявлял. А теперь уже поздно, так ведь, Фрэнки? Потому что я выхожу из игры.

С этими словами Нодж встает со стула и направляется к выходу, все посетители смотрят ему вслед. У самой двери он поворачивается.

— Какая отвратительная, мерзкая комедия!

Жуткая, безысходная тишина повисает в кафе.

Слышен только стук приборов о посуду, вдали — рев автомобильного мотора и шум проходящего поезда.

Наконец, тишину нарушает едва слышный голос Тони:

— Он ведь *пошутил*? — Тони ошарашен. Такое впечатление, что для него рухнули основы мироздания. Он растерянно глядит на меня и жалобно спрашивает:

— Фрэнки, он пошутил?

Я смотрю в дверной проем, где только что стоял Нодж. Потом на перекошенное от ужаса лицо

Тони.

— Уверен, что он говорил совершенно серьезно, — отвечаю я сухо.

Это правда. Я действительно уверен. Уверен сейчас, хотя знал об этом *всегда*, просто та малая толика меня, что зовется сознанием, не способна была переварить это.

Тони поплохело, он чуть не свалился со стула.

— Ты… имеешь в виду, что вы… что он…

Я спокойно рассматриваю свои ногти.

— Что мы?

— Что? Что вы оба гребаные педики?

Я молчу.

— Да? Ты это имел в виду?

Глаза у него расширились и блестят: он не может поверить в то, что это правда. В голове тупая пульсирующая боль похмелья.

— Да, Тони. Мы педики! Доволен? А ты — невыносимый, самовлюбленный, пустой подонок, на которого нельзя положиться!

Он начинает теребить свой амулет на шее.

— Vaffanculo! Tiodio! Tu sei un grando finocchio! Mi vieme da vomitare! Sei disgustoso![46]

Гортанные звуки выпрыгивают из его глотки.

---

[46] Примечания: 46

Иди в жопу! Ненавижу тебя! Педераст хренов! Меня от тебя тошнит! Ты омерзителен! (*итал.*).

А я и не знал, что Тони *говорит* на итальянском. Он смотрит на Колина, моргает.

— Ты тоже псих долбаный!

И уходит. Чуть погодя раздается урчание мотора его «мерседеса». На этот раз радио выключено, такого я не припомню. Слышится скрип тормозов: это он выруливает с парковки. В шоке я гляжу на Колина.

— Остались мы с тобой, Кол, — шепчу я, а про себя думаю, потирая родимое пятно: «Да. Только ты и я. Черепаха и кролик. Два брата-акробата».

Колин смотрит куда-то в сторону, как будто ничего не случилось. Он отпивает кофе и спрашивает:

— Зачем ты смухлевал, Фрэнки?

Я не понимаю.

— О чем ты, черт побери?

Я действительно не понимаю, о чем он говорит. Два моих лучших друга только что бросили меня, я расстался с любимой женщиной, и я понятия не имею, о чем говорит Колин.

— Этот мяч. Я все видел.

— Что видел?

— Видел, как ты заменил мяч. На пятой лунке. Это обман. На самом деле выиграл Нодж. А ты взял у него деньги. Я знал, что ты лжец. Но так

поступить со своим *другом*...

И тут меня понесло. Я замерз, промок, сбит с толку, у меня нет никаких сил, я зол, я в тупике. Я смотрю на сморщенное, злое, осуждающее лицо Колина, и мне кажется, что время повернулось вспять, что я снова в классе, в тот самый день, когда его раздели, и мне хочется отделаться от него как можно быстрее и присоединиться наконец к настоящим парням.

— Тебе-то какое дело? Ты что, *садомазохист*? Привык поступать только как положено. Ты еще не понял, что в этом мире выживает сильнейший? И ты сам должен определять правила, сам диктовать условия. И другого *не дано.* Ты меня *видел,* ну и что? Подумаешь, смухлевал! Что ты раздуваешь из этого историю, мать твою? Ты — гребаный маменькин сынок. Ты — неудачник.

Колин остолбенел, я понимаю, что потерял его. Сижу в кафе гольф-клуба, передо мной на столе чашка с остывшим кофе, и человек пятнадцать шестидесятипятилетних мужиков в беретах с помпончиками и клетчатых штанах пялятся на меня, как будто я с Луны свалился.

Может, я действительно с Луны свалился. Просто родители забыли мне об этом сказать. И поэтому я не понимаю каких-то вещей. Вообще

ничего не понимаю.

Ни хрена не понимаю.

Глава шестнадцатая
Когда Гарри встретил Фрэнки

Одному не так уж и плохо. Что-то в этом есть.

Конечно, нужно время, чтобы приспособиться, не без этого. Вначале просыпаешься по утрам, часа в три, чувствуя, как сухой, холодный ком разрастается у тебя в груди. Я уже испытывал нечто подобное, даже хуже, когда отец умер. Тебя обволакивает, сковывает кандалами, и ты не можешь пошевелиться.

Это ощущение еще не исчезло, но уже стало привычным, читай: сносным. И потом, я же не совсем один. Есть мама, дай Бог ей здоровья, она беспокоится, заботится обо мне и вечно суетится. Я рад, что она есть, что она жива и неизменна. Я так долго ненавидел эту ее неизменность, а теперь она мне нравится, именно она и *нужна* мне.

И у меня есть друзья. Ноджа, Тони и Колина больше нет, но на них же свет клином не сошелся. Были и другие. Просто к этим я привык, прикипел, что ли. Хотя другие тоже ничего. Я хожу к ним в гости, у кого-то есть семья, у кого-то уже

дети, они приглашают меня на обед, и я привожу с собой разных подворачивающихся под руку женщин, вполне милых, но слегка озабоченных какими-то страхами, подавляющими всякое желание, — прекрасный способ потушить пожар либидо. И это нормально. Большего мне и не надо. Большего мне и не предлагают.

Наконец, есть работа. После 14 августа я стал трудоголиком. На следующее утро пришел на полчаса раньше, с твердым намерением не упустить ни одного клиента, обратившегося в «Фарли, Рэтчетт и Гуинн». И у меня неплохо получается. Я приманиваю их пряниками, погоняю кнутом, кручусь, верчусь, не сдаюсь до последнего. Десятичасовой рабочий день, а потом домой, к своему замороженному цыпленку карри, купленному по дороге в супермаркете, и нескольким банкам пива. Ужинаю и вырубаюсь, проваливаюсь в сон. С утра все сначала. По субботам мы тоже работаем, поэтому остаются только воскресенья.

Да нет, правда, все нормально. Принято считать, что самое ценное — человеческое общение, что без него жизнь лишена смысла. Но я в этом не уверен. Конечно, когда ты один, наблюдается некое… отсутствие чувствительности. Хотя я бы предпочел называть это индифферентно-

стью. А какие существуют альтернативы? Вся эта неразбериха человеческих отношений. Со всеми ее разногласиями, ненавистью, обидами, пренебрежением, ревностью, всеми оборотными сторонами общения. Но почему-то все-таки хочется *этого,* а не лицемерных поздравительных открыток с сердечками, пушистыми облачками и ангелочками. Любовь. А что это, черт возьми, такое? Покажите мне ее. Нарисуйте. Двое мальчишек на золотистом пляже под небом цвета ультрамарин. Ромео и его чертова Джульетта. Бивис и Батхед. Том и Джерри. Но все это, все это… блин, я не знаю!

Воскресенья. С ними труднее всего. Много раз я целыми днями смотрел мультфильмы — то, что записал на видак за неделю, или что-нибудь из старых записей. Обычно я начинаю с просмотра «Дакмена», потом перехожу к «Бивису и Батхеду», потом к «Царю горы», дальше ставлю «Современную жизнь Роко», а заканчиваю любимым — «Ой, настоящие монстры!». Хотя, надо признать, мультики веселее смотреть в компании.

Теперь я обедаю по воскресеньям с мамой. Это довольно удобно. Я начинаю понимать, откуда у Колина Эдипов комплекс. Нет, я не хочу трахнуть старушку Флосси, просто мне приятно, что она

опять за мной ухаживает. Готовит мне полноценный обед к половине второго, сдувает с меня пыль. После обеда футбол. Правда, рядом не орущие и рыгающие Тони, Нодж и Колин, а храпящая в кресле мама. Зато так гораздо спокойнее.

Сегодня понедельник, утро. Позади еще одно пережитое воскресенье. Вполне пристойное, хотя бывало и лучше. Поразительно, сколько времени можно провести в постели, если тебе особо нечем заняться.

В конторе, на удивление, тихо. Руперт и Джайлз показывают квартиры, а я сижу на телефоне, но он почти не звонит. Чтобы убить время, просматриваю свои банковские счета. Я неплохо поработал, совсем неплохо. Теперь, когда мне не нужно содержать Веронику — а она, будь мы вместе, съедала бы половину моей наличности, что *немало,* — так вот теперь, по моим подсчетам, я уже через полгода смогу перебраться в новую квартиру. Я присмотрел себе небольшой пентхаус в Ноттинг-Хилл. Когда у меня опять проснется интерес к женщинам — что *должно* произойти вот-вот, — будет хорошее гнездышко для встреч. И потом: я стану *богачом.* Из маленькой квартиры с одной спальней перееду в квартиру побольше, с двумя, потом куплю дом

в Кенсингтоне, потом… Этот процесс прекрасен сам по себе. Безграничностью возможностей. Нет предела тому, что можно купить за деньги.

Выглядываю в окно. Мужчина и женщина рассматривают объявления, которые развешены повсюду. Им лет по двадцать пять, стоят в обнимку. Она поворачивается и чмокает его. Интересно, *надолго ли* их хватит.

День клонится к вечеру. В конце лета смеркается рано. Шесть часов. Семь. Я встаю и собираюсь уходить. Сегодня я закрыл две сделки, моя комиссия с них составит пару штук. Неплохо для понедельника. Я поправляю галстук и любуюсь на себя в зеркало. Родимое пятно выглядит отвратительно, да и само лицо не лучше — как будто, попав в самое пекло жизни, я не успел вовремя отскочить. Отворачиваюсь от зеркала и смотрю в окно. На улице вижу старика — щеголеватого, миловидного, с чувством собственного достоинства, похожего на Берта Ланкастера; он приближается к двери с нашим каталогом в руках. Я не закрываю дверь перед носом старика (хотя именно это мне хочется сделать в первый момент), потому что его лицо кажется мне знакомым, по-моему, я уже видел этого человека раньше. Потом перестаю напрягать память, показываю на часы и

артикулирую через стекло: «Мы закрыты».

Но он знаками просит меня открыть дверь. Очевидно, хочет, чтобы я его впустил. Он складывает ладони на груди, я недолго раздумываю, а потом разрешаю ему войти. Он быстро просачивается внутрь, аккуратно закрывая за собой дверь.

— Простите меня. Я знаю, что уже поздно. Но меня задержали. Был очень трудный день. Очень.

Я киваю, принимаю выражение искреннего участия, которого требует моя работа.

— Ничего страшного. Вы будете последним. Присаживайтесь. Чем могу вам помочь?

Я закрываю дверь на ключ, чтобы ни один клиент больше не проник, и сажусь за стол. Мужчина медленно, тяжело дыша, усаживается на стул напротив. Он берет буклет и начинает, не глядя, листать его.

— Да-да. Так вот. Нам нужна маленькая квартира. С одной спальней. Чтобы не трудно было убирать.

— Ясно. И на какую сумму вы рассчитываете?

— Я… точно не знаю. Мистер… мистер…

— Блю. Фрэнсис Блю. Вот моя визитка.

Мужчина берет визитку, довольно долго ее изучает, потом поднимает взгляд и начинает быстро-быстро моргать, как будто пытается что-

то вспомнить. Что-то в этом есть неестественное. Но я не могу понять что. Потом он издает какой-то звук, и в глазах его мелькает огонек.

— Фрэнки *Блю.* Конечно. Я вас узнал. Как дела, сынок?

— Простите, я не…

— Харри. Харри Батсон.

Мне это не сильно помогло.

— Вы показывали нам дом на Брук-Грин, 27. В начале этого года. Мы были вместе с Мод Колдстрим. Чудесное место, но потом выяснилось, что крыша течет. В конце концов, мы отказались от этого варианта. Неохотно, очень неохотно.

Теперь я вспомнил. Парочка целующихся-милующихся старичков. Сразу после того, как я познакомился с Вероникой. Харри и Мод. Воплощенные Дарби и Джоанн.

— Мистер Батсон, — говорю я. — Конечно, я вас помню. Как поживаете?

Он радостно улыбается.

— Спасибо, неплохо. Совсем неплохо. А вы? Вы как будто похудели. Неважно выглядите.

— Нет-нет, мистер Батсон. У меня все в порядке.

— Вы уверены?

— Конечно. Дела идут прекрасно. Жизнь бьет

ключом.

— Правда? Это замечательно. Это очень хорошо.

Он кивает, не сводя с меня глаз, как будто сканируя мое лицо. Я не сказал ему, но он тоже похудел. Стал каким-то хрупким, бледным, хотя по-прежнему элегантен, держится прямо, очень учтив. Я смотрю мимо него в окно. Парочка вернулась. Теперь они изучают витрины. И громко спорят. Я не могу сдержать злорадной усмешки.

— У вас уже было торжество?

— Какое торжество, мистер Батсон?

— Зовите меня Харри. Разве вы не решились на ответственный шаг? Ну, вы понимаете… Соединить себя узами, и все такое. Создать ячейку общества.

— А, вот вы о чем! Нет, ничего такого не было.

— Жаль. Впрочем, в море еще много рыбы. И много морей, где ее можно поймать.

Он скрещивает руки на груди, глядя куда-то вдаль. Меня это начинает раздражать, я не понимаю, какого черта торчу здесь, когда давно уже мог быть дома, смотреть… выпить… съесть…

— Да… Ладно. — Я чувствую, что в моем голосе появляются нетерпеливые нотки. — Знаете, мистер Батсон, женщин трудно понять. Так на

какую сумму вы рассчитываете?

— Харри.

— Харри. Я могу вам чем-нибудь помочь?

— Помочь?

— Да. Какую именно квартиру вы ищете?

Он трясет головой, как будто отгоняя видения.

— Да, конечно. Маленькая квартира. С одной спальней. В которой можно быстро прибраться.

— Это вы уже говорили. Нельзя ли поподробнее?

— Такую… такую симпатичную, чистую, чтобы вокруг была зелень. Где-нибудь недалеко от парка.

— Какого парка?

Батсон снова смутился.

— Неважно, какого. Пусть будет Холланд-парк. Это подошло бы.

Я с трудом сдерживаю стон. Потом беру себя в руки, готовясь к прорыву. Я почти уверен, что квартира ему не нужна… В прошлый раз они с Мод исчезли без следа, мы только зря потратили на них время.

— Ясно… На ваши деньги там особо не разбежишься. Квартира с одной спальней стоит около двухсот тысяч. А она слишком мала для вас с женой. Вам нужно что-нибудь попросторнее.

Он кивает, давая понять, что с этим проблем не будет. Чертов старикашка, все равно ничего не купит. У меня уже голова болит. Я начинаю тереть родимое пятно указательным пальцем, потом многозначительно смотрю на часы. Я хочу уйти отсюда, хочу домой, хочу заснуть перед телевизором. Звонит телефон. Я не беру трубку. Но Батсон, похоже, не торопится. Наступает молчание, и я вынужден поддержать разговор.

— А как Мод?

— Мод? Что вы имеете в виду?

Он вдруг начинает сильно нервничать.

— Мод. Ваша… ваша жена.

Он слегка расслабляется.

— Конечно, вы же ничего не знаете. Она умерла, к сожалению.

Он смотрит на меня своими мутными стариковскими глазами, в которых вдруг проступила щемящая боль.

— О, мне очень жаль.

Я смущен, но в то же время мне кажется, что все это ловко подстроено. Странное ощущение — будто все… тонко рассчитано.

— Не о чем сожалеть. Не о чем.

Я снова смотрю на часы, довольно демонстративно. Но понимаю, что разговор нельзя

закончить на такой ноте.

— Как это… как она…

— Мне трудно об этом говорить.

— Конечно. Я понимаю.

Он молчит еще пару секунд, потом теребит воротник рубашки, как бы поправляя его. И снова начинает говорить.

— У нее был сердечный приступ. Мы в это время занимались сексом.

Он произносит это совершенно серьезно, как судебно-медицинский эксперт, зачитывающий акт вскрытия перед судом присяжных. Эти слова в устах грустного, странного старика звучат невероятно смешно. Я пытаюсь сдержаться, но все равно фыркаю от смеха.

— О Господи… Простите. Я не хотел…

— Нет-нет. Это, наверное, и вправду смешно. Не самая плохая смерть, должен заметить.

Кажется, Харри Батсон не обиделся. Я внимательно смотрю на него. Он мало изменился, несмотря на то, что несколько сдал физически: по-прежнему сосредоточенный, солидный, серьезный — именно таким я его и запомнил. Но что-то в нем все-таки стало другим. Вероника назвала бы это аурой, что-то неуловимое в выражении лица. И вдруг до меня доходит: я уже

видел это однажды на лице матери много лет назад, видел такую же обескураживающую сосредоточенность. *Одиночество* холодным голубым светом сочилось из его глаз, отравляя меня своими смертоносными парами. Я стал еще больше нервничать, еще больше мне захотелось вырваться из офиса. Но я не мог просто выпроводить его. Меня вовлекли в игру, в которой мне не было места, в которой для меня не было роли… И еще я понял, что именно с этим он сюда и пришел. Чтобы поговорить. О чем угодно. Чтобы избежать одиночества, хотя бы на несколько минут. Я стараюсь смягчить голос.

— А вы, мистер Батсон? Как вы теперь?

— Да так, знаете ли. Мне грех жаловаться. Нам с Мод было что вспомнить. Мы прожили прекрасную жизнь, далеко не всем так везет… Конечно, я скучаю по ней. Скучаю каждый день. Это такая тяжелая травма. — Он замолкает, чтобы перевести дух. — Но я справляюсь. Потихоньку. Жизнь все равно стоит того, чтобы ее продолжать, знаете ли. Конечно, я почти всегда один. Но к этому привыкаешь.

«Как к чуме», — думаю я про себя, а потом говорю:

— У вас ведь, наверное, есть дети? — стараясь,

чтобы это прозвучало весело, с фальшивой бодростью.

Батсон улыбается.

— Дети. Да, с ними все хорошо. Но у них своя жизнь. Давно уже своя жизнь. Они где-то вашего возраста. Вы, между прочим, похожи на моего младшего, Питера. Он сейчас в Саудовской Аравии. Мы редко видимся.

Я чувствую, как доверительные отношения обволакивают нас, подступая все ближе. Мне нужно как-то свернуть разговор, выбраться из него.

— Но у вас наверняка есть друзья, — произношу эти слова, демонстративно откладывая бумаги в сторону, наводя порядок на столе и перебирая связку ключей в руке.

— Нет, у нас с Мод не оставалось на это времени. Были только мы с ней, и еще семья. Знаете, я бы хотел… конечно…

Он смотрит на меня умоляюще, и я знаю, что он собирается предложить. Теперь я знаю наверняка, что он пришел сюда не покупать квартиру, а потому что узнал меня, потому что я для него — потенциальная *мишень*, аспирин, который снимет боль от его ужасной раны.

— Мо… может быть, мы как-нибудь выпьем вместе. Я каждый день прохожу мимо вашего

офиса.

Его старческие водянистые глаза какое-то время смотрят на меня не отрываясь. Я вижу, в каком он отчаянии, и меня это пугает. Вспоминаю, что несколько раз он действительно проходил мимо офиса, очевидно, набирался смелости войти. Я делаю глубокий вдох. Мне его искренне жаль и хочется как-нибудь помочь ему, но я не могу. Моя собственная жизнь разваливается на части, она как выжженное поле. И я вдруг вижу свое будущее, или вариант своего будущего, в сидящем напротив Батсоне, который пришел, чтобы предупредить меня, а может, посмеяться надо мной. Почти поддавшись панике, я встаю.

— Очень хорошая мысль, мистер Батсон. Но боюсь, что я слишком…

Он начинает моргать, жестом призывая меня к молчанию.

— Конечно-конечно. Я все понимаю. Я просто так предложил.

Он поспешно встает и протягивает мне руку. Я ее пожимаю. У него сухая, твердая рука. Вижу, как мучается этот гордый, величественный человек, ему стыдно, что он опустился до того, что клянчит чьей-то компании, он чувствует себя как король, вдруг превратившийся в нищего. А мне стыдно,

что я не могу — не желаю — ему помочь. Но он — воронка, и я не хочу, чтобы меня засосало.

— Я пойду. Всего хорошего, Фрэнки.

— И вам, мистер Батсон.

— Харри.

— Харри.

Он встает и выходит в поздние летние сумерки, оставив каталог на стуле. Я смотрю на глянцевую обложку. На ней остался отпечаток его пальца.

Минут пять я сижу неподвижно, а потом снимаю телефонную трубку.

Глава семнадцатая
ЧБСИ?

Сначала я позвонил Колину. Я беспокоился о нем. Мама сказала мне, что его матери стало хуже. Ведь если Оливия Берден не может обойтись без Колина, логично предположить, что и ему без нее туговато. Более того, я позвонил ему два раза, оставил сообщения, но он так и не перезвонил. Неужели *настолько* разозлился? До этой размолвки на гольфе он всегда мне перезванивал, сразу же, причем охотно.

В то утро он *наконец* перезвонил, но разговаривал как-то странно. Не злился, нет, скорее наоборот. Он был какой-то радостный, возбужденный.

— Фрэнки, привет!

— Колин! Как поживаешь, дружище?

— Отлично. Отлично.

— Послушай, мне очень неловко… я не хотел… тогда в гольф-клубе…

— Фрэнки, перестань. Все нормально. Забудь. Правда.

Мне сразу полегчало.

— Знаешь, Колин… давай встретимся. Я все-таки хочу объясниться. Извиниться.

Тишина в трубке.

— Колин? Ты меня слышишь?

— Да. Слышу.

— Ты видел Ноджа? Тони?

— Нет, я никого не видел.

— Вообще никого, что ли?

— Ну да. Так, с одним приятелем встречался, но ты его не знаешь.

— А-а, хорошо. Здорово, — пробормотал я, стараясь поскорее закрыть эту тему.

Снова тишина. Я видел некоторых приятелей Колина. У него их много, и задерживаются они ненадолго. Он бывает на всяких компьютерных тусовках. Эти парни все зануды, неудачники, помешанные на компьютерах. Надеюсь, он не собирается нас знакомить. Разговорами о железе, гигабайтах, чипах и прочей хрени, которыми меня кормил Колин, я и так сыт по горло.

— Слушай, может, встретимся? Вдвоем.

— Хорошо, — отвечает Колин.

Достаю ежедневник: вся неделя занята. Я продолжал урабатываться до полусмерти. Окно есть только сегодня утром: я собирался встретиться со священником Церкви Всех Святых, в которой мы

должны были венчаться с Вероникой. Ему очень не понравилось, что мы отменили всё практически накануне свадьбы, вот я и решил зайти, чем-нибудь умаслить его. Подкинуть денег на ремонт купола, на благотворительность, на сирот — короче, на что они там тратят. Он приятный человек, да и вообще торговцу недвижимостью не стоит портить отношения с представителями местной диаспоры. Я наметил встретиться с ним в понедельник между двенадцатью и часом. А от церкви до дома Колина всего ничего.

— А сегодня ты никак не сможешь?

— Смогу.

— Мне нужно встретиться со священником на Рэйвенскорт-парк. В двенадцать.

Опять молчание.

— С кем?

— Со священником. Ну, они в таких черных одеждах. Служат литургии, отпевают, все такое. И венчают.

— А…

— Может, мы с тобой после этого состыкуемся? В парке, скажем, в четверть первого?

— Хорошо.

— Пока, Кол.

— Пока, Фрэнки.

Разговор был три часа назад. А сейчас я еду по шоссе вдоль парка. Притормаживаю свой «бимер», паркуюсь, вылезаю из машины. И вижу Колина: сидит себе на скамейке, крошит хлеб голубям. Он один.

День прохладный, и в парке никого. Кроме одиноко сидящего на скамейке Колина. Вид у него даже хуже, чем обычно: одежда грязная и мятая, волосы немытые. Рубашка на нем явно не по погоде — с коротким рукавом. На лице щетина.

Он увидел меня и просиял. Тут же вскакивает и направляется ко мне. К моему изумлению, обнимает меня. Потом еще раз. Целует в щеку. Отступает на шаг и смотрит так, будто видит меня в первый раз в жизни. Пытаясь загладить неловкость ситуации, говорю:

— Привет, Колин. Роскошно выглядишь. Ты что, выиграл в лотерею?

Колин по-прежнему молчит. Просто кивает головой. Я чувствую себя еще более неловко и пытаюсь завязать разговор.

— Чем занимаешься?

— Да всем понемногу.

Я сажусь на деревянную скамейку, Колин все стоит.

— Так, значит, ты не виделся ни с Тони, ни с

Ноджем?

— Нет, я виделся только со своим старым приятелем.

Мне все труднее продолжать разговор. В Колине появилась какая-то неприступность, и это заставляет меня дергаться. Я замечаю, что кусок старой краски прилип к руке, начинаю его отдирать.

— Забавно получилось, правда?

— Что?

— Ну, тогда, на гольфе.

— Да, забавно.

Это становится невыносимым. Я уже начинаю жалеть о том, что позвонил ему.

— Как мама? Все в порядке?

— Да, в порядке.

— Хорошо.

— Отлично.

— Вот и замечательно.

— Хотя… Все не *так* уж хорошо.

— Нет?

— Нет.

Он смотрит на меня, прищурившись. Глаза запавшие. Выглядит гораздо старше своего возраста, но так он выглядит уже лет пять.

— На самом деле ее забрали.

— Куда забрали?

— В больницу.

— Почему?

— Потому что у нее появились странности.

— Но ведь она… уже давно… то есть…

— Нет, это *посерьезней*… чем раньше. Она, например, не могла вспомнить, кто она. Ни имя, ни фамилию.

— Ого!

— Начала ходить под себя, и все такое. И по большому тоже. И потом она стала буйной.

— Буйной?

— Она ударила человека из соцстраха. По лицу. Укусила почтальона за руку, когда он принес заказное письмо. Даже на *меня* пыталась наброситься. Со спицей в руках…

Он повернул правую руку. Прямо над локтем был виден свежий шрам, перетянутый швами в нескольких местах.

— Пришлось ее увезти.

— Я… это…

— Я теперь один в квартире.

У меня нет слов. Наступает долгая пауза. Я слышу звуки парка. В пруду дерутся утки. Дети на площадке кричат друг на друга. Удары мяча на теннисных кортах. Ветер у меня в ушах.

— Ты к ней ездишь?

— Иногда. Она просто сидит в кресле и смотрит в окно. Меня не узнает.

— Ей… она может поправиться?

— Нет. Она скоро умрет.

Он говорит это совершенно спокойно, как будто пиво в баре заказывает. Ровным, вежливым тоном. Я в легком шоке.

— Колин, мне очень жаль. Правда… почему ты мне не позвонил? Я не знал. Все это ужасно.

Колин качает головой.

— Все нормально, Фрэнки. У меня все хорошо. Это очень давняя история. Просто мне нужно было побыть одному, чтобы во всем разобраться. Я сейчас все вижу по-новому, яснее. Знаешь, я иногда думаю, что моя бедная, старая мама слишком на меня полагалась. Уверен в этом. Наверное, не надо было ее так жалеть. Или она не должна была *знать*, как я ее жалею. Ты понимаешь, что я имею в виду?

«Ё-мое, Кол», — думаю я про себя, а вслух говорю:

— Да, понимаю. Прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. И все равно, старушку Оливию жалко. Это было… она страдала?

На секунду он грустнеет, а потом на его лице снова появляется маска непрошибаемого спо-

койствия.

— Да. Думаю, она сильно мучилась. И потом, она всего боится. Она страшно напугана. Я пытался объяснить ей, что бояться нечего. Но у нее в одно ухо вошло, в другое вышло.

Я киваю и складываю руки на груди. Мне хочется обнять Колина, прижать к себе, но что-то меня останавливает. То самое «что-то», которое заставляет нас прерывать неловкое молчание, конкурировать с другими, наказывать их, а не утешать. Мне особенно нечего сказать. Ветер ерошит грязные волосы на голове Колина, и от этого он кажется еще более странным. Аккуратный, тщательно начищенный значок «Рейнджерс» приколот к вороту грязной рубашки. Я замечаю рядом с ним еще один, чуть побольше, с буквами «ЧБСИ?».

— Что это значит?

— Ничего. Просто шутка.

— А-а-а… Смешно. Ты неплохо выглядишь, — соврал я.

— Да, у меня все хорошо. Лучше, чем когда-либо, как ни странно.

— Нет худа без…

— Именно.

Бродячая собака подбегает к нам, запрыгивает

передними лапами Колину на колени: он всегда боялся собак, а эта довольно крупная, какая-то помесь овчарки. Но он наклоняется и гладит ее по голове:

— Хорошая, хорошая собака.

Я смотрю на часы. Уже опаздываю к священнику.

— Колин, мне нужно зайти в церковь. По поводу венчания.

— Угу.

— Может, зайдешь со мной?

— Давай.

Колин отрывается от собаки и направляется к выходу из парка. Я иду за ним. Он шагает медленно, уверенно. Прямо на ходу вдруг начинает говорить, тихо и монотонно, как будто его загипнотизировали. На меня он при этом не смотрит.

— Фрэнки, ты всегда был моим другом. Я знаю, что у тебя на этот счет сомнения, но это так. Конечно, ты был сильнее, успешнее, и все такое. И мне непросто было смириться с собственной никчемностью. Это бывало унизительно. Это похоже на… наркотическую зависимость. Что-то, что ты ненавидишь… но от чего не можешь избавиться.

Он останавливается, смотрит на меня. Я тоже останавливаюсь.

— Ты не виноват, Фрэнки. Хотя, вероятно, что-то тебе это давало. Чувство превосходства? Наверное. Не думаю, что ты относишься ко мне как к другу. Скорее как к ученику? Или к любимому щенку? Да, щеночек Колин, верный, преданный пес. Гав-гав!

Он лает и смеется одновременно. Я пытаюсь сказать что-то, но он жестом пресекает меня. И срывается с места, я за ним, на полшага сзади. Голос нейтральный, без выражения.

— Теперь это уже *неважно*. Неважно, согласен ты или нет. Теперь все изменилось. С тех пор, как они забрали маму, я начал смотреть на вещи по-другому. А до этого была игра в гольф. Так странно: все друзья исчезают в одночасье. Было такое ощущение, что все это время я носил темные очки и видел только контуры предметов. А потом, когда забрали маму и все вы исчезли, очки сняли. И я увидел, что ты всегда смотрел на меня сверху вниз. Считал, что ты лучше, чем я. Жалел меня… презирал, что ли.

— *Ерунда* какая-то. Что ты несешь?

— Ты не волнуйся, я не обижаюсь, — радостно перебивает он. — Правда, все нормально. Нам сюда?

Мы стоим на пороге большой англиканской

церкви, примыкающей к парку. На двери табличка «Церковь Всех Святых». Над ней — зелено-голубая мозаика с золотом, с голубем и, надо думать, святыми. Дверь приоткрыта, Колин заходит внутрь. Над входом зависли два ангелочка, того и гляди, оторвутся от деревянной панели.

— В чем разница между херувимом и серафимом? — спрашивает Колин.

— По-моему, я слышал этот анекдот, но не помню, в чем там юмор, — говорю я.

— Это не анекдот. Просто хочу понять разницу.

Я киваю, глядя на скамейки в церкви. Обстановка действует на меня угнетающе, в ней есть безнадежность, загнанность, безысходность. Заглядываю к священнику. Никого. Потом появляется секретарша с халой на голове и спрашивает:

— Вы мистер Блю?

— Да.

— Преподобного срочно вызвали. Он вернется минут через десять. Подождете?

— Нет. Зайду в другой раз, — раздраженно бормочу я.

Кто мог его вызвать? Что стряслось, Второе пришествие? Я всего-навсего хотел подбросить им деньжат.

Колин между тем зашел в храм: мне ничего не

остается, как последовать за ним. Шаги гулко отдаются в высоких сводах. По дороге к алтарю я от нечего делать прихватываю приходской журнал, на обороте — вирши графомана:

Защити меня, Господи,
Обереги от опасности,
Спаси от угрозы.

Защити меня, Господи,
Обереги от сомнений,
Всели в меня веру.

Защити меня, Господи,
Не Избави от света,
Избави от тьмы.

Я сую опус Колину:

— Кол, смотри, прям откровение…

Колин протягивает руку, но не успевает подхватить.

Внутри церкви почти никого. Кафедра у алтаря, свечи, неф, ряды скамеек. И обычный для церквей, во всяком случае, в Шепердс-Буш, жутковатый загробный полумрак. Солнце уже высоко: его лучи пробиваются сквозь мутные стекла разноцветных витражей. Часть из них попадает на

Колина, придавая его лицу призрачно-прозрачный желтоватый оттенок.

Церковь самая обычная: алтарь, витражи с непонятными библейскими сценами, жесткие скамейки. Объявление гласит, что на выращивание нарциссов собрано 238 фунтов 70 пенсов. Потрясающе! На фотографии старикан в каком-то странном одеянии типа туники с поясом. И подпись: «Сэр Мэтью. Святой покровитель сборщиков податей, бухгалтеров и охранников». Сначала я подумал, что это шутка, но потом решил, что все на полном серьезе: надпись сделана красивым золотым курсивом.

Я все еще не могу успокоиться после монолога Колина: ну, что я его презирал, и все такое. Злюсь, потому что знаю: это правда. Поскорее бы уйти отсюда.

Оглядываюсь и вижу, что Колин зажигает свечу, наверное, за здоровье старушки Оливии. Я рассматриваю подушки, разложенные на длинных деревянных скамейках. На них вышиты цитаты из Библии и ангелочки с арфами, лютнями и флейтами. Смотрю на ту, что лежит рядом со мной.

— Чтоб мне сдохнуть! Овца с крыльями и нимбом!

— Это святой агнец божий, Фрэнки, — тихо говорит Колин.

— А, понятно, — ворчу я нетерпеливо в надежде, что произойдет что-то еще.

Сейчас я бы не отказался от общества священника: все лучше, чем то, что есть.

— Хочешь познакомиться с моим новым другом? — спрашивает Колин.

— Конечно. Давай на следующей неделе, — говорю я, только чтобы отделаться.

— А сейчас? — спрашивает Колин.

Свет все еще падает на его лицо. Он поворачивается и с улыбкой идет ко мне. Наверное, шутит.

— Сейчас?

— Да, сейчас.

— Что ты имеешь в виду? Он что, здесь?

— Конечно. Он везде. Моего нового друга зовут Иисус.

Я начинаю было смеяться, но смех застревает в горле при взгляде на лицо Колина. Лицо, выражающее отвратительный экстаз, фальшивое умиротворение. Мне не раз приходилось наблюдать подобное выражение на лицах, когда я случайно попадал на церковный канал. Ума не приложу, откуда оно берется у несчастных, бессмысленно и робко улыбающихся в камеру

людей. И у Колина было именно это выражение: отвратительная смесь жалости, удовлетворения и страха.

— Надеюсь, ты *шутишь*, — говорю я без особой надежды.

Колин кивает, давая понять, что именно такой реакции он и ожидал.

— Конечно, тебе это трудно понять. Ты даже представить себе не можешь, что это значит, когда *Он* — твой друг. Когда появляется кто-то, на кого можно положиться. Кто всегда тебя выслушает. Кто тебя любит. Фрэнки, это потрясающе! И не думай, что у меня крышу снесло. Со стороны это, наверное, кажется странным. Но я *знаю*: Он со мной. Я это чувствую. Вот и ты позвонил мне и предложил встретиться в церкви. Разве это не знак? Не где-нибудь, а в церкви! Что это, Фрэнки? Простое *совпадение*?

Глазам своим не верю: Колин сел на церковную скамейку, смотрит в мою сторону, но не на меня.

— Конечно, совпадение. Что же еще? — отвечаю я автоматически.

Но он продолжает бубнить своим дурацким монотонным голосом, не обращая на меня внимания.

— Знаешь, Фрэнки, я никогда не был по-на-

стоящему счастлив. Может, потому что я такой застенчивый. Неудачник. Я никогда не признавался тебе в этом. Так же, как не сказал, что маму увезли. О таких вещах с друзьями не говорят. О реальных вещах. Чтобы не смущать, не создавать неловкой ситуации. Это уже не по правилам, так ведь? Об этом не поговоришь за кружкой пива. Мама умирает, медленно, мучительно, теряя рассудок и все такое. И друзья разбежались. Даже если бы не разбежались, на большее, чем треп о футболе или о сексе с последней девицей, рассчитывать не приходится.

Меня знобит. В церквях всегда холодно. Независимо от времени года. Интересно, у них есть кондиционеры? Глупый вопрос. Колин продолжает говорить, и голос у него уже не монотонный, а мелодичный, легкий, как дуновение ветерка.

— Но это не страшно. Я все равно всех вас люблю: Ноджа, Тони, даже тебя. А люблю я вас потому, что есть существо, которое любит меня. Именно это дает мне силы.

Мне кажется, я попал в мир любимого колинского фильма: как будто моим лучшим другом завладели инопланетяне и от него осталась только внешняя оболочка.

— И вот, глазом не успеешь моргнуть, как ты

другой человек.

Колин уставился на витражи: на лице изумленное благоговение. Меня начинает подташнивать: от стыда, от того, что я его предал, от нового Колина, от произошедшего с ним преображения. Мне кажется, что стены церкви давят на меня, что свет не проходит сквозь высокие окна, что мне нужно как можно скорее выбраться наружу.

Я поворачиваюсь к Колину, все еще надеясь, что это шутка, что крыша у него не съехала окончательно. Мое внимание снова привлекает значок. Колин, кажется, меня не замечает. И тут я вдруг понимаю, что означают буквы «ЧБСИ?». Я видел как-то эту аббревиатуру в журнале американских евангелистов.

Это значит «Что бы сделал Иисус?». И до меня доходит, что это не дурацкая шутка, не случайный набор букв. Я словно сдулся, сморщился, скукожился. Сев рядом с Колином, кладу ему руку на плечо.

— Колин, если это твой выбор, то я… то мне… в общем, я очень рад за тебя.

К моему ужасу и изумлению, Колин злобно набрасывается на меня:

— Твои грехи настигнут тебя. Ты понимаешь? Ложь, обман, безразличие, эгоизм, ненависть к

женщинам, любовь к деньгам. Я говорю это тебе, потому что я твой друг, Фрэнки, — и он хватает меня за руку. — Мир прогнил. Мы все погрязли в разврате.

Я пытаюсь выдернуть руку, но он вцепился мертвой хваткой.

— Надеюсь, и тебя когда-нибудь озарит этот свет, Фрэнки. Я не хочу, чтобы ты был наказан за грехи. Надеюсь, ты еще разделишь со мной эту радость.

Я киваю.

— Потрясающе, Колин. Так и будет. Мы еще поговорим об этом. Об Иисусе и всем остальном. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Не уверен, что в моем случае… Но главное, это тебе помогает. Давай сходим как-нибудь выпьем пива?

Тут Колин отпускает мою руку, глядя на меня с таким видом, будто я заблудший ученик, а он — мудрый всезнающий учитель. Смотрит молча, а я продолжаю бормотать:

— Послушай, я очень за тебя переживаю. Сейчас мне надо бежать, но я тебе позвоню, ладно? Все здорово, Колин. Рад за тебя. Потом позвоню, потом.

Выйдя на улицу, я понимаю, что никакого потом не будет. Что я потерял Колина навсегда, что

его уже не вернуть. Ни уговорами, ни извинениями, ни пивом. Оглушенный надрывным визгом чаек, я сломя голову несусь к машине.

Глава восемнадцатая «Прихоти Диамонте»

Я подъехал к салону Тони в северном Кенсингтоне. Это мужская парикмахерская под названием «Прихоти Диамонте». А его женский салон в Ислингтоне называется «Твой лучший друг».

С Тони мне во что бы то ни стало *надо* помириться, потому что на Ноджа у меня особой надежды нет. Тони, конечно, скотина та еще, но в сущности парень неплохой. Просто прирожденный торгаш. Если бы он при этом не был нормальным, разве смогли бы мы так долго дружить?

Я заходил в его салоны всего несколько раз. Он старается не смешивать разные сферы своей жизни: работу, женщин, друзей, семью. Каждая из них тщательно огорожена и отделена. Наверное, это позволяет ему все держать под контролем. Не думаю, что он будет доволен, когда я заявлюсь без предупреждения, но звонить ему мне не хотелось: скорее всего, он бы просто повесил трубку. Такое уже случалось.

Вечер пятницы. Салон неплохо отделан: моза-

ичный пол с выложенным плиткой огромным бриллиантом, стулья из полированного дерева, обтянутые черной кожей. На стенах несколько картин, современные художники, есть ничего, но в основном — дерьмо. И везде зеркала, даже в комнате для персонала. Тони всегда любил зеркала, еще когда был подростком. В школе он носил складное зеркальце в заднем кармане брюк, другого бы за это на смех подняли, но его слишком боялись.

В салоне четыре мастера, все мужчины, белые. Молоденькая застенчивая девушка, по виду уроженка какой-то средиземноморской страны, старательно натирает пол. За кассой висит огромный профессиональный безумно лестный портрет Тони. Рядом на стене любительские снимки, на которых он обнимается с второсортными знаменитостями на разного рода вечеринках: певцы и певички второго эшелона, актеры, чьи имена забудут уже завтра, режиссеры документального кино.

Один из парикмахеров — жирный мрачный тип в белой футболке с надписью «Ё-МОЕ» на груди — подскакивает ко мне. В салоне ни одного посетителя, хотя Тони всегда говорил, что на стрижку нужно записываться за неделю. Я

ощущаю разбухший бумажник в кармане, и мне приходит в голову мысль, что, может статься, эта конкуренция с Тони и не была столь жесткой.

Толстяк выдает дежурную улыбку и короткое:

«Да?»

Он смотрит на меня так, словно делает мне огромное одолжение, соглашаясь постричь. Не удивительно, что салон пуст. Я возвращаю ему не менее фальшивую улыбку.

— А Тони здесь?

— Тони. Тони Диамонте.

— А-а… Вы хотите постричься?

Он разворачивает свою тушу к магнитофону, из которого доносятся невообразимые шумы. По лицу можно сразу понять, как ему все обрыдло. Я отвечаю очень терпеливо, будто имею дело с клиническим идиотом.

— Нет, я не хочу постричься. Я хочу встретиться с Тони. Он мой друг.

— Хм… У Тони много друзей.

— Это заметно, — говорю я, оглядывая пустой зал. От музыки у меня раскалывается голова. — Вы не против, если я подожду?

Он пожимает плечами. Чернявая девушка елозит щеткой вокруг его вросших в землю ног, но он и не думает подвинуться. Она, похоже, чем-то

расстроена, нервничает, суетится. Магнитофон вдруг начинает орать еще громче.

— Не возражаете, если я подожду в каком-нибудь более тихом месте?

Толстяк, кажется, удивился, но виду не подает.

— Так вы, выходит, его приятель?

— Да. Фрэнки Блю.

— Фрэнки Блю.

Он задумывается, потом на лице его появляется некое просветление. Он кричит еще одному парикмахеру, который сидит на стуле спиной к нам и с закрытыми глазами качает головой в такт музыке.

— Донни, слышишь? Угадай, кто это!

Человек по имени Донни медленно поворачивается на вертящемся стуле и неторопливо открывает глаза. Его брови вопросительно подняты.

— Это Фрэнки-Выдумщик! Я правильно говорю? Фрэнки Блю. Фрэнки-Выдумщик.

Донни слегка кивает головой, показывая, что он понял, затем неторопливо закрывает глаза и медленно возвращается в исходное положение.

— Вот оно как, — толстяк разглядывает меня уже совсем иначе (не скажу, что это доставляет мне удовольствие), — значит, вы и есть Фрэнки-

Выдумщик. Тони нам много о вас говорил.

— Надеюсь, ничего плохого.

Ответа не последовало. Вместо этого мне показали на небольшую дверь в глубине салона.

— Если хотите, можете подождать в комнате персонала. Там есть телевизор. Тони должен скоро прийти. Хотя он всегда опаздывает. Думаю, уж вы-то хорошо это знаете.

— Да, знаю.

Я прохожу через конуру с раковиной и туалетной кабинкой и попадаю в комнатку где-то три на три, пол которой завален огромными подушками, а на стенах проступает влага. Напротив входа — пожарный выход и сигнализация. У одной из стен — стол и стул. Стол завален газетами.

Какое-то время я пытаюсь смотреть телевизор, но там обычная дневная мутотень. Потом бросаю взгляд на часы. Кофе мне не предложили, никто даже не зашел в комнату. Я выключаю телевизор. Отвратительная долбежка из салона слышна и здесь. Видимо, посетители так и не объявились.

Я подхожу к столу и начинаю рыться в бумагах, просто от нечего делать. Там валяются рекламы по уходу за волосами, листки отрывного календаря, какой-то мужской журнал, счета на оплату коммунальных услуг. Маленькое зеркальце. Я

замечаю на нем следы белого порошка. Кончиком пальца втираю его в десны. Через несколько секунд десна начинает неметь.

На столе чашка с недопитым кофе, три ручки, блокнот с листками для записей, полная пачка сигарет и пустая пепельница, какие-то письма. Одно — из соседней пиццерии, другое — от перевозчика, именующего себя Королем Голубиной Почты.

Мне всегда нравилось подглядывать. Наверное, поэтому я стал агентом по недвижимости, всю жизнь сующим свой нос в чужие дела. Я потерял уже трех женщин только из-за того, что читал их дневники. Вот чего бы я вам никогда не посоветовал. То, что они пишут, *ужасно.* Я бы сказал, это не та правда, которую стоит знать.

Пресытившись тем, что лежит на поверхности стола, начинаю выдвигать ящики. Там в основном всякий хлам — старые бумаги, кнопки, клей, а нижний ящик закрыт на ключ. Я дергаю. Удивительно, но ящик поддается. Внутри два конверта.

Оборачиваюсь, чтобы проверить, не идет ли кто. Парикмахеры по-прежнему бездельничают, теперь я понимаю, что волосы на полу принадлежат толстяку в майке с надписью «Ё-МОЕ». Девушка все еще натирает пол. Она занимается

этим уже минут сорок.

Достаю один из конвертов. Внутри маленький полиэтиленовый пакетик с желтоватым порошком. Не больше столовой ложки. Я открываю его и смазываю порошком десны. Это, естественно, кокаин, полагаю, граммов пять. Быстро убираю пакетик обратно в конверт, стараюсь сложить все, как было.

Смотрю на второй пакетик. Это просто письмо, очевидно, официальное. Сначала я решил, что это счет за парковку, но потом замечаю, что оно напечатано на бланке местного суда. Начинаю читать.

ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ, ВОЗБУЖДЕННОЕ ПРОТИВ ЭНТОНИ ДИАМОНТЕ, ВЛАДЕЛЬЦА ФИРМ «ПРИХОТИ ДИАМОНТЕ ЛТД» И «ТВОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ».

СЛУШАНИЕ НАЗНАЧЕНО НА 17 СЕНТЯБРЯ 1998 ГОДА.

Вдруг музыка обрывается, и салон оглашается криком. Я быстро засовываю конверт обратно и закрываю ящик стола. Кто-то истошно орет. Узнаю голос Тони. Выглядываю в салон. Тони навис над несчастной девушкой, сжавшей щетку так сильно, что побелели костяшки пальцев. Ей не больше пятнадцати. Она испугана до смерти.

— Ты ДУРА НАБИТАЯ. Прошу тебя, в следующий раз НИКАКИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ. Просто делай то, что тебе велели, мать твою. Если я просил купить бальзам «Пол Митчелл», а в магазине его нет, вернись и скажи об этом кому-то, у кого есть мозги. Что мне теперь, в задницу засунуть эти двадцать пять бутылок пакистанского ДЕРЬМА? «Пол Митчелл» мне нужен СРОЧНО, а не через десять минут и не через полчаса. СРОЧНО! Так что вали в эту индийскую лавочку, и пусть они возвращают деньги, хотя какой вонючий пакистанец расстанется со своими деньгами. И мне нужны не расписки, мне нужны ДЕНЬГИ. Не вернут, вычту из твоей сраной зарплаты, тупая макаронница.

Девушка начала плакать.

— И нечего тут реветь. Если тебе не нужна эта работа, ко мне очередь выстроится. Так что проваливай.

Девушка берет упаковку с шампунями и, рыдая, плетется к выходу. Тони с отвращением смотрит ей вслед. А потом несколько раз громко, с сопением выдыхает через нос. Я знаю эту его манеру. Ноздри краснеют и раздуваются. Отвратительно.

Из своего укрытия я смотрю на Тони и вижу его лицо как будто впервые. Оно совсем не сим-

патичное. Оно злое, уродливое, глупое. И Тони — никакой не прирожденный делец, не игрок, умеющий проигрывать. Он — ничто, пустое место, усвоившее несколько ужимок и прыжков.

Я разворачиваюсь и, перешагивая через подушки, направляюсь к пожарному выходу. Выхожу на теплую, тихую улицу. Сидящий на мостовой бродяга громко рыгает, потом поднимает на меня глаза и произносит с изысканной вежливостью:

— *Простите* великодушно.

Глава девятнадцатая
Таксист

Совсем недавно я встретил Бертрана Рассела и спросил: «Скажите, сэр Рассел, что все это значит?» И, представьте, он не нашелся, что ответить.

Водитель такси — Т. С. Элиоту

Еду к Ноджу домой. *Уверен,* если позвоню, он бросит трубку. А Нодж — мой последний шанс хоть что-то склеить из этих обломков.

Я смутно помню, что он выезжает на работу из Шепердс-Буш часов в десять. Сейчас половина десятого, так что у меня есть шанс его застать. Иду по Голдхок-роуд, собирая волю в кулак. Выхлопные газы наполняют воздух вонью окурков, серы и подмокших бенгальских огней.

И тут приближается такси с зеленым огоньком. Дверцы расписаны рекламой. Через лобовое стекло успеваю разглядеть Ноджа. Он несется на бешеной скорости. Очень непривычно видеть его за рулем такси. Как ни странно, я почти и не видел его на работе. В выходные Нодж водит

«форд-эскорт». Но в такси он смотрится совершенно по-другому: как будто меньше, трагичнее.

Я складываю пальцы и свищу. Поначалу мне кажется, что он проедет мимо, но нет — перестраивается из среднего ряда и останавливается около меня. Огонек выключается. Я подхожу к открытому окну. Когда он поворачивается, по его изумленному виду становится понятно, что он меня не узнал. Он молчит, я тоже. Потом отворачивается, включает огонек и трогается.

— Нодж!

Рука зависла над коробкой передач. Он говорит тихим, бесстрастным голосом:

— Я — в Уэст-Энд. У меня там вызов. Поезжай на автобусе.

Но передачу не включает.

— Можно я поеду с тобой? Мне как раз надо в том районе дом посмотреть.

Я вру, и Нодж это знает. Но с места не двигается, поэтому я направляюсь к переднему сиденью.

— Спереди нельзя. Страховкой не покрывается, — говорит он ледяным тоном. На меня даже не взглянул.

— Ладно, тогда я поеду как пассажир.

Подхожу к задней двери, и в тот момент, когда прикасаюсь к ручке, слышу щелчок. Замок

закрылся.

— Нодж, ну хватит. Пожалуйста!

Нодж глубоко вздыхает. Мне кажется, это длится целую вечность. Чувствую, что сейчас он сорвется с места.

— Я обычный пассажир. Можешь не включать переговорное устройство, раз не хочешь со мной говорить. А если ты откажешься меня довезти, я напишу жалобу. Я знаю, как это делается. Ты не имеешь права отказать клиенту без веских на то оснований. У тебя могут отобрать лицензию.

Нодж качает головой, выражая одновременно отвращение и готовность уступить. Щелчок, и дверь открывается. Я залезаю внутрь. Перед пассажирским местом табличка «Благодарим Вас за то, что Вы не курите в салоне» и освежитель воздуха в виде зеленой елочки. А впереди три пустые пачки «Крейвен Эй».

Такси пристраивается к потоку машин. В салоне вечная мерзлота.

Я кричу в переговорник:

— До Тоттенхэм-корт-роуд, пожалуйста.

В ответ получаю едва заметный кивок.

— Ты видел рисунок в «Частной жизни»? Пассажир на заднем сиденье такси, водитель поворачивается и что-то говорит. И надпись:

«Заранее благодарны, что Вы на все согласны».

Нодж опять делает вид, будто ничего не слышит. Я заметил, что счетчик включен. Нодж пристально наблюдает за движением. Я вижу только его немигающие глаза в зеркальце заднего вида. Карие глаза. Странно, до сих пор я не обращал внимания на их цвет.

Наклоняюсь вперед и пытаюсь сдвинуть перегородку между нами, но она не поддается. Стучу по стеклу ключом. Сначала он не обращает на меня внимания, но я долблю до тех пор, пока стук не заставляет его откликнуться.

Слышу, как включается переговорное устройство.

— Перегородка закрыта. Я услышу в переговорное устройство, если ты захочешь что-то сказать.

При этом Нодж по-прежнему смотрит на дорогу. Едет он быстро. За пять минут доехал до Ланкастер-гейт. У меня остается не больше пятнадцати минут, если я хочу что-то выжать из ситуации.

Пытаюсь разглядеть, где находится переключатель интеркома (хочу точно знать, что Нодж меня слышит), но ничего не вижу. Тогда я говорю как можно громче и отчетливей, стараясь перекрыть шум мотора.

— Помнишь гонку с таксистами? В наше первое

четырнадцатое августа. В восемьдесят четвертом.

Молчание.

— Странно, что ты стал таксистом. Кто бы мог предположить, что будет с нами со всеми. Я торгую недвижимостью. Да, четырнадцатое августа восемьдесят четвертого. Было время. Есть что вспомнить.

Нодж пробормотал что-то. Неразборчиво. Я не сразу понял, что он сказал.

— Времена меняются.

Мы подрезаем серебристый «мерс». Водитель орет на нас и грозит кулаком. Нодж не обращает внимания. Он не сбавляет скорость. Тикает счетчик. Я делаю глубокий вдох, нервы у меня на пределе.

— «Тот падает, кто мчится во всю прыть»[47].

Сам не знаю, почему вдруг всплыли эти слова. Нодж вжался в сиденье.

Криво улыбаясь, я объясняю:

— Это из «Ромео и Джульетты».

И тут же понимаю, что не надо было объяснять. Нодж воспримет это как очередную демонстрацию моего интеллектуального превосходства.

---

[47] Примечания: 47

Ромео и Джульетта. Акт 2, сцена 4. (*Перев. Б. Пастернака).*

Кривая улыбка так и застыла у меня на лице. В зеркальце я вижу, как у Ноджа заблестели глаза. И наконец слышу его громкий и отчетливый голос:

— Шекспир? А вот отрывок из Шекспира для тебя, Фрэнки. «Гамлет», акт четвертый, сцена первая: «Человек может вам улыбаться, улыбаться и быть при этом *подлецом*» [48] — он поворачивает ко мне свое застывшее лицо. — Я слегка отредактировал, чтобы тебе было понятнее.

Вижу, как Нодж протягивает руку, чтобы выключить интерком.

— Это правда, то, что ты сказал тогда, после гольфа?

Смотрю на неподвижный затылок Ноджа.

— Про то, что ты, ну… голубой.

Какое-то время я думаю, что переговорник, возможно, был выключен, потом Нодж кивает. И хотя я знал, что это правда, еще до того, как спросил, все равно, мне не по себе. Я ничего не имею против людей нестандартной ориентации. Мне плевать, кто и как распоряжается своим хозяйством. Просто я никогда не предполагал, что Нодж…

---

[48] Примечания: 48

«…Я это запишу, / Что можно улыбаться, улыбаться / И быть мерзавцем» (Гамлет. Акт 1, сцена 5. *Перев. Б. Пастернака).*

Пристально смотрю на его затылок, как будто так смогу проникнуть в мысли Ноджа. Нодж заговаривает первым:

— А *ты* сказал правду?

— О чем?

— О том, что Вероника ушла?

— Да.

— Ты идиот. Она была классная.

— Знаю.

Но я уже не слушаю, а раз за разом прокручиваю кивок Ноджа — потрясший меня ответ на мой вопрос.

— А почему ты раньше не сказал? О том, что ты… ну, понимаешь…

Он объезжает пробку на Бэйсуотер-роуд. Потом снова выруливает на шоссе и произносит с горечью:

— Что я педик?

— Да. То есть *нет.* О том, что ты гомосексуалист.

Звучит фальшиво, официально, так говорят люди из собеса и старающиеся быть вежливыми полицейские. Снова раздается голос Ноджа:

— Я такой же, как ты, Фрэнки. Не хочу выбиваться из стада. И хочу, чтобы меня любили.

Интерком доносит какой-то тусклый, неживой

голос. Приходится напрягаться, чтобы разобрать слова.

Нодж вдруг резко поворачивает налево, и я заваливаюсь набок.

— Эй! Потише!

Он никак не реагирует. Просто продолжает говорить:

— И потом, это не по правилам. Ведь для настоящих мужчин существуют определенные правила.

Я выпрямляюсь и прикидываю, не пристегнуться ли.

— Но мне всегда казалось, что ты стремишься говорить правду, Нодж. Во всяком случае, так ты…

Нодж снова заваливает меня, теперь уже вправо. Я опять не удержался и врезался головой в пепельницу, которую кто-то оставил открытой. Кажется, она рассекла мне кожу на лбу, но боли я не чувствую.

— Думать и говорить — разные вещи. Ты-то должен хорошо это знать, Фрэнки.

Какое-то время мы молчим. Я чувствую, как по лицу стекает тонкая струйка крови. Мы огибаем Гайд-парк, едем параллельно Оксфорд-стрит. Мраморная Арка справа от меня утонула в море

рычащих, пыхтящих авто. Нодж опять начинает говорить. Я смотрю на него в зеркальце заднего вида. На этот раз он очень близок к тому, чтобы взглянуть на меня. Он как будто хочет и не может сделать этого. По крайней мере, озлобленность сменилась отрешенностью, он как будто далеко отсюда.

— На этом все бы и кончилось. Да *так* оно и вышло. Кончилось все: наша с Тони, Колином и тобой дружба, четырнадцатое августа, все. Ведь голубой — это не цвет «Рейнджерс»? Нет! Никому я не мог об этом сказать. Тем более *тебе.*

— Почему тем более мне?

Чтобы объехать пробку, Нодж сворачивает в узкий проулок, выкручивая руль влево с еще большей яростью, чем раньше. Я успеваю схватиться за ручку. Меня заносит с огромной силой. Снова слышен голос Ноджа. На него накладываются эфирные помехи, но я без труда разбираю, что он говорит.

— Помнишь, ты переспал с Рут? Она мне сразу все рассказала. Из-за этого мы и расстались. Не она меня бросила. *Я* ее бросил. Я не мог этого пережить. Фрэнки, ты не поверишь. Я доверял тебе. А ты так со мной поступил.

Чувствую, как угрызения совести комком

сжались у меня в желудке, я ощущаю их как язвенную резь. И не знаю, что сказать. Ложь хороша и безобидна, пока тебя не поймали. В противном случае она оборачивается злобным, мстительным монстром.

А из интеркома опять доносится бестелесный голос Ноджа:

— Думаю, ты не совсем понимаешь… Меня задело не то, что ты переспал с *Рут.* Мы с Рут были всего лишь друзьями, хотя она и претендовала на большее. И я не могу ее в этом винить. С сексом у нас не складывалось. Мне очень нравилась ее зрелость. Ее… уверенность. А я всегда был не уверен в себе, Фрэнки.

Я начинаю моргать. В глаз попала кровь. Найдя, наконец, микрофон, говорю прямо в него, тихим, извиняющимся голосом:

— А мне казалось, что ты… из всех нас… казалось, ты всегда все знаешь, и мне хотелось быть *таким…*

Кажется, микрофон отключен, потому что Нодж, не прерываясь, продолжает:

— Меня разозлило то, что Рут переспала с *тобой.* Ты понимаешь, что я хочу сказать, Фрэнки?

Смотрю в зеркальце. В первый раз за это время карие глаза глядят прямо на меня. Я выдерживаю

взгляд Ноджа. Потом в растерянности отрицательно качаю головой.

— Я не Рут ревновал. Я *тебя* ревновал. Я ведь хотел… быть тебе больше, чем другом, с той самой ночи у тебя дома. Помнишь? После «Утренней славы».

Огромный грузовик с прицепом оглушительно сигналит, затем проезжает мимо. Нодж повторяет с отчаянием в голосе:

— Помнишь? Скажи, что ты не забыл, Фрэнки.

До меня начинает доходить смысл его слов. Ранка на лбу сильно саднит. На груди пятнышко от крови. Нодж смотрит на меня с мольбой и отчаянием.

— Помню, — шепчу я губами.

Нодж кивает.

— В этом все дело. Ты думаешь, что мы были близки. Так и есть. Но я был ближе, чем ты думаешь.

Мы едем вдоль Грейт-Портланд-стрит и попадаем в небольшую пробку перед светофором. Остановка все меняет, это похоже на вынужденный интим, когда ты с кем-то застрял в лифте.

— Но я знаю, что для тебя та ночь значила гораздо меньше, чем для меня. Ведь так, Фрэнки? Я прав?

Он практически повернулся ко мне. С трудом выдерживаю взгляд этих глаз, в которых умирает надежда. И вдруг понимаю, что она жила в них всегда. Стараюсь окружить себя непроницаемым панцирем и отвечаю твердо и решительно:

— Нет, Нодж. Для меня та ночь ничего не значила. Я все помню, но для меня она ничего не значила… Я не такой. Это здорово, конечно… Но не для меня. Для меня это просто детская игра. Ты понимаешь, что я имею в виду?

Нодж утвердительно кивает. Я снова встречаюсь с ним глазами. Но в них нет уже прежнего огонька. Они плоские, без глубины. Я смотрю в окно и понимаю, что мы на Тоттенхэм-Корт-роуд. Нодж резко тормозит, внутрь врывается рев машин.

— Приехали. С тебя девять пятьдесят, — говорит он.

Я не двигаюсь с места. Нодж тоже. Потом он поворачивается, и раздается щелчок. Разделяющее нас стекло опускается. Из рамы на меня смотрит круглое лицо Ноджа: выглядит оно неожиданно старым. Нодж не сводит с меня глаз, словно изучает, а потом расплывается в доброй, широкой улыбке, которую я так хорошо помню еще со школьных времен; мне казалось, он утратил ее

навсегда.

— Надеюсь, мы остались друзьями, Фрэнки? — тихо спрашивает он.

Я улыбаюсь в ответ и тянусь к ручке двери.

— Конечно, Джон.

Выбравшись из такси, останавливаюсь у открытого переднего окна. Нодж протягивает мне руку, и я сжимаю ее сначала одной, а потом обеими руками. Похоже, мы довольно надолго так застыли. Наконец Нодж резко отстраняется и вцепляется в руль. Я машинально полез за бумажником.

— За мой счет, — остановил меня Нодж.

Без интеркома его голос кажется совсем другим — ярче, насыщеннее, полнее. Теперь я слышу настоящего, живого Ноджа — в первый раз.

— Спасибо, — говорю я.

Долгая пауза.

— Ты пойдешь на матч в субботу? — спрашивает он.

— Еще не знаю.

Тру родимое пятно, обвожу его пальцем по контуру.

— У меня есть лишний билет, так что, если надумаешь…

Я улыбаюсь.

— Отлично. «Рейнджерс» — супер, а?

— Ага. Супер.

Рядом с нами остановился цементовоз, и образовалась пробка. Получилось, что такси Ноджа заблокировало движение. Сзади послышались громкие сигналы. Нодж высунулся из окна и прокричал:

— Ради бога, успокойтесь! Сейчас уеду, — затем снова повернулся ко мне и включил зеленый огонек. — Береги себя, Фрэнки.

— И *ты,* Джон, береги себя.

Нодж вливается в практически неподвижный поток, огонек такси мерцает в полумраке сумрачного дня.

Глава двадцатая
Новая забава Фрэнки: 14 августа 1999 года

Я сижу в одиночестве, голый, на своей кровати. Семь утра. Смотрю на тыльную сторону ладони. Голубые вены похожи на неподвижных змей, затаившихся под кожей. Хитросплетение морщинок и узелков.

Безукоризненно голубое небо за окном приобретает молочную белизну по мере приближения к горизонту, на улице тихо, слышно только негромкое жужжание неугомонной осы. Я поднимаю руку и провожу по щетине на лице.

Затем встаю и направляюсь к зеркалу. Большое, в человеческий рост, оно стоит посреди комнаты, задней стороной к окну. Мне кажется, при таком освещении я выгляжу лучше всего. Иногда я хожу по дому от одного зеркала к другому, пока не найду то, в котором мой вид меня удовлетворяет.

Я вытягиваюсь и смотрю на свое отражение. Тело еще ничего, не расплывшееся, сужающееся от плеч к бедрам, но на бедрах уже появляются небольшие жировые отложения. На икре намек

на варикозное расширение.

Мой необрезанный пенис нависает над парой яичек среднего размера. Такой жалкий, несчастный.

Бледный волосяной островок над пенисом похож на маленькое нежное облачко. Ноги крепкие, чуть плотноватые. Я слегка покачиваюсь, перенося вес с пятки на мысок, как будто под порывами легкого ветра.

Мешок с мышцами, жиром, костями, водой, памятью, дерьмом, волосами, чувствами, потерями, злобой, надеждами. Иногда мне кажется, что я Супермен, иногда — что полное ничтожество. На самом деле я — ни то, ни другое. Я обычный парень, каких миллионы. Ни больше, ни меньше.

Я глуп и умен, я стараюсь, у меня не получается или получается, иногда спотыкаюсь, но продолжаю дергаться, манимый призрачным счастьем. Я — и плоть, и дух.

Смотрю не переставая. Мои глаза: бесцветные, голубые зрачки с коричневыми прожилками. Бледная, с беспорядочной сеточкой кровеносных сосудов кожа. Нос слегка искривлен вправо, маленькая родинка на переносице. Полные губы, рот узковат. Тяжелые веки. Я выгляжу усталым. Только что подстриженные волосы торчат на

макушке. И, к ужасу моему, из ушей вылезают новые ростки щетины, напоминая мне об отце.

Изменюсь ли я после сегодняшнего дня? Или мы меняемся каждый день? Я боюсь. Меня пугает будущее. В прошлом спокойнее, даже если оно себя изжило. Я хотел бы остаться в нем. Но не могу. Не должен.

Какие странные мысли. Подхожу к стойке с компакт-дисками. Сейчас хочется чего-нибудь старого, знакомого, успокаивающего, и я выбираю «Frank's Wild Years» Тома Уэйтса. Грустная мелодия, голос надрывается, как ревущий экскаватор.

Не торопясь достаю одежду. Все новое, с иголочки. Это похоже на церемонию возрождения. Но чтобы возродиться, надо сначала умереть.

Свадьба — это одновременно и похороны.

Сегодня мне предстоит расстаться с последней частью себя прошлого. Если, конечно, хватит смелости завершить начатое. Ведь еще не поздно. Надо только позвонить. Минутное дело. Будет, конечно, неловко и неприятно. Люди расстроятся. Мама этого не перенесет.

Но пройдут месяцы, годы, и все рассосется. Все рассасывается, в конце концов.

Я подхожу к телефону, но трубку не поднимаю.

Кино / жизнь. Правильный ответ / правда. Прошлое / будущее. Всегда приходится выбирать. А как хотелось бы не мучиться с выбором. Жизнь была бы намного легче, если бы все происходило само по себе. В какой-то степени так оно и происходит. Ураган обстоятельств сметает наши жалкие попытки на что-то повлиять.

В проезжающей машине орет приемник: неведомая душа моего современника повествует о любви, о достоинстве и сексуальных победах. Я жду, пока машина не исчезнет из виду. Долго смотрю на разложенную на кровати одежду. Она упакована в пакеты из химчистки или из магазина, и от легкого ветра целлофан похрустывает. Снова слышны жалобные стоны Тома Уэйтса.

Слева направо. Пара темно-серых трусов от Кэлвина Кляйна, тридцатый размер. Они на размер маловаты, но я не могу смириться с тем, что раздался на пару сантиметров. Белая шелковая рубашка от Армани, тонкая, со стоячим воротничком и одним карманом. Новенькие туфли от Гуччи. Черные носки от Муджи.

Костюм. От Прада. Однобортный, на трех пуговицах, приталенный, черный кашемир, брюки на молнии, без отворотов. Ремень крокодиловой кожи от Малбери. Одинокая белая гвоздика в

вазе у изголовья кровати ждет, когда ее срежут и засунут в петлицу. Темно-зеленый шелковый галстук — единственное цветное пятно.

Свадьба назначена на двенадцать. В голове неожиданно возникает образ женщины, на которой я собираюсь жениться: она крутится и вертится (как фигурка в музыкальной шкатулке) в белом платье перед зеркалом. Интересно, что чувствуют женщины? Одолевают ли их сомнения? Интересно, что они надевают под платье? Я думаю о лиловых, влажных губах под прохладной белой тканью.

Иду в ванную, принимаю горячий, обжигающий душ. Комната заполняется паром, зеркала запотевают, а мебель становится призрачной, как в тумане. Потом погружаюсь в воду и вздрагиваю — такая она горячая. Довольно долго сижу без движения. Звонит телефон, еще раз, но я не подхожу.

Я заполняю ладонь изумрудным гелем для бритья, размазываю его по лицу, встаю перед зеркалом. Геля слишком много. Изумрудные капли падают с подбородка в раковину. Постепенно я снимаю всю пену бритвой: лицо чистое. Слева на шее небольшой порез с проступающей кровью. Крошечные пузырьки прилипли к стенкам рако-

вины. Сквозь призму накопившейся воды сток кажется огромным и искривленным.

Я выхожу из ванной, вытираюсь и прикладываю кусок туалетной бумаги к порезу. Глубоко вздохнув, иду в спальню и одеваюсь. Кашемир костюма приятно облегает тело, контрастируя с жестким, давящим воротничком рубашки.

Одевшись, снова смотрю на себя. Вид у меня сосредоточенный и серьезный, не очень привлекательный. Я как будто наблюдаю за своей жизнью со стороны, отсутствующим взглядом, с отрешенным восторгом. Съемка нарочито замедленная. Противоестественное спокойствие заполняет комнату.

Я не знаю, что делать дальше. Хожу по квартире, словно проверяя себя на всамделишность. Чувствую, как мой собственный вес придавливает меня.

У стены с фотографиями друзей останавливаюсь. Они смотрят на меня, почти все с улыбкой. Ушедшие улыбки моего прошлого.

Один из снимков привлекает мое внимание. Лягушатник. Я, Колин, Тони и Нодж улыбаемся в объектив. Лица размыты, как на картинах импрессионистов. В фокус попала задняя стенка бассейна, на которой играют солнечные блики.

Все такие молодые.

Мы обняли друг друга и слегка раскачиваемся на воде. У каждого в руке по банке с пивом. Можно даже название разглядеть — «Хофмайстер». Раньше я не замечал, что рука Колина крепко сжала мое плечо, он ухватился за меня, словно спасая свою жизнь. Костяшки его пальцев побелели. Мускулы на бедрах напряжены, как будто он борется с желанием встать на ноги. В воде плавает футбольный мяч. Всего этого я раньше не замечал. Странно все-таки. Можно смотреть на одну и ту же вещь тысячи раз и потом в какой-то момент увидеть нечто совершенно новое.

Звонок в дверь прерывает мои размышления, и я вздрагиваю. Нервно приглаживаю волосы. Ботинки скрипят по паркету, похоже на эхо. Открываю дверь. Это Нодж. Джон.

Он чисто выбрит: не только лицо, но и голова, обритая под ноль. На нем красивый синий костюм, белоснежная рубашка, темный однотонный галстук. В петлице белая гвоздика. Он загорел, похудел килограммов на пятнадцать. Вместо округлостей на лице проступили скулы. Нодж курит — «Житан» — с непревзойденным изяществом. Сросшиеся брови аккуратно выщипаны и расчесаны.

Он входит, обнимает меня и не разжимает объятия секунд пять. Я чувствую легкий тонкий аромат цитрусового одеколона после бритья. Затем он отходит назад и начинает меня изучать.

— Ни фига себе, Фрэнки! Выглядишь потрясающе!

— Ты тоже ничего, Джон.

У дома стоит его такси: вылизанное, с лентами на капоте, блестит, будто только с конвейера. Он с гордостью смотрит на машину и спрашивает, щурясь от сигаретного дыма и яркого солнца:

— Ну, как ты?

Размышляя над ответом, я возвращаюсь в комнату. Он идет за мной, засунув руки в карманы.

— Я ничего не чувствую. Не припомню такого полного отсутствия ощущений. Как если бы… я покинул тело.

— Не волнуйся, — говорит он, улыбаясь, — все будет хорошо.

В его голосе нет ни капли сомнения. Мне становится немного легче. Не так давно он бы просто проворчал что-нибудь или осуждающе промолчал. Но сейчас мне ясно, что он полностью на моей стороне. Внутри поднимается теплая волна благодарности.

Я подтягиваю манжеты, поправляю галстук.

Настоящий жених, мать вашу, думаю я про себя. Ни дать ни взять.

Сажусь на кушетку, нет, на диван, чтобы собраться с мыслями. И все-таки сажусь я как раз на кушетку. Именно на кушетку. И именно я. Тот, кто ходит в туалет. Отдыхает в гостиной. Обедает в обед. И ужинает в ужин.

— Поехали? — спрашивает Нодж.

— Кольцо у тебя?

Он достает круглое золотое колечко и держит его в вытянутой руке. Кандалы или нимб?!

— Еще рано.

Мы сидим и уютно молчим.

Спустя какое-то время Нодж говорит:

— Я заказал путевку.

— Знаю, — откликаюсь я. — Ты едешь на Фиджи. Спустя столько лет.

Нодж смущен.

— Нет, — отвечает он. — В Пэвенси-бэй. Сассекс.

Я начинаю смеяться, и он тоже.

— Так держать, Джон.

Смотрю на часы. Я предельно сосредоточен, потрясен тем, что должно произойти. Бросаю на себя последний взгляд, и мы выходим из дому: Нодж впереди, а я за ним; влезаю на заднее си-

денье такси, он садится за руль. До свадьбы еще целый час, но я хочу приехать пораньше, чтобы встретить всех. Мама специально купила новую видеокамеру, и ей не терпится поснимать.

До церкви минут пять. Мы с Ноджем молчим. Я смотрю в окно. На углу Шепердс-Буш-Грин стайка неопрятного вида молодых людей с нагеленными волосами, у каждого в руке по банке пива. На одном из парней майка с эмблемой «Рейнджерс». Заметив приближающееся такси, разукрашенное лентами и с наклейкой «КПР» на лобовом стекле, они начинают кричать, хлопать в ладоши и махать руками. Я машу в ответ, но в отличие от них делаю прощальный взмах.

Мы подъезжаем к церкви. Одинокая фигура на ступеньках: моя мама. Ей уже семьдесят, но так она будет выглядеть, наверное, и в девяносто. Ее седые волосы собраны в элегантный пучок, на платье какой-то желтый цветок. На голове большая бордовая шляпа.

Я вижу, как справа подходят родственники невесты — роскошно одетые женщины в маленьких черных платьях и туфлях за 300 фунтов. Мама на их фоне выглядит как несчастная домохозяйка из Шепердс-Буш, каковой она, впрочем, и является. Заметно, что она нервничает.

Но едва завидев меня, она вспыхивает от радости и гордости. Счастье, лучащееся из ее глаз, освещает всех вокруг, как фары «бимера». Ее обычная застенчивая извиняющаяся сущность сегодня куда-то исчезла, уступив место непонятному мне свечению. Я никогда не видел маму такой счастливой. Подхожу к ней, обнимаю и думаю про себя, как сильно я ее люблю и как хорошо, что она — простая домохозяйка из восточного пригорода, а не какая-нибудь гранд-дама. Отступив на шаг, она осматривает меня и произносит только одно слово:

— Фрэнки.

Но в этом слове все: рождение, детство, отрочество. В ее глазах слезы. Так мы стоим какое-то время. Потом она оглядывается по сторонам, как будто смутившись, и принимается возиться с камерой. Внутри у меня что-то раскрывается, и от полноты чувств я начинаю дико хохотать.

Подходят родственники невесты, я беру себя в руки и вежливо приветствую их:

— Как добрались?

Целую каждого в щеку, хотя мы еще не знакомы.

Они серьезные, сдержанные, элегантные. Элегантны даже их рукопожатия. В прежние времена

это бы меня смутило.

Ожидая гостей, я прихожу к выводу, что все очень мило. Может быть, это действительно происходит со мной. Может быть, я даже сумею пройти через все это.

Постепенно они собираются, знакомые и незнакомые люди. Как будто прошлое проходит передо мной, но в новом своем качестве. Лица с фотографий на стене опять ожили, некоторые из них — годы спустя. И все они излучают доброту и искреннюю радость. Я поражен, я не верю своим глазам. Все они, парами или по одному, проходят мимо меня, жмут мне руку, обнимают, улыбаются, желают счастья. Нодж проводит их на отведенные им в храме места.

Наконец заходят последние гости. Налетает ветер, и я опасаюсь, как бы он не нарушил великолепия моей прически. Приглаживаю волосы подушечками пальцев. Потом закрываю ладонями лицо и с силой тру глаза, словно хочу проснуться. Когда я отнимаю руки от лица, передо мной стоит человек в дешевом, не по фигуре, синем костюме. Он такой уязвимый, потерянный и часто моргает.

— Колин!

Колин молчит, кивает головой, судорожно мор-

гает и нервно дергает левый отворот пиджака.

— Я так рад, что… ты смог прийти.

Это звучит нелепо, официально, я напоминаю себе неуклюжего церемониймейстера. В голосе нет живых ноток. Не думал, что он придет, хотя приглашение послал. Мы не виделись с того дня в парке. Неожиданно Колин падает в мои объятия, и я крепко сжимаю его. Он почти тут же отстраняется, как будто его током ударило. Когда Колин, наконец, решается заговорить, голос его звучит неестественно, монотонно, твердо, словно он долго репетировал.

— Фрэнки, я очень рад за тебя. Поздравляю и надеюсь… надеюсь…

Он замолкает, как если бы забыл заранее выученный текст, и какое-то время, беззвучно шевеля губами, стоит передо мной. А потом едва слышно шепчет:

— Я принес тебе это. — И протягивает маленький, плохо упакованный сверток.

Колин, не переставая, вертит сверток в руках. Ярко раскрашенная бумага шуршит. Склеен он грубым скотчем.

— А что внутри?

— Подарок на свадьбу.

Я беру сверток. Он такой маленький, что его

можно сложить и засунуть в карман.

— Спасибо, Колин.

— Да… Поздравляю.

Колин начинает тихонько пятиться, медленно, потом все быстрее, ступенька за ступенькой.

— Желаю счастья…

И с этими словами исчезает. Он идет не в церковь, а удаляется почти бегом по улице, сворачивает за угол и скрывается из виду.

Кто-то кладет мне руку на плечо, я поворачиваюсь и вижу Ноджа. Он выглядит торжественно и серьезно. Позади него викарий с профессиональной улыбкой посматривает на часы. Затем делает мне знак рукой. Внутри у меня что-то сжимается, я поворачиваюсь и иду к входу в церковь. Собственного веса я не чувствую, ощущение такое, будто я иду по воде.

Двигаясь по проходу, замечаю, что все поворачиваются и смотрят на меня. Мой взгляд задерживается на большом витраже, на котором изображены неизвестные мне святые, павшие ниц перед Иисусом. Боковым зрением вижу, что головы продолжают поворачиваться. Я — несомая ветром песчинка. Внутри меня что-то трепещет, как будто рядом с сердцем колышется листок.

Подхожу к алтарю, где уже стоит викарий в

рясе. Переступаю с ноги на ногу, от чего ботинки издают едва уловимый скрип. Мы ждем. Сзади волнами накатывают покашливания и шепот. Потом низвергается свадебный марш, и паства начинает шуршать, как оберточный целлофан.

Невеста идет по проходу в чем-то невероятно, сияюще белом. Она сосредоточена и решительна. Я пытаюсь впитать ее облик, поглотить и усвоить его, но он каким-то чудесным образом ускользает. Это просто женщина в белом платье. С которой я едва знаком, с которой я провел времени меньше, чем с половиной собравшихся здесь людей. Она — загадка, тайна, лотерейный билет, вымысел. Она подплывает ко мне, я стою как вкопанный. Она уже за спиной, и я чувствую бусинки пота на лбу. Необратимость происходящего ударяет мне в голову. Викарий улыбается. Справа от меня истуканом стоит Нодж.

Викарий заговорил, начав обряд бракосочетания с потока избитых фраз, затасканность которых подчеркивает одновременно их принадлежность жизни и бестелесность.

— Дорогие мои, мы собрались здесь сегодня…

Дорогие мои. К кому он обращается? К нам? К пастве? Он что, любит паству? Это глупо. Или он имеет в виду, что они *нам* дорогие? Почему я об

этом думаю? Это же просто обряд. Моя будущая жена смотрит на меня из-под вуали. Ее решительность испарилась, и я замечаю нечто, чего раньше не видел: робость, страх, окутавший ее туманом. Я замечаю, что она дрожит, и протягиваю руку, чтобы успокоить ее. Она дрожит, как от холода. На меня опускается какой-то мрак.

Сквозь этот мрак я различаю голос викария, он спрашивает, не знает ли кто-либо из присутствующих причину, по которой эта пара не может быть соединена браком, и, к своему изумлению, слышу, собственный голос: «Я знаю такую причину».

Причина в том, что этот брак — прыжок в неизвестность, и у него слишком мало шансов на успех.

Причина в том, что я с таким же успехом мог жениться на дюжине других женщин, и еще смогу это сделать в будущем, и сегодняшнее собрание — результат случайного стечения обстоятельств, паники и затянувшегося блуждания в потемках.

Причина в том, что женщина, стоящая рядом со мной, — не совершенное существо в облегающем белом платье, она так же, как все, испугана, потеряна и так же дрожит, и мы оба двигаемся наугад в потемках.

Причина в том, что я не хочу, чтобы моей свободой понукала чужая воля.

Причина в том, что я хочу, чтобы все оставалось неизменным, я хочу спрятаться под одеялом своего прошлого, я не хочу меняться.

Причина в том, что я глуп, и я не знаю, как сделать счастливым самого себя, не говоря уже о другом человеке.

Причина в том, что все это было шуткой, поводом собраться и выпить, но вдруг преобразилось и стало слишком реальным.

Причина в том, что я хочу, чтобы меня оставили в покое, я хочу развлекаться, встречаться с друзьями, высмеивать женщин, и чтобы жизнь никогда не менялась, чтобы она всегда оставалась шуткой, игрой, в которой цель оправдывает любые средства.

Причина в том, что я боюсь.

Я слышу этот голос, но ничего не произношу, потому что он звучит внутри меня, потому что все зашло слишком далеко и потому что, потому что, потому что…

Я хочу, чтобы все поскорее закончилось.

Я хочу, чтобы все осталось позади, неважно, какой ценой.

Викарий улыбается и спрашивает меня:

— Согласны ли вы взять эту женщину в жены?

На удивление, голос мой звучит твердо и уверенно, без тени сомнения:

— Да, согласен.

— А вы, Вероника Тери, согласны ли взять этого человека в законные мужья?

Вероника тоже отвечает согласием, и викарий произносит какие-то слова о сочетании нас законным браком, мы целуемся, и в этот самый момент — как по писаному — я преображаюсь в мгновение ока.

Мы гуляем долго и весело в зале над «Буш-Рейнджерс», я танцую с мамой, с отцом Вероники, и все смеются, кричат, танцуют, произносят глупые тосты.

А потом мы едем ко мне домой, чтобы переодеться перед свадебным путешествием, Вероника сидит рядом. Мы оба немного выпили и смеемся без всякого повода. Шатаясь, поднимаемся по лестнице, а затем я, к своему удивлению, переношу ее на руках через порог. Я смотрю на Веронику и понимаю, что не любил бы ее так сильно, нет, любил бы ее *по-другому,* не пройди мы сегодня через все это.

Утрачена ли моя свобода? А что это, мать вашу, такое? Маленький отрезок жизни между

детством и женитьбой. Ее значение сильно преувеличено. Ты приходишь к женитьбе, когда понимаешь, что жизнь выходит за рамки твоего «я».

Неужели это мои мысли? Или просто мне положено так думать?

Я жду Веронику, она в ванной. Последние приготовления перед нашей поездкой на затерянный в Эгейском море остров. Мне легко и весело, и нет больше этого подвешенного состояния, я чувствую связь не только с прошлым, но и с будущим и настоящим. Я знаю, что меня ждут неудачи и проблемы, как и раньше, но это будут другие проблемы — передо мной перспектива совершенно новых ошибок, размолвок и примирений в еще неизведанной любви.

Слышу, как Вероника копошится в ванной, мне уже надоело ждать. Я засовываю руку в карман. Там что-то гладкое, шуршащее.

Это подарок, который Колин отдал мне на ступенях церкви. Я механически срываю блестящую бумагу, она без рисунка, просто красная блестящая бумага. Наверное, там какая-нибудь неудобоваримая цитата из Библии, или церковный календарь. Это какой-то листок бумаги, но старый, с потрепанными краями. Он сложен

вчетверо и перевязан простой тесемкой.

Не могу развязать узел, иду на кухню и разрезаю тесемку ножом. Потом медленно (листок кажется таким хрупким) разворачиваю его и в недоумении смотрю на то, что открывается моим глазам. Сначала я даже не понимаю, что это — какая-то мешанина ярких красок и пятен с размытыми контурами. И вдруг меня озаряет. Я вижу желтое солнце, небо леденцового цвета, две фигурки на пустынном пляже, блуждающие дюны, и в центре всего этого — сгусток любви. Я смотрю на нас с Колином, на тех нас, что остались в детстве.

Вероника входит в комнату, в простом черном платье, без косметики, с едва уловимой, нежной улыбкой на губах; я бросаю взгляд на рисунок и, мне кажется, впервые в жизни осознаю силу чувства, которое владело тогда Колином. Я, наконец, понял смысл его рисунка. И мне хочется плакать.

Аккуратно сложив потрепанный листок, я кладу его в карман. Наклоняюсь, чтобы поцеловать Веронику. Она отвечает коротким, решительным поцелуем — к ней вернулась обычная деловитость, но и ее коснулись изменения. Она стала мягкой, мечтательной. Возможно, ей, как и мне,

в эту минуту, в этот день кажется, что так будет вечно. А почему, собственно, нет? Ни в чем нельзя быть уверенным. То, что выглядит в женитьбе как отрицание, оборачивается надеждой.

— Ты хочешь поехать в свадебное путешествие?

— Конечно. Я хочу, чтобы оно никогда не кончалось. Мне уже сейчас противно возвращаться в контору. А ведь оно еще не началось.

Вероника улыбается. Я неожиданно серьезно говорю:

— Знаешь… может быть… просто как вариант… Может, мне бросить всю эту торговлю недвижимостью. Все это вранье, жульничество, сомнительные сделки. Может, вернуться в университет, в Оксфорд или Кембридж. Заняться чем-нибудь стоящим. В конце концов, я не дурак. Я заслуживаю лучшей профессии. Защищу диссертацию по литературе или по истории.

Вероника смотрит на меня настороженно. Взгляд ее означает: «Что ты несешь?!»

Я заливаюсь хохотом.

— Вронки! Ты купилась! Да мне *нравится* торговать недвижимостью! Я… это мое *призвание.* Потрясающее занятие! Я люблю врать. И у меня это неплохо получается. Зачем учиться три года,

чтобы потом закончить университет с опухшей головой, в которой осталось меньше мозгов, чем было до поступления? Это не для меня. Я — *Фрэнки-Выдумщик,* легендарный Фрэнки-Выдумщик из «Фарли, Рэтчетт и Гуинн».

Она бросается мне на шею.

— Фрэнки-Выдумщик, — повторяет она с горящими глазами, как в кино. А потом добавляет: — Соври мне что-нибудь.

Я уже ничего не слышу. Я смотрю на ее широкое лицо, на немного крупноватый нос, на чудесные сияющие глаза, и чувства переполняют меня. Взяв ее руки в свои, взволнованно говорю:

— Я люблю тебя, Вронки.

Она отстраняется, отступает на шаг… Рука Вероники взмывает вверх. Я перехватываю ее до того, как она приземлится на моей щеке, и на лице у меня написано полное недоумение. В этот момент Вероника расслабляется и перестает сердиться. Расслабляется потому, что она видит, она понимает: наконец, я *сделал* это — вопреки собственной натуре, вопреки своим принципам и привычкам. Я *сделал* это, ибо не мог сдержаться, поскольку это было выше моих сил. И пощечина оборачивается объятием: в кои-то веки, и Вероника осознала это, я наконец, наконец-то сказал

правду...

Глава двадцать первая
Кульминация

...как мне *кажется.*